

ISSN 2618-849X

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА

*History, Archeology and
Ethnography of the Caucasus*

Т. 22
№ 3. 2026

Издание
Института
истории, археологии
и этнографии
Дагестанского
федерального
исследовательского
центра РАН



ФГБУН ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ДАГЕСТАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА

HISTORY, ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY
OF THE CAUCASUS

Т. 22

№ 3. 2026



Махачкала, 2026

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА

Учредитель: ФГБУН Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН
Издается по решению Ученого совета Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН с 2005 г.
(ранее Вестник Института истории, археологии и этнографии. Свид. о рег. ПИ № ФС77-49956).
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-72534 от 28 марта 2018 г.
Периодичность: 4 выпуска в год

Главный редактор

Амирханов Хизри Амирханович, Институт археологии РАН, Россия

Первый заместитель главного редактора

Далгат Эльмира Муртузалиевна,

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия

Заместитель главного редактора

Мусаева Майсарат Камиловна,

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия

Редакционный совет

Аликберов Аликбер Калабекович, Институт востоковедения РАН, Россия	Мусеибли Наджаф Алескер оглу, Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
Булатов Башир Булатович, Дагестанский государственный университет, Россия	Мустафаев Шаин Меджид оглы, Институт востоковедения им. академика З.М. Буниятова Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
Деревянко Анатолий Пантелеевич, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Россия	Наумкин Виталий Вячеславович, Институт востоковедения РАН, Россия
Мацузато Кимитака, Токийский университет, Япония	Рейнольдс Майкл, Принстонский университет, США

Редакционная коллегия

Абдулмажидов Рамазан Султанович, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия	Кудаева Светлана Григорьевна, Майкопский государственный технологический университет, Россия
Абдулвахובה Бирлант Борз-Алиевна, Чеченский государственный университет, Россия	Магомедханов Магомедхан Магомедович, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия
Alizadeh Karim S, Государственный Университет Гранд-Велли, Мичиган, США	Максимчик Андрей Николаевич, Белорусский государственный университет, Белоруссия
Аникеева Татьяна Александровна, Институт востоковедения РАН, Россия	Малашев Владимир Юрьевич, Институт археологии РАН, Россия
Анчабадзе Юрий Дмитриевич, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия	Марзоев Ислам-бек Темурканович, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В.И. Абаева
Аракелова Виктория Александровна, Российско-Армянский (Славянский) Университет, Армения	Мастыкова Анна Владимировна, Институт археологии РАН, Россия
Бабаджанов Бахтияр Мираимович, Институт востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии Наук Республики Узбекистан, Узбекистан	Муминов Аширбек Курбанович, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
Барамидзе Цира Ревазовна, Институт кавказоведения Тбилисского государственного университета, Грузия	Obrusanszky Borbala, Karoli Gaspar University, Венгрия
Бобровников Владимир Олегович, Институт востоковедения РАН; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Россия	Осмаев Аббаз Догиевич, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН, Россия
Бустанов Альфред Кашафович, Амстердамский университет, Нидерланды	Reinhold Sabine, Deutsches Archäologisches Institut, Германия
Гаджиев Муртазали Серажутдинович, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия	Rodrigue Barry H, Международный Университет Симбиоза, Индия
Гванцеладзе Теймураз Ионович, Сухумский государственный университет, Грузия	Сулейманова Севда Алиевна, Институт востоковедения им. академика З.М. Буниятова Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
Гелашвили Нана Георгиевна, Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили	Табатабائي Сейед Хусейн, Восточноевропейский департамент Организации культурных и исламских связей Исламской Республики Иран, Иран
Зиливинская Эмма Давидовна, Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Россия	Таймазов Артур Исраилович, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия
Казанский Михаил Михайлович, French National Centre for Scientific Research, Франция	Тетуев Алим Инзрелович, Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Россия
Капустина Екатерина Леонидовна, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Россия	Шихалиев Шамиль Шихалиевич, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия
Квициани Джони Джокиевич, Тбилисский государственный университет, Грузия	Эрлих Владимир Роальдович, Государственный музей Востока, Россия
	Ярлыкапов Ахмет Аминович, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ, Россия

Исполнительный директор

Мусаев Махач Абдулаевич

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия

Ответственный секретарь

Капанова Лейла Шамильевна

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия

Переводчик

Сефербеков Магомедхабиб Русланович

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Россия

На обложке изображен элемент народного орнамента Дагестана
Ответственность за высказывания, точность цитат, фактов, названий и имен несут авторы
Мнение редакции может не всегда совпадать с точкой зрения авторов
При использовании материалов журнала ссылка обязательна

© Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, 2026
© Все авторы, Т. 22. №3. 2026
Адрес редакции: 367030, Махачкала, ул. М. Ярагского, 75
Тел.: 89285845554, E-mail: caucasushistory@yandex.ru

HISTORY, ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY OF THE CAUCASUS

Founder: Daghestan Federal Research Centre of RAS Issued by decision of the Academic Council
of the Institute of History, Archeology and Ethnography of DSC RAS since 2005
(formerly as Bulletin of the Institute of History, Archeology and Ethnography. Reg. cert. PI № FS77-49956)
The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology and Mass Media (ROSKOMNADZOR)
Registration certificate PI № FS77-72534 of March 28, 2018
Periodicity: 4 issues per year

Editor-in-Chief

Khizri A. Amirkhanov The Institute of Archeology of RAS

Vice Editor-in-Chief

Elmira M. Dalgat Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS

Deputy Editor-in-Chief

Maysarat K. Musaeva Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS

Editorial council

<i>Alikber K. Alikberov</i> , Institute of Oriental Studies of RAS, Russian Federation	<i>Nadzhaf A. Museibli</i> , Azerbaijan National Academy of Science, Institute of Archaeology and Ethnography, Azerbaijan
<i>Bashir B. Bulatov</i> , Daghestan State University, Russian Federation	<i>Shain M. Mustafaeu</i> , Z. Bunyatov Institute of Oriental Studies Azerbaijan National Academy of Science, Azerbaijan
<i>Anatoliy P. Derevyanko</i> , The Institute of archaeology and ethnography of the Siberian Branch of the RAS, Russian Federation	<i>Vitaliy V. Naumkin</i> , Institute of Oriental Studies of RAS, Russian Federation
<i>Kimitaka Matsuzato</i> , University of Tokyo, Graduate Schools for Law and Politics, Japan	<i>Michael A. Reynolds</i> , The Princeton University, United States

Editorial board

<i>Ramazan S. Abdulmazhidov</i> , Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation	<i>Magomedkhan M. Magomedkhanov</i> , Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation
<i>Birlant B. Abdulvakhobova</i> , Chechen State University, Russian Federation	<i>Andrey N. Maksimchik</i> , Belarusian state University, Belarus
<i>Karim S. Alizadeh</i> , Grand Valley State University, Michigan, United States	<i>Vladimir Y. Malashev</i> , The Institute of Archeology Russian Academy of Science, Russian Federation
<i>Tat'yana A. Anikeeva</i> , Institute of Oriental studies, Russian Federation	<i>Islam-bek T. Marzoev</i> , V.I. Abaev North Osetian Institute of Humanitarian and Social Research of the Vladikavkaz Scientific Center of the RAS, Russian Federation
<i>Yuriy D. Anchabadze</i> , The N.N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology of the RAS, Russian Federation	<i>Anna V. Mastykova</i> , The Institute of Archeology RAS, Russian Federation
<i>Viktoriya A. Arakelova</i> , Russian – Armenian University, Armenia	<i>Ashirbek K. Muminov</i> , L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
<i>Bakhtiyar M. Babadjanov</i> , The Institute of Eastern studies of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan	<i>Borbala Obrusanszky</i> , Karoli Gaspar University, Hungary
<i>Tsira R. Baramidze</i> , Institute of Caucasology at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia	<i>Abbaz D. Osmayev</i> , The H.I. Ibrahimov Complex Scientific Research Institute of RAS, Russian Federation
<i>Vladimir O. Bobrovnikov</i> , The Institute of Eastern studies of RAS, Higher School of Economics, National Research University Saint Petersburg, Russian Federation	<i>Reinhold Sabine</i> , Deutsches Archäologisches Institut, Germany
<i>Alfrid K. Bustanov</i> , University of Amsterdam, Netherland	<i>Rodrigue Barry H</i> , Symbiosis International University, India
<i>Murtazali S. Gadzhiev</i> , Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation	<i>Sevda A. Suleymanova</i> , Bunyatov Z. Institute of Oriental Studies of the Azerbaijan National Academy of Science, Azerbaijan
<i>Teimuraz I. Gvantseladze</i> , Sukhumi State University, Georgia	<i>Sayed Hussein Tabatabayi</i> , Eastern European Department Of the organization of cultural and Islamic relations of the Islamic Republic of Iran, Iran
<i>Nana G. Gelashvili</i> , Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia	<i>Artur I. Taymazov</i> , Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation
<i>Emma D. Zilivinskaya</i> , N.N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology of the RAS, Russian Federation	<i>Alim I. Tetuev</i> , Institute of Humanitarian Studies of the Kabardino-Balkar Scientific Center of the RAS, Russian Federation
<i>Michel M. Kazanski</i> , French National Centre for Scientific Research, France	<i>Shamil' S. Shikhaliev</i> , Institute of History, Archeology and Ethnography of the Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation
<i>Ekaterina L. Kapustina</i> , Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography of RAS, Russian Federation	<i>Vladimir R. Erlikh</i> , State Museum of Oriental Art, Russian Federation
<i>Jony J. Kvitsiany</i> , Institute of Caucasology at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia	<i>Akhmet A. Yarlykapov</i> , MGIMO University, Russian Federation
<i>Svetlana G. Kudaeva</i> , Maikop State Technological University, Russian Federation	

Managing Director

Makhach A. Musaev
Institute of History, Archeology and Ethnography of the
Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation

Responsible Secretary

Leyla S. Kaplanova
Institute of History, Archeology and Ethnography of the
Daghestan Federal Research Centre of RAS, Russian Federation

Translator

Magomedkhabib R. Seferbekov
The Institute of History, Archeology and Ethnography of the
Daghestan Scientific Centre of Russian Academy of Sciences,
Russian Federation

The cover image depicts an element from Daghestan's folk art tradition
Responsibility for statements, accuracy of citations, titles and names
rests with the authors

The opinion of publishing authors may not always coincide with the
opinion of the editorial staff
If using materials from this journal, an electronic link is required

© Daghestan Federal Research Centre of RAS, 2026
© All authors, V. 22. №3, 2026

Address of the editorial office: 367030, Makhachkala,
M. Yarakskogo St., 75
Tel.: 89285845554, E-mail: caucasushistory@yandex.ru

В этом номере:
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСТОРИЯ

Котеньков С.А., Лобачева Д.М., Коваленко А.В.	КАРТА ЭНГЕЛЬБЕРТА КЕМПФЕРА – НОВЫЙ ИСТОЧНИК О ПЕРВЫХ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ – УЧУГАХ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ XVII в.: МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	460
Урусмамбетова Л.А.	СИСТЕМА РЕВИЗИЙ И КОНТРОЛЯ В НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1870–1880-е гг.)	476
Ахмедова Н.А.	ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА	486
Сукиасян А.К., Хачатрян А.С., Мирзабекян Г.А.	ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ С ИРАНОМ В ПЕРИОД МЕЖДУ СОВЕТИЗАЦИЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕМ СССР (1920–1922 гг.)	495
Ананьев В.Г., Бухарин М.Д.	ВЫСТУПЛЕНИЕ И.А. ОРБЕЛИ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МУЗЕЙНЫХ И ЭКСКУРСИОННЫХ РАБОТНИКОВ (ДЕКАБРЬ 1929 г.): К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ УЧЕНОГО	505
Бабаджанов Б.М., Айтжан Ш.Н., Бобровников В.О., Закарияев З.Ш.	СЕРП И МОЛОТ, ПОЛУМЕСЯЦ И ЗВЕЗДА. МУСУЛЬМАНСКИЕ НАДМОГИЛЬНЫЕ СТЕЛЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ЕВРАЗИИ И НА КАВКАЗЕ	516

АРХЕОЛОГИЯ

Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф., Дога Н.С., Кудашов А.С., Сомов А.В.	ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТАСКУДУК В 2025 ГОДУ	530
Хусейнова Л.А.	КЕРАМИКА НЕКРОПОЛЯ ЧОВДАР ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ – РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР И ХРОНОЛОГИЯ	547
Яворская Л.В., Юрков В.Г., Требелева Г.В.	РАСКОП «ПИФОСЫ» МАРКУЛЬСКОГО ГОРОДИЩА: КОСТНЫЕ ОСТАТКИ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ И ПИФОСОВ	569
Дунцов А.Н.	К ПРОЧТЕНИЮ КУФИЧЕСКОЙ НАДПИСИ НА СТЕЛЕ 1 МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТОВОГО КОМПЛЕКСА X – НАЧ. XIII вв. В ДЕРБЕНТЕ	581

ЭТНОГРАФИЯ

Айрапетян Т.Л., Мадатян Л.Г., Аракелян С.Ш.	ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И РИТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА В АРМЯНСКОЙ УСТНОЙ КУЛЬТУРЕ	594
Далалян Т.С., Варданян Н.Х., Минасян Ш.М., Саргсян А.Ю.	ЯМНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА (ТОНИР) В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ АРМЯН НАГОРНОГО КАРАБАХА (ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ И ФОЛЬКЛОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ XIX–XXI вв.)	608
Коновалов А.А., Нальчикова Е.А., Гугова М.Х.	ЖЕНСКАЯ АГРЕССИЯ В КАБАРДИНСКОМ И БАЛКАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СТЕРЕОТИПОВ	620
Штырков С.А., Дзузов И.И.	ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ЖИВОТНЫХ В РИТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЕТИН: ТРАДИЦИОННОЕ ГОРСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ И ВЫЗОВЫ ПОЗДНЕ-МОДЕРНОГО МИРА	631
Дмитриев В.А.	ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ОБЩЕНАУЧНОМ И МУЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДАХ	642

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Аникеева Т.А.	РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Магомед Гамзаев. История хаджа российских мусульман. М.: Тарих, 2024. – 448 с., илл. ISBN 9785605035404	651
---------------	--	-----

Contents:

MATERIALS AND RESEARCHES

HISTORY

<i>Kotenkov S.A., Lobacheva D.M., Kovalenko A.V.</i>	ENGELBERT KAEMPFER'S MAP – NEW SOURCE ON THE FIRST RUSSIAN SETTLEMENTS – UCHUGS IN THE VOLGA DELTA IN THE XVII CENTURY: LOCATION	460
<i>Urusmambetova L.A.</i>	THE SYSTEM OF AUDITS AND INSPECTION IN PRIMARY PUBLIC SCHOOLS OF THE TEREK OBLAST IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE (1870S–1880S)	476
<i>Akhmedova N.A.</i>	A HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES	486
<i>Sukiasyan H.K., Khachatryan A.S., Mirzabekyan G.A.</i>	DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND IRAN: THE INTERIM PERIOD BETWEEN SOVIETIZATION AND THE FORMATION OF THE USSR (1920–1922)	495
<i>Ananiev V.G., Bukharin M.D.</i>	J. A. ORBELI AT THE LENINGRAD WORKING CONFERENCE OF MUSEUM AND EXCURSION WORKERS (DECEMBER 1929): MARKING THE 65TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH	505
<i>Babadjanov B.M., Nurmanova A.Sh., Bobrovnikov V.O., Zakariyaev Z.Sh.</i>	HAMMER AND SICLE, CRESCENT AND STAR: MUSLIM FUNERAL STELES OF THE SOVIET ERA IN EURASIA AND THE CAUCASUS	516

ARCHEOLOGY

<i>Vybornov A.A., Gilyazov F.F., Doga N.S., Kudashov A.S., Somov A.V.</i>	RESULTS OF THE EXCAVATIONS AT THE TASKUDUK SITE IN 2025	530
<i>Huseynova L.A.</i>	THE LATE BRONZE – EARLY IRON AGE CERAMICS FROM CHOVDAR NECROPOLIS IN AZERBAIJAN: OVERVIEW AND CHRONOLOGY	547
<i>Yavorskaya L.V., Yurkov V.G., Trebeleva G.V.</i>	THE “PITHOI” EXCAVATION AT THE MARKUL SETTLEMENT: ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF ANIMAL BONES FROM CULTURAL LAYERS AND VESSEL FILLS	569
<i>Duntsov A.N.</i>	THE KUFIC INSCRIPTION ON STELA 1 FROM THE MEDIEVAL ISLAMIC CULTIC COMPLEX OF DERBENT (10TH–EARLY 13TH CENTURIES)	581

ETHNOGRAPHY

<i>Hayrapetyan T., Madatyan L., Arakelyan S.</i>	BURIAL RELATED BELIEFS AND RITUAL SYSTEM IN ARMENIAN ORAL CULTURE	594
<i>Dalalyan T.S., Vardanyan N.Kh., Minasyan Sh.M., Sargsyan A.Yu.</i>	THE EARTHEN VERTICAL OVEN FOR BAKING BREAD (<i>T'ONIR</i>) IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE ARMENIANS OF MOUNTAINOUS KARABAKH (ACCORDING TO ETHNOGRAPHIC AND FOLKLORIC MATERIALS OF THE 19 th -21 th CC)	608
<i>Konovalov A.A., Nalchikova E.A., Gugova M.Kh.</i>	FEMALE AGGRESSION IN KABARDIAN AND BALKAR SOCIETY IN THE PAST AND PRESENT: DISMANTLING TRADITIONAL STEREOTYPES	620
<i>Shtyrkov S.A., Dzuzov I.I.</i>	ANIMAL SACRIFICE IN OSSETIAN RITUAL CULTURE: TRADITIONAL HIGHLAND PIETY AND THE CHALLENGES OF LATE MODERNITY	631
<i>Dmitriev V.A.</i>	ETHNOGRAPHIC OBJECT COMPLEXES IN GENERAL SCIENTIFIC AND MUSEOLOGICAL FRAMEWORKS	642

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

<i>Anikeeva T.A.</i>	BOOK REVIEW: Magomed Gamzaev. History of the Hajj of Russian Muslims. Moscow: Tarikh, 2024. – 448 p., ill. ISBN 9785605035404	651
----------------------	---	-----

ИСТОРИЯ

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223460-475>



Исследовательская статья

Котеньков Сергей Анатольевич

С.н.с., к.и.н

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

s_kotenkov@mail.ru

Лобачева Дарья Максимовна

К.г.н., м.н.с.

МГУ им. М.В. Ломоносова, географический ф-т., Москва, Россия

Вед. инженер

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

lobachevadm@ty.msu.ru

Коваленко Александра Вадимовна

Студентка 5 курса

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева.

avmilosh@gmail.com

КАРТА ЭНГЕЛЬБЕРТА КЕМПФЕРА – НОВЫЙ ИСТОЧНИК О ПЕРВЫХ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ – УЧУГАХ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ XVII в.: МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Аннотация. Исследование посвящено локализации первых русских поселений XVII века в дельте реки Волги, представленных на картах Энгельберта Кемпфера (1697 г.). Путём тщательного сравнительного анализа топонимов, зафиксированных в картографических материалах Э. Кемпфера (1697 г.), А. Олеария (1647 г.), чертежах российских учугов XVII и XIX столетий, письменных источников этого периода, а также современных данных, удалось зафиксировать исторические районы расположения поселений и выявить их соответствие современным топонимам и гидронимам. Рассмотрены устройство рыбного промысла и традиционный уклад жизни местных общин на основе уникального рисунка Я. Стрейса, запечатлевшего быт рыбных хозяйств XVII столетия. Анализ карты Э. Кемпфера подтвердил её уникальную ценность как исторического источника, показывающего социальные и экономические процессы в дельте Волги в XVII веке. Были определены районы местоположения рыбных промыслов-учугов Чагана, Иванчуга, Бирюля, Урустобы и Басарги, действовавших на притоках Волги, установлены современные гидронимы, соответствующие названиям рек, на берегах которых находились эти поселения. Указанные учуги находились, по определению авторов, вдоль «староволжского» судоходного фарватера. Методология работы основана на сравнительно-историческом подходе, применении полевых исследований и геоинформационных инструментов, позволивших установить точную локализацию рыбных промыслов XVII века путём определения расстояния по водному пути XVII в. от городской пристани у Никольских ворот Астраханского Кремля до вышеперечисленных учугов. Установлено, что ряд поселений, возникших на месте рыбных промыслов, сохранили до настоящего времени наименования учугов. Полученные результаты обогащают знания о региональной экономике, культурной географии и исторической картографии юга России.

Ключевые слова: карта Энгельберта Кемпфера; рыбный промысел; местоположение учугов; забойка; дельта Волги; Каспийское море; история картографии

Для цитирования: Котеньков С.А., Лобачева Д.М., Коваленко А.В. Карта Энгельберта Кемпфера – новый источник о первых русских поселениях – учугах в дельте Волги XVII в.: местонахождение // История, археология и этнография Кавказа. 2026. 22. № 3. С. 460-475. doi: [org/10.32653/CH223460-475](https://doi.org/10.32653/CH223460-475)

HISTORY

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223460-475>

Research paper

Sergey A. Kotenkov
Ph.D. (in History), Senior Researcher
Shirshov Institute of Oceanology of RAS, Moscow, Russia
s_kotenkov@mail.ru

Daria M. Lobacheva
Ph.D. (in Geography), Junior Researcher
Lomonosov Moscow State University, Geography Department, Moscow, Russia;
Leading engineer
Shirshov Institute of Oceanology of RAS, Moscow, Russia
lobachevadm@my.msu.ru

Alexandra Vadimovna Kovalenko
5th Year Student
Astrakhan State University named after V.N. Tatischev
avmilosh@gmail.com

ENGELBERT KAEMPFER'S MAP – NEW SOURCE ON THE FIRST RUSSIAN SETTLEMENTS – UCHUGS IN THE VOLGA DELTA IN THE XVII CENTURY: LOCATION

Abstract. The study focuses on locating the first Russian settlements of the XVII century in the Volga River Delta, as depicted on the maps of Engelbert Kaempfer (1697). Through meticulous comparative analysis of toponyms recorded in cartographic documents by E. Kaempfer (1697), A. Olearius (1647), drawings of Russian fish traps (uchugs) from the XVII and XIX centuries, archival and modern texts, historical districts of these settlements have been identified and linked to current toponyms and hydronyms. Based on a unique illustration by Jan Struys, the organization of fisheries and traditional lifestyle of local communities in the XVII century have been examined. The analysis of Kaempfer's map confirmed its exceptional value as a historical document, offering insights into social and economic processes in the Volga Delta during the XVII century. Specific locations of fisheries such as Chagan, Ivanchug, Birul, Urustoba, and Basarga have been pinpointed along tributaries of the Volga River, with modern hydronyms matching the rivers where these settlements were historically situated. These fisheries according to the authors' definition lay along the old navigable Volga route ("starovolzhsky"). Methodologically, the study employs a comparative-historical approach, field surveys, and GIS tools that permitted accurately to locate XVII -century fisheries by measuring distances along waterways from the city dock at Nikolskie Gates of the Astrakhan Kremlin to each uchug. It has been demonstrated that several modern settlements originated from former fisheries continue to bear their historic names. These findings enrich our understanding of regional economy, cultural geography, and historical cartography of southern Russia.

Keywords: map of Engelbert Kaempfer, fishery, location of uchugs, zaboyka, Volga River Delta, Caspian Sea, cartographic history.

For citation: Kotenkov S.A., Lobacheva D.M., Kovalenko A.V. Engelbert Kaempfer's map – new source on the first Russian settlements – uchugs in the Volga Delta in the XVII century: location. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3 P. 460-475. doi. org/10.32653/CH223460-475

Введение

Целью нашего исследования является выяснение точного местоположения учугов – первых русских поселений в дельте Волги XVII в. на карте Э. Кемпфера «Hetsuydelykste gedeelte van de Vliet Wolga» (Южная часть реки Волги), опубликованной в книге Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария» (1697 г.).

К моменту визита Энгельберта Кемпфера в дельту Волги (1683 г.) существовало крайне ограниченное количество картографических источников, отображающих данную территорию. Единственной картой, существовавшей в распоряжении европейских путешественников, является карта Адама Олеария [1] (рис. 1), на которой были отмечены лишь отдельные водные артерии и населенные пункты. Сам Олеарий указывал на неудовлетворительное состояние русских карт того времени [2]. В то же время карта Я. Стрейса была крайне неинформативна [3], поскольку на ней указаны только река Волга и город Астрахань.

Данная работа является продолжением исследований указанного источника, в ходе которых авторами был выполнен детальный анализ топонимов, обозначающих учуги XVII в. (рис. 1) [4]. Установлены протоки волжской дельты, на берегах которых они располагались [5], обозначен подъём уровня моря в качестве основной причины прекращения деятельности некоторых промыслов [4]. В работе нами были поставлены следующие задачи: 1) посредством инструментальных расчётов и натурных исследований (полевых выездов) выяснить точное местоположение рыбных промыслов в XVII в. на указанных протоках; 2) представить описание устройства учуга, изображённого на рисунке Я. Стрейса и рабочих процессов на нём, включив сведения, почерпнутые из записок путешественников XVI – XVIII вв.; 3) показать каким образом рельеф местности привёл к затоплению ряда рыбных промыслов в результате подъёма уровня Каспийского моря; 4) выяснить какие обстоятельства послужили причинами запрета этого способа рыбной ловли.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач мы используем карту Э. Кемпфера, а также представляем выдержки из сочинений европейцев в XVII вв.: Бэрроу (1580г.) [7], Адама Олеария (1637 г.) [2], Яна Стрейса (1670 г.) [3], Корнелиуса де Бруина (1709г.) [8], российских источников XVII–XIX вв., чертежа учугов Троицкого монастыря.

История поселений в дельте Волги неразрывно связана с трансгрессивно-регрессивной ритмикой Каспийского моря. Вопросу колебаний уровня Каспийского моря посвящён целый ряд современных исследований [9; 10; 11]. Настоящее исследование приобретает особую актуальность на фоне текущего снижения уровня Каспийского моря, наглядно демонстрируя негативные эффекты природно-климатических изменений на социально-экономическую инфраструктуру и повседневную жизнь населения прибрежных зон.

Для иллюстрации условий быта рыбных хозяйств XVII столетия, рабочих процессов на учугах (рыбодобыча, транспортировка, переработка, консервирование, изготовление рыбных деликатесов и рыбьего клея), авторы использовали самое раннее и наиболее точное изображение и описание учуга из книги Я. Стрейса «Три путешествия» [3] (рис. 3).

В работе использовался сравнительно-исторический метод и картографический метод — для визуализации местоположения рыбных промыслов XVII в. в дельте Волги. На основании данных Астраханской рыбной конторы 1742 г. [12] мы определили географические координаты местоположения учугов на современной карте (рис. 4). Мы определили расстояния по водному пути XVII в. от городской пристани у Никольских ворот Астраханского Кремля до вышеперечисленных учугов и отметили на современной карте координаты местоположения пяти из шести указанных на карте Кемпфером учугов (рис. 1) [4].

При переводе вёрст в километры мы использовали размеры путевых верст XVII в. (500 саженой — 1080 м) и XVIII в. (500 саженой — 1067 м¹) [13, с. 256]. Авторы предприняли ряд рекогносцировочных выездов на выявленные в результате промеров точки.

¹ Здесь и далее по тексту перевод футов в метры приводится авторами работы. Выражаем благодарность за перевод текстов с голландского языка слависту профессору Эммануэлю у (Антверпен, Бельгия).

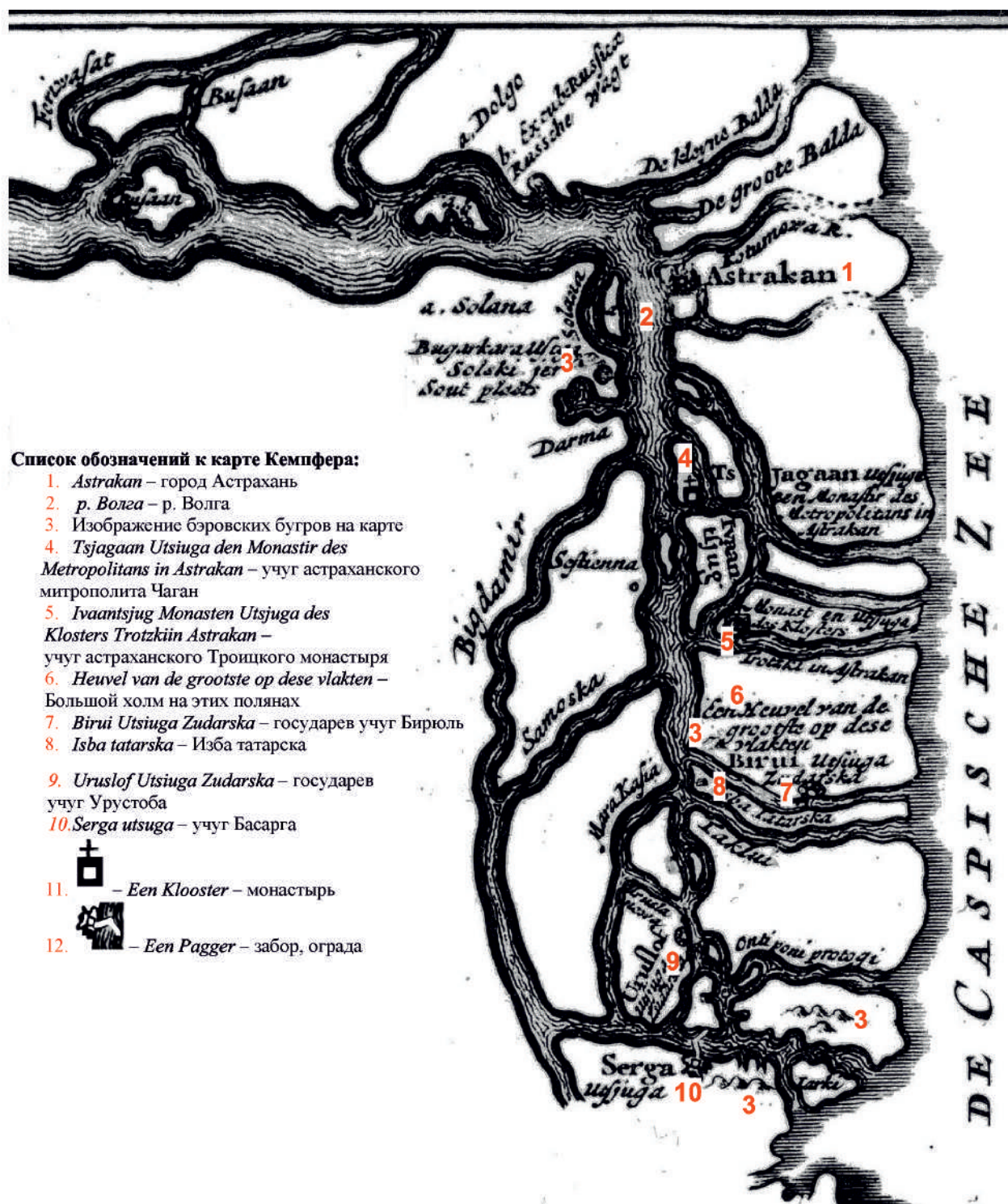


Рис. 1 Фрагмент карты Кемпфера с изображением участка дельты Волги от о. Долгий (a. Dolgo) до Каспийского моря (De Kaspische Zee) [6, с. 754]. Интерпретация выполнена Котеньковым С.А.
1–12 – номера топонимов населенных пунктов, учугов (забоек), условных обозначений

Fig. 1 Fragment of Kampfer's map showing an area of the Volga Delta from Dolgy Island (a. Dolgo) to the Caspian Sea (De Kaspische Zee) [6, p. 754]. Interpretation of designations were carried out by S.A. Kotenkov.
1–12 – numbers of populated localities, fish uchugs, and conventional symbols

В настоящем исследовании использованы ранее опубликованные материалы авторов [5]. В ходе проведенных сопоставлений удалось обнаружить устойчивое сходство ряда наименований гидронимов западной части дельты с теми, что фигурируют на более ранних картах Адама Олеария (1647 г.), а также проследить преемственность их названий с современными.

Подобная систематизация материала с учётом временных и пространственных критериев позволила убедительно дополнить имеющиеся исторические сведения о процессах заселения отдельных участков волжской дельты. Выявлено подтверждение общей тенденции возникновения постоянных поселений именно на местах традиционных рыболовных угодий, что свидетельствует о тесной взаимосвязи экономических основ жизнедеятельности населения с природными ресурсами региона.

Результаты и обсуждение

Конструкция забойки представлена на рисунке 2, которая имеет надводную и подводную части [14, с. 126].

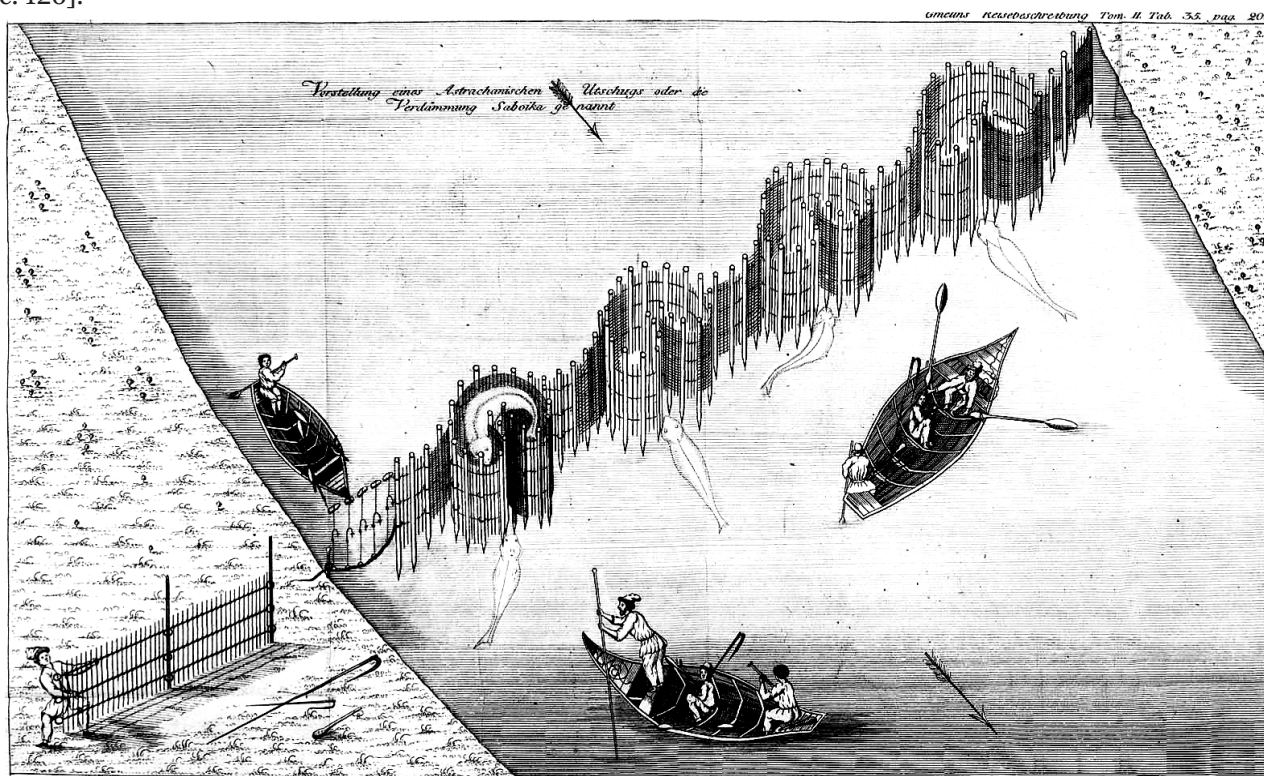


Рис. 2 Verstellung eines Astrachanischen Utschugs oder die Verdammung Saboika genannt. Вид астраханского учуга, называемого забойкой. Перевод с немецкого Котенькова С.А. [15]

Fig. 2 Verstellung eines Astrachanischen Utschugs oder die Verdammung Saboika genannt. A view of the Astrachanian utschug called zaboika. Translated from the German by S.A. Kotenkov [15]

Единственное изображение учуга XVII в. дошло до нас в первом издании книги Я. Стрейса (1678 г.) (рис. 3), в записках которого сохранилось самое раннее описание его устройства [3, с. 210–211].

Существует мнение, что данный рисунок дает искаженное представление об учугах [16, с. 79]. Однако мы считаем, что автор реалистично и достоверно изобразил устройство учуга и происходившие на нём процессы рыбодобычи, первичной обработки рыбы и приготовления рыбной продукции. Голландский путешественник Корнелиус де Бруин, посетивший в июле 1709 г. один из учугов сообщает, что «...наловленную рыбу солят и отправляют далее. Для этого употребляется ими большой струг, который и нагружается рыбой» [8, с. 177].

На указанном рисунке показано несколько забоек (*Het Pael-werck*) (рис. 3/В), перекрывающих реку от одного до другого берега. Известно, что на учугах Иванчуг и Бирюль располагались 3 забойки, на Уварах и Урустобе по 2 забойки [16, с. 76, табл. 20], имевшие протяжённость от 300 до 600 м [16, с. 79].

Изображая изогнутую линию забоек, автор пытался отобразить устройство «учужных изб» – ловушек, из которых, как видно на рисунке, работники учуга, подплывая на многочисленных лодках,

баграми вылавливают рыбу — «багряют» (рис. 3/D), и затем везут ее на берег (рис. 3/E). Выловленную рыбу баграми перетаскивают (рис. 3/F) к производственным постройкам, где складывают для последующей обработки (рис. 3/G). Около забойки, как правило, возникал учужный стан — своеобразный рыборабочный завод, где работали опытные специалисты. Среди них были «резальщики», в обязанность которых входило «рыбу резати мастерски, чтобы режучи рыбы не портить и хрящей не подрезати» [17, с. 246]. Под хрящом подразумевалась вязига — плотная хрящевая ткань, которая проходит вдоль позвоночника осетровых. Затем рыба сортировалась на различные продукты: икру, свежую и паюсную, клей, вязигу, рыбий жир, кавардак, тёшку, спинки и боковинки. Прочие специалисты «солильщики» натирали рыбу солью, «икряные мастера» готовили икру, «клеевщики» — клей [17, с. 246]. На рисунке рядом с приготовленной для разделки рыбой (рис. 3/G) виден чан над огнём, в котором, вероятно, вываривается рыбий клей или рыбий жир (рис. 3/H), который будет разлит в бочки. Справа всадник на коне, вероятно, руководитель работ на учуге (учужный атаман) [14, с. 130], дающий указания работникам (рис. 3/I). Рядом тягловые животные — лошадь и верблюд (рис. 3/J) для транспортировки продукции. Здесь же располагались амбары для засолки рыбы (рис. 3/K), хранения соли, продуктов питания, постройки для проживания работников промысла. Также здесь трудились «нырятьщики» — водолазы, в обязанность которых входило «в воду лазить, и дыры в учуге заделывать, чтоб ходу рыбе не было». Во время работы нырятьщики дышали через длинные камышовые трубки [17, с. 246]. На обоих берегах Волги изображены сторожевые будки — *Wacht huysen aan weder syds des Wolga* (рис. 3 A), именовавшиеся «караульными избами»,

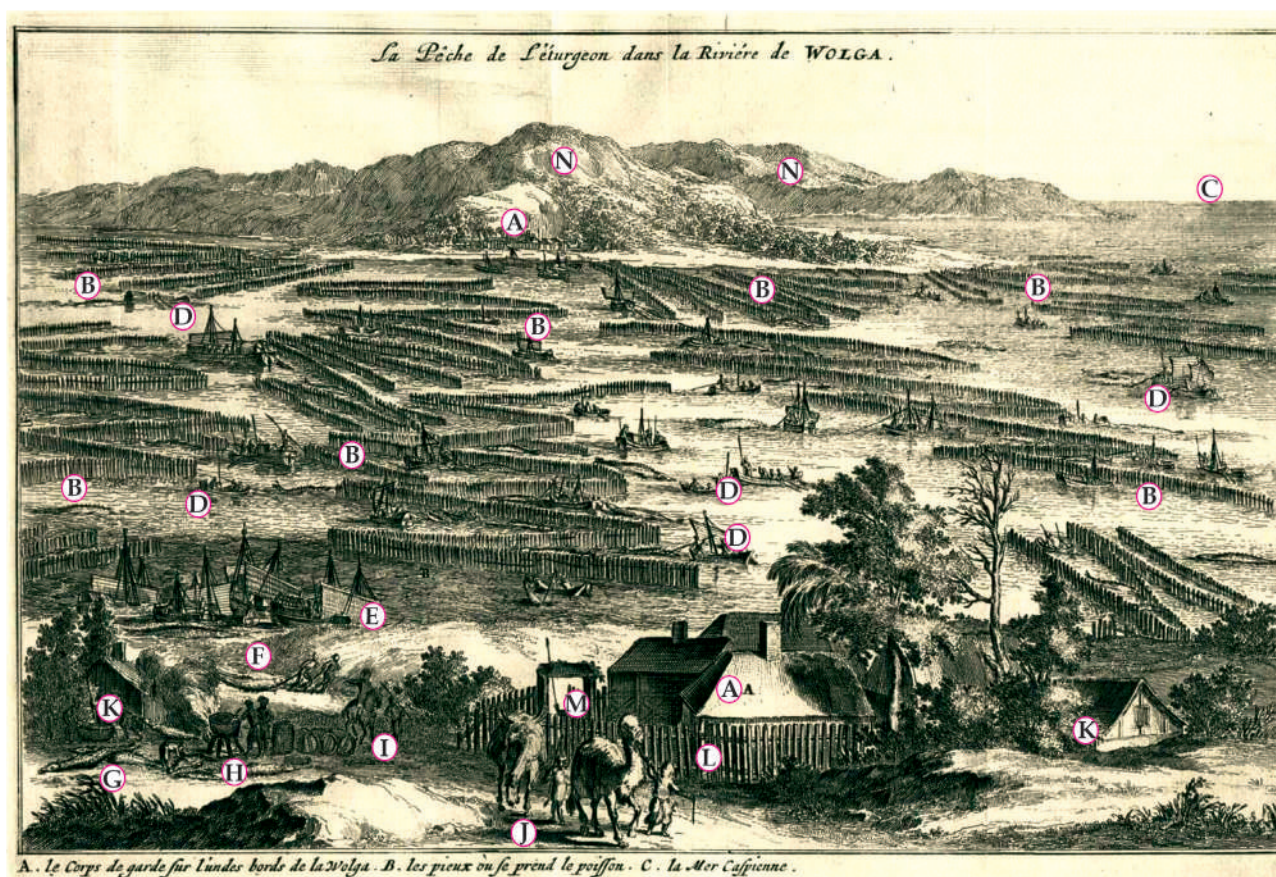


Рис. 3 Изображение учуга из книги Я. Стрейса «Три путешествия» [3].

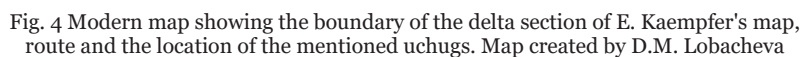
Надпись сверху: *Stear vangst inde River de Wolga* — Лов стерляди в реке Волге

Латинскими буквами от А до С и пояснения к ним обозначены Я. Стрейсом: А — *Wacht huysen aan weder syds des Wolga* — Сторожевые будки на обоих берегах Волги; В — *Het Pael-werck* — заборы (забойки); С — *de Caspische Zee* — Каспийское море.

Буквами от D до N авторами обозначены рабочие процессы на учуге. Пояснения к ним приведены в тексте

Fig. 3 Image of a uchug from the book by J. Strace. Straussens 'Three Journeys' [3].

Latin letters from A to C and explanations to them are labelled by J. Straussens: A — *Wacht huysen aan weder syds des Wolga* — Watch-boxes on both banks of the Volga; B — *Het Pael-werck* — fences (fences); C — *de Caspische Zee* — the Caspian Sea. The letters from D to N by the authors denote the working processes on the uchug. Explanations for them are given in the text



рядом с которыми часто сооружались сторожевые вышки, окруженные частоколом (рис. 3/L) [14, с. 126]. Рядом с одной из будок стоит стражник с копьем (рис. 3/M). В источниках упоминается, что в XVII в. на учугах постоянно находились отряды стрельцов [14, с. 127], охранявших рыбные промыслы от «воровских казаков», имевшие на вооружении даже пушки [16, табл. 20]. Известно, что за 13 лет до путешествия Э. Кемпфера Степан Разин, возвращаясь с Каспийского моря на стругах, захватил и разграбил Басаргинский учуг [18, с. 144]. Но опасаться следовало не только внешних врагов: на учугах работали не только наёмные люди – байгушники («байгуши») – бедные люди², и «прибылые люди» – поселенцы [19, с. 108], но и те, кого управляющим учугов – атаманам следовало опасаться – «бродяги и безпутные люди, нетерпимые в обществе» [20, с. 25], и государственные поселенцы – бывшие преступники и колодники [21, с. 18]. В XVI в. на учугах была небольшая охрана, на момент посещения Х. Бэрроу одного из учугов (1580 г.) там размещалось «несколько хижин и русский царь держал на этом месте несколько стрельцов для охраны рыболовов» [7, с. 268]. Но в XVII в. на учугах постоянно находились на годовой службе небольшие отряды из 15–20 стрельцов, под руководством сотников [14, с. 127]. К примеру, для охраны учуга Чурка было выделено 9 пушек и построены 4 башни, для Иванчуга – 7 и 4, для Басарги – 4 и 6, соответственно [16, табл. 20]. Укрепленный учуг упомянул Корнелиус де Бруин (1709 г.) [8, с. 177].

На карте Э. Кемпфера обозначены возвышенности естественного происхождения – бэровские бугры (рис. 1/3) на обоих берегах р. Волги (рис. 1/2). [4]. Первый рыбный промысел на карте – учуг астраханского митрополита Чаган (*Tsjagaan Utsiuga den Monastir des Metropolitans in Astrakan*) [4] (рис. 1/5). Первым данный рыбный промысел, как «рыбные загоны Астраханского монастыря» [22, с. 68] упомянул в 1623 г. следовавший мимо него на пути в Персию купец Фёдор Котов. Рядом с учугом на карте изображена церковь, идентифицированная нами как храм Святой Живоначальной Троицы, возведённый в XVII в. [23, с. 85]. В своих записках Олеарий именует этот храм часовней, отмеченной на его карте также в виде квадрата с крестом, [2]. Расстояние 30 верст (32,4 км на XVII в.; 32 км на XVII–XVIII вв.) от Астрахани до учуга приводят Фёдор Котов (1623 г.) [22], А. Олеарий (1637 г.) [2, с. 357], Астраханская рыбная контора (1724 г.)³.

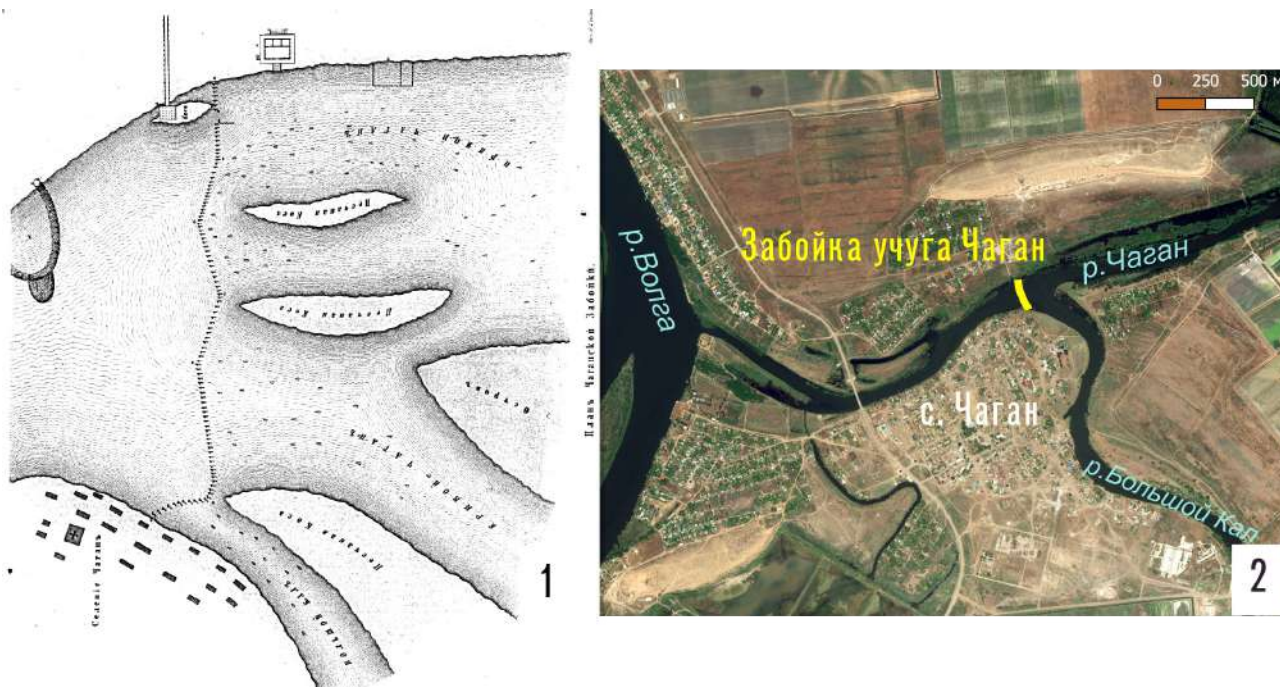


Рис. 5 Местоположение Чаганской забойки: 1 – план Чаганской забойки (1861 г.) [24];
2 – местоположение Чаганской забойки на современной карте

Fig. 5 Location of Chagan fish trap: 1 – plan of Chagan fish trap (1861) [24]; 2 – location of Chagan fish trap on modern map

2 Невоструев К.И. Описание восточного берега Каспийского моря и туркменского народа Михаила Михайловича Лодыжинского [рукопись], нач. XIX в. 58 лл. // Российская государственная библиотека. Ф. 194 Собрание рукописных книг К. И. Невоструева. Ф. 194 №50. С. 5.

3 25. Дело Астраханской рыбной конторы (1765–1781 гг.) // ГАО. Ф. 614. Оп. 1. Д. 560. С. 117.

Координаты учуга Чаган (46°10'48.4"N 47°58'21.2"E) расположены в пределах существующего по сей день с. Чаган (рис. 4/1) на одноименной реке в Камызякском районе Астраханской области.

В книге «Исследования о состоянии рыболовства в России» (Т. 4. прил. 1861 г.), сохранился план местоположения Чаганской забойки (рис. 5) [24], изображённого у слияния рек Чагана и Большого Кала (рис. 5/1), перекрывавшего проход идущих на нерест осетровых рыб сразу с двух протоков. Выезд на место локации и осмотр окрестностей не позволили обнаружить материальных свидетельств остатков учуга и стана, следы которых, вероятно, скрыты поздними постройками. Но современная позиция учуга в месте слияния рек Чагана и Большого Кала полностью совпадает с его местоположением на плане одноименной забойки (1861 г.) у с. Чаган (рис. 5/2).

Следующая забойка – учуг Иванчуг астраханского Троицкого монастыря – (Ivaantsjug Monasten Utsjuga des Klosters Trotskiin Astrakan) (рис. 1/5) [4]. Олеарий разместил учуг *Juantzur* на своей карте у вершины реки. Расстояние от учуга до Астрахани 30 вёрст (32,4 км на XVII в.; 32 км на XVII–XVIII вв., примеч. авторов) от Астрахани до учуга приводят и другие авторы: XVII – нач. XIX вв.: Олеарий (1637 г.) [2, с. 357], Ф. И. Соймонов (1722 г.) [25, с. 68]; Рыбная контора (1724 г.) [11, с. 117], Озерецковский (1804 г.) [19, с. 111].

Данный учуг на картах Олеария – под именем *juantzur* (Янтцур), на чертеже учугов Троицкого монастыря – под названием учуг *ядантюг* на протоке *иванчужная* отмечены у вершин указанных протоков. Как сообщают Епархиальные ведомости, учуг располагался между реками Старый Иванчуг и Новостанка (рис. 4/2) [26, с. 464] (ныне мелкий, практически пересоший ерик), что указывает на местоположение промысла на мысе между указанными протоками (рис. 6/1/8). На карте Г.Г. Басаргина (1823 г.) [27] (рис. 6/1) изображены два селения: Старый Иванчуг (бывший стан при забойке Яман учуг (Иванчуг)) на правом берегу одноименной реки (рис. 7/1/2) у вершины реки Старый Иванчуг (рис. 7/1/3) и Новый Иванчуг – на левом берегу р. Каныча. Согласно записям Походного журнала 1722 г., Пётр I во время Персидского похода, продвигаясь во главе флотилии по Волге 19 июля 1722 г., остановился на ночлег недалеко от Троицкого Учуга (Иванчуга). Утром, оставив корабли на Волге (Старой Волге) (рис. 7/1/1), государь отправился на протоку Старый Иванчуг (рис. 6/1/3), осматривать данный рыбный промысел [28]. Подтверждение расположения учуга у вершины указанной протоки мы находим в его описании в Епархиальных ведомостях (рис. 6/1/1) [26, с. 464].

Олеарий в своём сочинении также, сначала упомянул часовню (церковь), а потом сам учуг [2, с. 357]. Местоположение учуга Иванчуг в районе селения Старый Иванчуг полностью совпадает с приводимыми путешественниками расстоянием и с нашими замерами (рис. 4/3). В связи с занесением учужной забойки в XVIII в., новая забойка с аналогичным наименованием не позднее 40-х гг. XVIII в. была построена на реке Каныча (современная р. Гандурино), где на её левом берегу, на месте Нового Иванчуга в настоящее время расположено с. Иванчуг Камызякского района Астраханской области (рис. 4/2). А селения Старый Иванчуг больше не существует.

Координаты учуга Иванчуг (46°05'24.3" N 47°56'09.3"E) совпали с местом, представляющим собой мыс (рис. 4/2), расположенный у вершины реки Старый Иванчуг, в 1,6 км к востоку от с. Хмелёвка Камызякского района Астраханской области (рис. 6/2). Во время выезда на место локации, на указанном мысе были найдены многочисленные артефакты рубежа XVII–XVIII вв. (фрагменты жернова, посуды, железные скобы для поднятия паруса, крючки, керамические таши – сетные грузила).

Очередной рыбный промысел на карте ниже по течению – государев учуг Бирюль (*Birui Utsiuga Zudarska*) (рис. 1/7) [4]. Данная забойка, известная с 1614 г. [16, с. 76], располагалась в 40 верстах (42, 7 км) от Астрахани на реке Волга, упоминаемой в XVII в. под именем Бирюль [12, с.117]. Аналогичное расстояние приводит купец Фёдор Котов [22, с. 68]. *Бирюльский стан* (учуг) (рис. 2/6) на *бирюльской протоке* (рис. 2/5) изображен на чертеже учугов Троицкого монастыря⁴.

Координаты учуга Бирюль (46°00'35.7"N 47°51'14.9"E) локализованы на р. Волга в 1 км ниже по течению от с. Самосделка (основано в 1778 г.) Камызякского района Астраханской области (рис. 4/3, рис. 7). Карты А.Е. Колодкина (1820 г.) [29] и Г.Г. Басаргина (1823 г.) [27, к. 46] подтверждают, что данный участок реки Волги от с. Самосделка до места её впадения в Каспийское море в XVII–XIX вв. именовался р. Бирюль. Во время выезда авторов в точку координат, осмотр прибрежной полосы не позволил выявить остатки учуга, опрос местных жителей не дал результатов.

4 Чертеж расположения учугов и промысловых ватаг в дельте Волги. Вторая половина XVII в. // Отдел рукописей Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника. КП 41422/5. Л. 260 об.

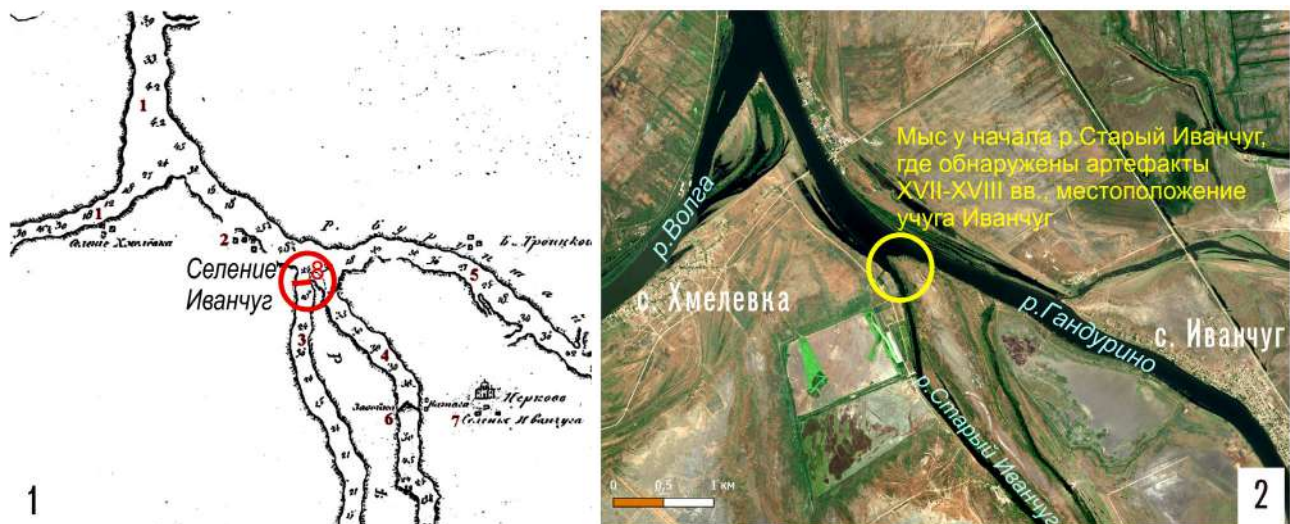


Рис. 6. Местоположение учуга Иванчуг:

- 1 — фрагмент генеральной плоской карты Каспийского моря, Г.Г. Басаргин. 1823 г. [27]: 1 — р. Старая Волга; 2 — селение Старый Иванчуг; 3 — р. Старый Иванчуг; 4 — р. Каныча (р. Гандурино); 5 — р. Бурунтай (ер. Троицкий); 6 — забойка; 7 — селение Новый Иванчуг; 8 — местоположение учуга Иванчуг на р. Старый Иванчуг. 2 — местоположение учуга Иванчуг на современной карте

Fig. 6. Location of Ivanchug fish trap

- 1 — fragment of General Flat Map of the Caspian Sea by G.G. Basargin, 1823 [27]: 1 — Old Volga River; 2 — village Stariy Ivanchug; 3 — Old Ivanchug River; 4 — Kanicha River (Gandurino River); 5 — Buruntai River (Troitskiy Creek); 6 — fish trap; 7 — village Noviy Ivanchug; 8 — location of Ivanchug fish trap on Old Ivanchug River. 2 — location of Ivanchug fish trap on contemporary map



Рис. 7. Район предполагаемого местоположения учуга Бирюль

Fig. 7. Area of presumed location of Birul uchug



Рис. 8. Район предполагаемого местоположения учуга Урустоба

Fig. 8. Area of presumed location of Urustoba uchug

Следующая забойка на карте – государев учуг Урустоба (*Uruslof Utsiuga Zudarska*) [1] (рис. 4/4, рис. 8). В переводе с тюркского Урустоба означает Русский бугор, что свидетельствует о местоположении учуга рядом с возвышенностью – бэровским бугром. К. Бэрроу в 1580 г. первым в истории указал расстояние от г. Астрахани до этого учуга – 60 вёрст (64 км) [7, с. 268]. Аналогичные расстояния приводят Ф. Котов [39, с. 68] и записи Астраханской рыбной конторы [8]. Судя по карте, промысел находился на правом берегу реки *Uruslanowa* (Урусланова) (рис. 4/4) – реке Уруслово Плёсо (ныне р. Ямная в Икрянинском районе Астраханской области). Н. Витсен сообщает, что «*Руслана — это река в нижнем течении Волги...*» [6, с. 898]. На учуге имелся шлюз для прохода кораблей и караул для его охраны [2, с. 358; 8, с. 177; 3, с. 211; 7, с. 268]. Сохранились сведения, что данный учуг, перекрывая проход судов в устье Волги, служил своеобразной заставой [30, с. 415–416]. По нашему мнению, именно, этот учуг упомянул А. Олеарий [2, с. 358] и изобразил на своей карте (рис. 1/4). То, что данный учуг являлся последним поселением на выходе в море, свидетельствуют записи Х. Бэрроу. Когда судно с англичанами миновало учуг, оно село на мель и только с этого

поселения им прислали паузок (вёсельная лодка), чтоб на него перегрузили товары, пока на судне откачивали воду и заделывали пробоину [7, с. 268]

Именно этот учуг — «рыболовлю» и «сторожку» под названием «Четыре Бугра⁵, около которой возвышались четыре холма», упомянул в июле 1709 г. де Бруин, расположенную «60 верстах от Астрахани». Вероятно, на учуге имелась ледодельня [8, с. 177–178].

Эту же забойку изобразил в своей книге Я. Стрейс. В правом верхнем углу его рисунка учуга изображено Каспийское море (*de Caspische Zee*) (рис. 3/С), что указывает на местоположение рыбного промысла вблизи моря. Следующей приметой для данного учуга являются изображенные на противоположном берегу возвышенности, похожих на горы — бэровские бугры, а данная забойка содержит в своём названии слово «бугор», значит была расположена рядом (рис. 3/Н) [3]. Как «последний дворцовый учуг на выходе к морю» он упоминается во время Персидского похода (1822 г.) при переходе флотилии Петра I по Волге к морю [25, с. 69; 29, с. 69]

Координаты Урустобинского рыбного промысла (45°49'12.2"N 47°40'04.2"E) первоначально показали его локацию в районе с. Чулпан Икрянинского района Астраханской области, расположенному на правом берегу р. Ямная (рис. 8), именовавшейся в XVII–XIX вв. Уруслово Плёсо.

Выезд в с. Чулпан, осмотр местности показал отсутствие в окрестностях села главной приметы Урустобинского учуга — возвышенности (бэровского бугра) и, кроме того, данное поселение было основано лишь в 1828 г [31, с. 60]. В Астраханских епархиальных ведомостях сохранилась запись Астраханской гарнизонной канцелярии от 3 марта 1733 г. Об учуге Уруслове [23, с. 452]. Село Седлистое расположено ниже по течению р. Ямная, в 12 км к югу от с. Чулпан на одном из бэровских бугров и образовалось на месте заложенной в 20-х гг. XVIII в. крепости Седлистенской, где находились «магазины» — постройки для хранения провианта, боеприпасов и снаряжения войск, принимавших участие в Персидском походе Петра I (1722–1723 гг.). Происхождение названия села связано с русским словом *седловина* — «понижение, впадина в гребне горы», в данном случае — бугор с двумя вершинами разделённый седловиной [31, с. 47–48]. По нашему мнению, учуг Урустоба, ещё до сооружения крепости, располагался в окрестностях современного с. Седлистое, напротив одного из бугров на берегу р. Ямная (Уруслово Плёсо) (рис. 4/4) (рис. 8). Осмотр местности в селе и опрос местных жителей не позволили установить точное местонахождение промысла.

Последний рыбный промысел на карте Кемпфера с названием *Serga utsuga* (Серга утсуга) идентифицирован нами как учуг Басарга [4]. Он располагался в 60 верстах (64 км) от Астрахани на реке Подстепная Басарга [12, с. 117–118]. Э.Л. Дубман ошибочно полагал, что учуг располагался в восточной части дельты [16, с. 78], астраханский краевед А.С. Марков считал, что промысел находился на одноименной реке, протекающей в 35 км выше Астрахани к югу от с. Красный Яр [32, с. 38]. В действительности, в XVII–XIX вв. данная река являлась крупной протокой «самым западным Волжским устьем» [33, с. 7].

Установить точное местоположение Басаргинского учуга, располагавшегося на р. Подстепная Басарга сложно, т.к. она пересохла и от её русла сохранился небольшой ерик Подстепок. Однако, учитывая факт, что Астраханская рыбная контора приводит одинаковые расстояния от Астрахани до Урустобинского и Басаргинского учугов (60 вёрст), и Кемпфер, проходя к морю «староволжским» фарватером, указал последним учуг Басарга на своей карте, можно сделать вывод, что данный промысел также мог находиться вблизи от судоходного маршрута. При определении местоположения Басаргинского промысла следует учитывать погрешности в промерах, выполненных в XVIII в., как в случае с местонахождением Урустобинского учуга. Указанные погрешности связаны с изменениями гидрологической сети, смещением русел дельтовых протоков, произошедших за 250 лет при частых колебаниях уровня Каспийского моря. Нам представляется, что промысел Басарга располагался в районе современного с. Оранжевые Икрянинского района Астраханской области (рис. 4/5, рис. 9), возникшего во второй пол. XIX в. на месте одноименного рыболовного промысла на берегу р. Подстепная Басарга [31, с. 42].

Бирюльский, Иванчутский (на реке Старый Иванчуг), Урустобинский и Басаргинский учуги во II пол. XVIII в. уже не функционировали по причине подъёма уровня Каспийского моря. На рис. 4 проведена реконструкция границ морского края дельты при уровне моря — 23, 5 м абс., согласно которым их территория оказалась затопленной, начиная с 40-х гг. XVIII в. Данный факт подтверждают

5 Нельзя путать с островом «Четыре Бугра» располагавшемся в море на 40 вёрст южнее [7, с. 268] — местом последней стоянки судов, перед выходом в море, где начинался 9-ти футовый рейд



Рис. 9. Район предполагаемого местоположения учуга Басарга

Fig. 9. Area of presumed location of the Basarga uchug

записи Астраханской рыбной конторы (1742 г.) [12, с. 116-118]. В то время как Чаганский и «новый» Иванчугский (на реке Каныча (современная р. Гандурино)) промыслы (рис. 4) избежали подтопления и продолжили свою деятельность в XIX в. Данные учуги отмечены на картах С.М. Гмелина (1777 г.) [15], А.Е. Колодкина (1820 г.) [29] и Г.Г. Басаргина (1823 г.) [27]. Они вкупе ещё в двумя учугами (Камызякским и Уваринским), принадлежащие князьям Куракиным (по указу императора Павла I от 10 апреля 1797 г.), избежали запрета на вылов рыбы посредством забоек в соответствии с Положением об устройстве рыбных промыслов на Каспийском море от 11 сентября 1803 г [34, с. 445, 450]. Остальные учуги надлежало уничтожить [ПСЗ, С. 889]. Учёный К. Бэр, совершивший в 1853–1857 гг. экспедиции по Волге и Каспийскому морю, посетил Камызякский и Чаганский учуги [35, с. 107]. В своих отчётах автор отмечал высокий улов в учугах, но предложил снять их, дабы не препятствовать прохождению рыбы [35, с. 124, 419].

Наконец, 25 мая 1865 г. Уставом Каспийских рыбных и тюленьих промыслов был утверждён окончательный запрет на устройство и деятельность учугов [34, с. 445, 450, 453-454].

Подъём уровня Каспийского моря в период с 40-х гг. XVIII в. – нач. XIX в. изменил гидрологический режим в дельте Волги и привел к переселению жителей. Лишь 2 учуга – Чаган и Иванчуг (на реке Каныча (*Гандурино*)), продолжив свою деятельность, стали впоследствии основой для возникновения одноименных населённых пунктов, существующих по настоящее время (Рис. 4, 6, 7).

Установлено, что промыслы Чаган, Иванчуг (старый), Бирюль, Урустоба и Басарга располагались вблизи от «староволжского» судоходного маршрута, по которому на учуги из Астрахани доставляли продукты, боеприпасы, оборудование, а с учугов в город – рыбную продукцию.

Первоначально, в XVII–XVIII вв. способ рыбодобычи посредством учугов считался продуктивным, приносящим их владельцам большие доходы. Так, в ноябре 1771 г. на одном учуге за 2 часа было выловлено 500 белуг, каждая весом от 40 до 70 пудов [17, с. 246]. Позднее, к нач. XIX в., с развитием рыболовства и увеличением объёмов рыбодобычи не только в дельте Волги, но на её среднем течении и в верховьях реки данный способ рыбодобычи был признан нерациональным для развития волжского рыболовства. Забойки, установленные на большинстве крупных протоков волжской дельты, закрывали путь продвижения рыб осетровых пород, идущих на нерест, препятствуя её проходу вверх по Волге, к тому же множество раненой при «багрении» на учугах рыбы уходило и погибало.

Выводы

Исследование топонимов, приведенных на картах Энгельберта Кемпфера (1697 г.), является важной частью для понимания образования учугов – первых русских поселений XVII века в дельте р. Волги. Для достижения поставленной цели проведен сравнительный анализ топонимов, приведенных в картографических материалах А. Олеария (1647), Э. Кемпфера (1697) и чертежах российских учугов XVII, XIX вв., с современными названиями поселений. В работе приводится детальное описание устройства рыбного промысла и хозяйственного уклада, выполненные по рисунку Я. Стрейса.

В результате исследования достигнута важная цель и выполнен ряд задач – установлена точная локализация и идентификация первых русских поселений XVII века в дельте реки Волги, обозначенных на карте Э. Кемпфера (1697 г.). Локализованы и нанесены на современную топооснову точные местоположения известных рыбных промыслов, таких как Чаганский, Иванчутский, а также районы местонахождений Бирюльского, Урустобинского и Басаргинского учугов, существовавшие на притоках Волги в XVII веке и тяготевших к Волго-Каспийскому судоходному пути.

Благодаря сочетанию полевых исследований, геоинформационных методов и сравнительно-исторического анализа старых карт и записей путешественников, нам удалось, определив расстояние от городских причалов у Никольских ворот Астраханского кремля до каждого из учугов, точно локализовать районы рыбных промыслов XVII века. Установлено, что ряд современных населённых пунктов, сформировавшихся в XVII–XVIII вв. вокруг этих промыслов, сохраняют имена прежних поселений до наших дней.

Отдельно рассмотрен вопрос прекращения деятельности учугов в XVIII–XIX веках. по причине подъема уровня Каспийского моря, и введения новых законодательных актов, регламентирующих рыболовство.

Таким образом, данное исследование существенно пополняет знания о региональной экономике, культуре и картографии южных областей России. Оно демонстрирует взаимозависимость социальных, экономических и экологических факторов в исторической перспективе, что особенно актуально в свете современных изменений окружающей среды и колебания уровня Каспийского моря.

Благодарность: Авторы благодарят рецензентов за конструктивную критику и ценные рекомендации. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 25–27–00357 «Климато-гидрологические события в период Раннего Средневековья (VI–X вв.) на территории дельты р. Волги».

Acknowledgements. The authors thank the reviewers for their constructive criticism and valuable suggestions. The research was supported by the Russian Science Foundation grant no. 25–27–00357, “Climatological and hydrological events during the Early Middle Ages (VI–X centuries) in the Volga River Delta”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Olearius A.* Oftt beehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise So duth Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen... Schleswig, 1647.
2. *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию / Пер. с нем. А. М. Ловягина. Смоленск: Русич, 2003. 480 с.
3. Три путешествия: По Италии, Греции, Лифляндии, Московии, Татарии, Мидии, Персии, Ост-Индии, Японии и различным другим странам. 1647–1673 / Я.Я. Стрейс / Пер. Э. Бородиной; Ред. А. Морозова; Введение: А. Гайсинович. М.: Соцэкгиз, 1935. 415 с.
4. *Котеньков С.А., Лобачева Д.М.* Карта Энгельберта Кемпфера — новый источник о первых русских поселениях — учугах в дельте Волги XVII в.: интерпретация терминов // История, этнография и археология Кавказа. 2025. 22 (4), С. 423–434.
5. *Котеньков С.А., Лобачева Д.М.* Карта и записки Энгельберта Кемпфера 1697 г. Историко-географический анализ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: Геогр. 2024. Т. 79. № 5. С. 113–122. DOI: 10.55959/MSU0579-9414.5.79.5.10.
6. *Витсен Н.* Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии. В 3 т. / пер. с гол. В.Г. Трисман; ред. и науч. рук. Н.П. Копанева, Б. Наарден. Т. 2. Амстердам: Pegasus, 2010. 980 с.
7. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М.: Соцэкгиз, 1938. 315 с.
8. Россия XVIII в. глазами иностранцев / Подг. текс., вступ. ст. и коммент. Ю.А. Лимонова. Л.: Лениздат, 1989. 544 с.
9. *Аполлов Б.А.* Каспийское море и его бассейн. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. — 119 с.
10. *Рычагов Г.И.* Колебания уровня Каспийского моря: Причины, последствия, прогноз // Вестн. Моск. Ун-та Сер. 5. География. 2011. № 2. С. 4–12.
11. *Варущенко С.И., Варущенко А.Н., Клиге Р.К.* Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени. М.: Наука, 1987. 239 с.
12. *Пальмов Н.* К истории рыбной промышленности в Астраханском крае в первой половине XVIII века // Наш край. 1924. № 4. С. 113–135.
13. *Шостин Н.А.* Очерки истории русской метрологии. XI – начало XX века. М.: Издательство стандартов, 1975. 272 с.
14. *Степанов И.В.* Хозяйственная деятельность Московского правительства в Нижнем Поволжье в XVII веке // Ленинградский государственный университет. Ученые записки. Серия исторических наук. № 48. Вып. 5. Л., 1939. С. 80–142.
15. *Гмелин С.Г.* Путешествие по России для исследования трех царств природы. Ч. II. [пер. Сергей Мошков]. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1777. 336 с.
16. *Дубман Э.Л., Кабытов П.С., Тагирова Н.Ф.* Очерки истории юго-востока Европейской России / Под ред. П.С. Кабытова. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. 296 с.
17. *Марков А.С.* Были Астраханского Края. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. 319 с.
18. Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сборник документов / сост., предисл. и коммент. Е.А. Швецов; Гл. архивное упр. Центр. гос. архив древних актов СССР. Ин-т истории Акад. наук СССР. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954–1962. 4 т.; Т. 1: 1666 – июнь 1670 гг. 1954. 323 с.
19. Описание Колы и Астрахани / Из сочинений академika Николая Озерецковского. СПб.: Императорская Академия наук, 1804. 131 с.
20. *Лебедев К.Н.* О каспийском рыболовстве / [Соч.] Калеба [псевд.]. СПб.: тип. Штаба Отдельного корпуса внутр. стражи, 1863. 136 с.
21. *Васькин Н.М.* Заселение Астраханского края. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1973. 47 с.

REFERENCES

1. *Olearius A.* Oftt beehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Reise So duth Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen... Schleswig, 1647.
2. *Oleariy A.* Description of the Travel in Muscovy / translation from German by A.M. Lovyagin, Smolensk, Rusich Publ., 2003. (In Russ).
3. *Struys JJ.* Three Journeys: Through Italy, Greece, Livonia, Muscovy, Tartary, Media, Persia, East-India, Japan and Other Countries. 1647–1673], translation by E. Borodina; A. Morozov (Ed.); introduction by A. Gaysinovich, Moscow: Sotsekgiz Publ., 1935. (In Dutch)
4. *Kotenkov SA., Lobacheva DM.* Engelbert Kaempfer's Map: A New Source on the First Russian Settlements – Utchugs in the Volga Delta in the 17th Century. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2025; 22(4): 423–434.
5. *Kotenkov SA., Lobacheva DM.* Engelbert Kaempfer's Map and Records of 1697: Historical-Geographical Analysis. *Lomonosov Geography Journal*. 2024; 79(5): 113–122. DOI: 10.55959/MSU0579-9414.5.79.5.10.
6. *Vitsen N.* *Northern and Eastern Tartary Including the Regions in Northern and Eastern Parts of Europe and Asia in 3 V.*, translation from Dutch by V.G. Trisman; N.P. Kopanewa, B. Naarden (Ed. and acad. adv.), Amsterdam: Pegasus Publ., 2010. Vol 2. (In Russ)
7. *Gauthier YV., Rubinstein NL.* *The principal navigations, voyages and discoveries of the English nation made by Sea or over Land*. Moscow: House of socio-economic literature Publ., 1938. (In Russ)
8. *Russia in the Eyes of Foreigners in the 18th Century* / Text preparation, introduction and commentary by Yu.A. Limonov. Leningrad: Lenizdat Publ., 1989. (In Russ)
9. *Apollov BA.* *The Caspian Sea and Its Basin*. Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1956. (in Russ).
10. *Rychagov GI.* Fluctuations of the Caspian Sea Level: Causes, Consequences, Forecast]. *Lomonosov Geography Journal*. 2011; 2: 4–12. (in Russ)
11. *Varushchenko SI., Varushchenko AN., Klige RK.* *Changes in the Regime of the Caspian Sea and Inland Reservoirs in Paleo Time*. Moscow: Nauka Publ., 1987. (In Russ)
12. *Palmov N.* On the History of Fishery in Astrakhan Region in the First Half of XVIII Century]. *Nash kray*. 1924; 4: 113–135. (In Russ)
13. *Shostin NA.* *Essays on the History of Russian Metrology, XI – the Beginning of XX Centuries*. Moscow: Izdatelstvo standartov Publ., 1975. (In Russ)
14. *Stepanov IV.* Moscow Government Economic Activity in the Lower Volga Region in XVII Century. *Leningradskiy gosudarstvennyy universitet. Uchenyye zapiski. Seriya istoricheskikh nauk*. 1939; 48(5): 80–142. (In Russ)
15. *Gmelin SG.* Travel Through Russia for Studying the Three Kingdoms of Nature. Part 2 / translation by S. Moshkov. Saint Petersburg: The Imperial Academy of Sciences Publ., 1777. (In Russ)
16. *Dubman EL., Kabytov PS., Tagirova NF.* *Essays on History of the Southeast of European Russia*. Samara University Publ., 2004. (In Russ)
17. *Markov AS.* *Events of the Astrakhan Region*. Volgograd: Nizhnevolszhskoe Knizhnoye Izdatel'stvo Publ., 1976. (In Russ)
18. *The Peasant War Led by Stepan Razin: Collection of Documents, compilation, introduction, notes by E. A. Shvetsova, the Main Archive Department, the Central State Archive of Ancient Acts of the USSR, the Institute of History of the Academy of Sciences of the USSR*. Moscow, the Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954–1962, 4 volumes; vol. 1: 1666 – June, 1670, vol. 1, 1954, 323 p. (In Russ)
19. Description of Kola and Astrakhan. From the Writings of Academician Nikolaj Ozereckovskij. Saint Petersburg: the Imperial Academy of Sciences Publ., 1804, 131 p. (In Russ)

22. Хожение купца Федота Котова в Персию. М.: Изд. вост. литературы. 1958. 111 с.
23. Саввинский И. К историко-статистическому описанию приходов Астраханской епархии. Село Иванчуг // Астраханские епархиальные ведомости. 1909. № 3. Отдел неофиц. С. 84–91.
24. Исследования о состоянии рыболовства в России. Санкт-Петербург: изданы Министерством государственных имуществ, 1860–1876. Т. 4: Рисунки к Исследованию каспийского рыболовства. СПб.: Изданы Министерством государственных имуществ, 1861. IV л., 86 л.
25. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории государя императора Петра Великого / Труды тайного советника, губернатора Сибири и ордена святого Александра кавалера, Федора Ивановича Соймонова, выбранное из журнала его превосходительства, в бытность его службы морским офицером; И с внесением, где потребно было, дополнениями академии наук конференц-секретаря, профессора истории и историографа, Г. Ф. Миллера. Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1763. 380 с.
26. Орлов И. К историко-статистическому описанию церквей Астраханской епархии // Астраханские епархиальные ведомости. 1902. № 11. С. 460–465.
27. Генеральная плоская карта истоков реки Волги, ограниченных к О-ту устьями реки Бузана, к W-ту матерым берегам по меридиану от города Астрахани на 10 к S-ду [карты]. 1:150 000, 1,5 км в 1 см. СПб., 1860. 1 к.
28. Походный журнал 1722 года // Юрнлы и походные журналы Петра Великого, с 1695 по 1725 гг. СПб. 1855. 207 с.
29. Атлас Каспийского моря, сочиненный при Чертежной Государственного Адмиралтейского Департамента с описи и Адмиралтейских наблюдений, произведенных с 1809 по 1817 год Штурманом 8 класса и Кавалером Колодкиным. СПб.: Морская типография, 1826. 60 с.
30. Гуськов А.Г., Кочегаров К.А., Шамин С.М. Русско-турецкая война 1686–1700 годов. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2022. 528 с.
31. Кирокосян М.А. Бекмурзаева С.А. Населенные пункты Икрянинского района Астраханской области: ист.-топоним. справ. Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2023. 64 с.
32. Марков А.С. По следам Разина. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. Изд-во, 1980. 142 с.
33. Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья / [Соч.] Павла Небольсина. СПб.: тип. М-ва вн. дел, 1852. 197 с.
34. Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1894. 1062 с.
35. Каспийская экспедиция К. М. Бэра, 1853–1857 гг.: Дневники и материалы / [АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники]; Составитель Т. А. Лукина. Ленинград: Наука: Ленингр. отд-ние, 1984. 557 с.
20. Lebedev KN. On Caspian Fisheries, writings, Kaleba [pseudonym]. Saint Petersburg: the Headquarters of Internal Guardians Special Corps Publ., 1863. (In Russ)
21. Vaskin NM. *Settlement of the Astrakhan Region*. Volgograd, Nizhne-Volzhskoye knizhnoye izdatelstvo Publ., 1973. 47 p. (In Russ)
22. *Journey of Merchant Fedot Kotov to Persia*. Moscow: Izdatelstvo vostochnoy literatury Publ, 1958, 111 p. (In Russian).
23. Savvinskiy I. For Historical and Statistical Description of the Parishes of Astrakhan Eparchy. Ivanchug Village., *Astrakhanskiye yeparkhialnyye vedomosti*. 1909; 3: 84–91. (In Russ)
24. *Studies on the state of fishing in Russia*. Published by the Ministry of State Property, 1860–1876. T. 4: Drawings to the Study of the Caspian Fishery. Saint Petersburg: Published by the Ministry of State Property, 1861, IV l., 86 pp.
25. *Description of the Caspian Sea and Russian Acquisitions Made Therein, Being a Portion of the History of Emperor Peter the Great / Compiled by Secret Counsellor, Governor of Siberia, Order of St. Alexander Knight, Fyodor Ivanovich Soymonov; Selected from his excellency's diary during service as naval officer; Supplemented where necessary by the Conference Secretary of the Academy of Sciences, Professor of History and historiographer G.F. Miller*. Saint Petersburg: Imperatorskaya Akademiya Nauk Publ., 1763. (In Russ)
26. Orlov I. For Historical and Statistical Description of the Churches of Astrakhan Eparchy. *Astrakhanskiye yeparkhialnyye vedomosti*, 1902; 11: 460–465. (In Russ)
27. Flat Map of the Headstreams of the Volga River Limited to the Mouths of the Buzan River Towards the East and to the Main Banks Towards the West by the Meridian Line Drawn From the City of Astrakhan Southwards. Scale: 1:150,000, 1.5 km per 1 cm. Saint Petersburg, 1860. 1 sheet. (In Russ)
28. Journals and Campaign Journals of Peter the Great from 1695 to 1725. St. Petersburg, 1855. 207 p. (In Russ)
29. *Atlas of the Caspian Sea compiled under the Drafting State Admiralty Department, from the inventory and astronomical observations made from 1809 to 1817, the navigator of the 8th class and cavalier Kolodkin*. Saint Petersburg, Morskaya tipografiya Publ., 1826, 60 p. (In Russ)
30. Guskov AG., Kochegarov KA., Shamin SM. The Russo-Turkish War of 1686–1700. Moscow, Russkoye slovo, uchebnik Publ., 2022, 528 p. (In Russ)
31. Kirokosyan MA., Bekmurzaeva SA. *Settlements of Ikryaninsky District of Astrakhan Region: Hist.-Toponym. Reference Guide*. Astrakhan: Roman Vasilievich Sorokin Publ., 2023. 64 p. (In Russ)
32. Markov AS. Following Razin's Path. Volgograd: Nizhne-Volzhskoye knizhnoye izdatelstvo Publ., 1980. (In Russ)
33. Nebolsin PI. *Essays on the Lower Volga, writings*. Saint Petersburg: The Ministry of Internal Affairs Publ., 1852. (In Russ)
34. Veshnyakov VI. Fisheries and legislation. Saint Petersburg: Tipografiya Trenke i Fyusno Publ., 1826. (In Russ)
35. *The Caspian Expedition of Karl Ernst von Baer, 1853–1857: Diaries and Materials* / Ed. by T.A. Lukina. Leningrad: Nauka Publ., Leningrad Branch, 1984. (In Russ)

Поступила в редакцию 02.01.2026 г.
Принята в печать 25.02.2026 г.
Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 02.01.2026
Accepted 25.02.2026
Published 30.09.2026



Урусмамбетова Лаура Адамовна

кандидат педагогических наук, преподаватель

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

layra76@mail.ru

СИСТЕМА РЕВИЗИЙ И КОНТРОЛЯ В НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1870–1880-е гг.)

Аннотация. В статье рассматривается система ревизий и инспекторского контроля в народных училищах Терской области во второй половине XIX в. в контексте образовательной политики Российской империи. В исследовании выявлено, что инспекционно-ревизионная система являлась не вспомогательным, а структурно значимым элементом образовательной политики Российской империи. Она обеспечивала связь между нормативными установлениями центральных ведомств и реальной практикой функционирования народных училищ на местах. Проведённый анализ архивных материалов позволяет уточнить механизмы административного контроля, финансового регулирования и участия местных обществ в содержании школ, а также раскрыть особенности реализации имперской образовательной политики в условиях многонационального Кавказа. В ходе исследования показано, что инспекционные проверки представляли собой не только инструмент административного контроля, но и механизм координации взаимодействия между Министерством народного просвещения, окружной администрацией и местными обществами. Анализ материалов ревизий позволяет проследить ключевые проблемы образовательной сферы. Очевидными дефицитами, выявленными в ходе ревизионных проверок, являлись недостаток финансирования, неравномерность материально-технического обеспечения училищ и др. Выявлено, что система софинансирования с участием местных обществ приобрела обязательный характер и стала предметом постоянного урегулирования со стороны Министерства народного просвещения. Архивные документы демонстрируют, что инспекторы нередко выполняли посредническую функцию, направляя усилия местных обществ на улучшение школьных условий. Особое внимание в отчетах о проверках уделялось также содержательной стороне образовательного процесса, преподаванию дополнительных дисциплин. В совокупности отчеты инспекторов позволяют рассматривать ревизионную практику как важный элемент системы управления народным образованием, обеспечивавший адаптацию имперской образовательной политики к социальным, этноконфессиональным и экономическим условиям многонациональных регионов Российской империи.

Ключевые слова: Терская область; народные училища; ревизии; инспекторские отчёты; Министерство народного просвещения; образовательная политика Российской империи; софинансирование; местные общества; школьная инфраструктура; XIX век

Для цитирования: Урусмамбетова Л.А. Система ревизий и контроля в народных училищах Терской области в контексте образовательной политики Российской империи (1870–1880-е гг.) // История, археология и этнография Кавказа. 2026. 22. № 3. С. 476-485. doi.org/10.32653/CH223476-485

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223476-485>

Research paper

Laura A. Urusmambetova
 Cand. Sci., Lecturer
 Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
layra76@mail.ru

THE SYSTEM OF AUDITS AND INSPECTION IN PRIMARY PUBLIC SCHOOLS OF THE TEREK OBLAST IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE (1870S–1880S)

Abstract. The article examines the system of audits and school inspection in primary public schools (*narodnye uchilishcha*) of the Terek Oblast in the second half of the 19th century within the context of the educational policy of the Russian Empire. The study reveals that the inspection and audit system was not merely an auxiliary tool, but a structurally significant element of the Russian Empire's educational policy. It served as a bridge between the normative regulations of central authorities and the practical functioning of public schools at the local level. An analysis of archival materials clarifies the mechanisms of administrative control, financial regulation, and the participation of local communities in school maintenance, while also highlighting the specifics of implementing imperial educational policy in the multiethnic Caucasus. The research demonstrates that school inspections acted not only as an instrument of administrative control, but also as a mechanism for coordinating interaction among the Ministry of Public Education, the district administration, and local communities. The analysis of audit materials allows for tracking key problems in the educational sphere. The main deficiencies identified during inspections included underfunding, uneven material and technical support for schools, and other related issues. It was established that the co-financing system involving local communities became mandatory and required constant regulation by the Ministry of Public Education. Archival documents demonstrate that inspectors frequently fulfilled a mediating function, directing the efforts of local communities toward improving school conditions. Special attention in inspection reports was also paid to the content of the educational process and the teaching of additional subjects. Taken together, the inspectors' reports allow for viewing auditing practices as an essential component of the public education management system, ensuring the adaptation of imperial educational policy to the social, ethno-confessional, and economic conditions of the multiethnic regions of the Russian Empire.

Keywords: Terek Oblast; primary public schools; audits; inspection reports; Ministry of Public Education; educational policy of the Russian Empire; co-financing; local communities; school infrastructure; 19th century

For citation: Urusmambetova L.A. The system of audits and inspection in primary public schools of the Terek Oblast in the context of the educational policy of the Russian Empire (1870s–1880s). *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. №. 3 P. 476-485. doi. org/10.32653/CH223476-485

Изучение системы ревизий и инспекторского контроля народных училищ во второй половине XIX в. позволяет проследить каким образом образовательная политика Российской империи реализовывалась на периферии и адаптировалась к региональным условиям. Анализ инспекционной практики даёт возможность выявить реальные механизмы взаимодействия центральных ведомств с местными органами управления и обществами, которые не всегда отражались в нормативных документах. Обобщение опыта функционирования данного института в образовательной политике способствует осмыслению традиций государственного контроля и общественного участия в сфере просвещения, которые сохраняют свою значимость и в современных условиях. Научная новизна исследования заключается во введении в научный оборот архивных материалов инспекторских ревизий народных училищ Терской области 1870–1880-х гг. На их основе реконструируется практика инспекторского контроля и взаимодействия учебного начальства с местными обществами. Показано, что ревизии выступали не только инструментом надзора, но и механизмом реализации образовательной политики Российской империи в многонациональном регионе Кавказа.

Методология исследования основана на принципах историзма и системного анализа. В работе использованы методы источниковедческого анализа архивных документов, сравнительно-исторический и статистический подходы. Применение институционального подхода дало возможность рассмотреть инспекторские ревизии как элемент системы управления народным образованием Российской империи.

Целью статьи является анализ системы ревизий и инспекторского контроля народных училищ Терской области во второй половине XIX в. как инструмента реализации образовательной политики Российской империи. Исследование направлено на анализ итогов ревизионных практик, определение их влияния на организацию учебного процесса, материально-финансовое обеспечение школ и взаимодействие между государственными структурами и местными обществами в условиях софинансирования народного образования.

В дореволюционной литературе проблемы организации и контроля учебного дела на Кавказе получили отражение как в официально-административных трудах, так и в публицистике региональных авторов. Наиболее репрезентативным источником первого типа является работа Л.Н. Модзалевского, непосредственно связанного с системой управления Кавказским учебным округом. Автор подчёркивал специфику региона, указывая, что «в самом строе общественной жизни не достаёт многих таких условий, какие существуют внутри Империи», в силу чего «приходилось приурочивать и приспособлять новые законоположения к нуждам и потребностям края» [1, с. 73]. Учреждение отдельных инспекций Л.Н. Модзалевский прямо связывал с «широким разливом собственно народного образования» и постепенным включением Кавказа в «общую учебную жизнь России» [1, с. 74].

Иной, критический взгляд на функционирование административного контроля наблюдается в публикациях А.Х. Цаликова. По мнению А. Цаликова, административно-судебный механизм на Северном Кавказе носил преимущественно формальный и репрессивный характер, не обеспечивая подлинного правового регулирования и выполняя, по существу, отрицательную функцию в жизни туземного населения [2, с. 139]. Такая характеристика отражает восприятие инспекционного контроля как внешнего и зачастую репрессивного механизма, ориентированного не столько на педагогическое руководство, сколько на политическое и административное наблюдение. Сопоставление официального управленческого дискурса, представленного в труде Л.Н. Модзалевского, и критической публицистики А.Х. Цаликова позволяет выявить разрыв между нормативной моделью инспекционной деятельности и её реальным функционированием на кавказской периферии Российской империи.

В советских исследованиях внимание сосредоточивалось преимущественно на институциональном устройстве системы народных училищ, источниках их финансирования и участии общества в деле просвещения. Так, в работах Н.Ф. Флита, посвящённых народному образованию начала XIX в., подробно анализировались правовые и финансовые основы функционирования учебных заведений, это позволило выявить многоисточниковый характер их материального обеспечения и механизмы государственного регулирования [3].

Региональные аспекты развития народного образования получили развитие в советской историографии Северного Кавказа. В диссертационном исследовании С.Р. Чеджемова [4]. Автор показал значимую роль общества в поддержке школьной сети и формировании образовательной среды, однако вопросы практики административного контроля и инспекторских проверок также не становились предметом специального анализа.

Таким образом, несмотря на наличие фундаментальных работ, посвящённых истории народного образования и его региональной специфике, в историографии сохраняется пробел в изучении конкретных механизмов инспекционно-ревизионного контроля, особенно на периферии Российской империи.

В современной историографии замечен переход от описательного изложения реформ и учреждений к анализу конкретных механизмов функционирования школьной системы. Одним из наиболее заметных направлений стала культурно-антропологическая интерпретация образовательной системы. Наиболее ярко она представлена в трудах зарубежных исследователей, в которых образовательные институты анализируются в контексте историко-культурных трансформаций общества. В работе А. Fumurescu исследуются меры, направленные на усиление санитарно-гигиенических норм в училищах Российской империи в конце XIX в. Автор исследует роль врачей в этом процессе [5, с. 62]. Этот подход позволяет рассматривать инспекционную деятельность как инструмент формирования управляемого социального пространства.

Сравнительный контекст европейских практик школьного надзора раскрыт в монографии М. Caruso и Т. Kasper [6]. Авторы показывают, что с конца XVIII в. школьный контроль стал структурным компонентом образовательной бюрократии, обеспечивая стандартизацию и унификацию педагогического процесса. Исследование Н. Парікуан вводит в научный дискурс гендерный аспект имперской образовательной политики [7].

В российской историографии последних лет усиливается тенденция к институционально-структурному анализу образовательной политики. Исследование О.И. Шафрановой рассматривает систему народных училищ как инструмент социальной и административной инкорпорации народов Кавказа в имперскую структуру. Автор показывает, что школы выполняли двойственную функцию, являясь средством культурной интеграции и бюрократического контроля [8, с. 83].

Значительный вклад в изучение культурно-образовательных процессов на Кавказе внесли труды историка-культуролога Г.Ш. Каймаразова, в которых развитие системы просвещения рассматривается в широком контексте трансформации традиционной культуры и социальной структуры народов региона. Работы исследователя позволяют проследить взаимосвязь между образовательной политикой империи и локальными культурными практиками, а также уточнить роль школы как института модернизации и интеграции кавказских обществ [9].

Существенное значение для анализа региональной специфики имеет монография Т.Х. Кумыкова, в которой показано каким образом образовательные инициативы соотносились с развитием общественной мысли и культурных процессов в Кабарде в дореволюционный период [10].

Источниковедческую основу исследований образовательной политики Российской империи расширяет справочник Д.И. Раскина «История народного образования в Российской империи в архивных документах», систематизирующий корпус архивных материалов по управлению школой и инспекционному контролю. Использование данного издания позволяет уточнить механизмы функционирования народных училищ и административного надзора за ними на региональном уровне [11].

Важный вклад в изучение раннего этапа имперской просветительской политики внесли О.В. Терещенко и А.Н. Гребенкин. По наблюдению О.В. Терещенко, образование в имперской политике выступало одним из ключевых инструментов «мягкой силы», направленного на формирование единой имперской идентичности и обеспечение политической лояльности населения [12, с. 261]. А.Н. Гребенкин конкретизирует этот процесс через анализ повседневности воспитания кавказских кадетов. Автор упоминает, что «воспитание малолетних кавказцев в российских военно-учебных заведениях осуществлялось таким образом, чтобы, обеспечивая их вхождение в состав имперской элиты, не уничтожить связь с Кавказом» [13, с. 28]. В этом контексте инспекционные и ревизионные практики выступали инструментом обеспечения соответствия образовательного процесса заявленным политико-административным целям, что непосредственно соотносится с предметом настоящего исследования.

Комплексное представление о просветительской деятельности во второй половине XIX в. предложено в работе А.М. Ерохина, Е.А. Авдеева и С.М. Воробьёва. Авторы приходят к выводу, что «школьное образование на Северном Кавказе стало площадкой интеграции горской элиты в российское социокультурное пространство» [14, с. 421].

Особое место в историографии занимают работы, посвящённые административным и инспекционным практикам. В статье Л.А. Урусамбетовой на основе документов Кабардинского (Нальчикского) округа реконструируется деятельность инспекторов народных училищ как посредников между

центральными ведомствами и местными сообществами. Автор делает вывод, что ревизии имели контрольный и методико-организационный характер, способствуя формированию профессиональной среды учителей [15, с. 119].

Региональный аспект функционирования образовательной системы Терской области подробно рассмотрен в исследовании А.В. Политовой, посвящённом становлению и развитию системы образования в регионе. Автор анализирует ведомственную структуру учебных заведений, источники их финансирования и роль общественной инициативы в создании и поддержании школ [16, с. 120]. Существенный вклад в изучение институционального оформления системы народного образования в Терской области внесла работа А.Б. Созаева, посвящённая деятельности Дирекции народных училищ региона. Автор реконструирует процесс создания и функционирования дирекции и обращает внимание на хроническую ограниченность финансовых ресурсов по сравнению с другими дирекциями Кавказского учебного округа. Особо значимым для настоящего исследования является вывод Созаева о том, что отсутствие инспектора народных училищ в Терской области на протяжении длительного времени рассматривалось современниками как один из ключевых факторов, сдерживавших развитие школьной сети [17, с. 70].

Существенное значение для изучения институциональных основ управления начальным образованием имеет исследование И.Т. Шатохина и С.Б. Шатохиной. Авторы отмечают, что, несмотря на расширение полномочий, инспекторский корпус оставался численно ограниченным, что существенно влияло на эффективность контроля и регулярность ревизий. Эти выводы позволяют рассматривать инспекционную деятельность как один из центральных инструментов управления народным образованием и создают важный контекст для анализа практики ревизий в регионах Российской империи [18, с. 164].

В исследовании Л.Р. Гауновой и соавт. анализируется деятельность Н.Ф. Рудольфа, попечителя Кавказского учебного округа в 1907–1917 гг., в контексте трансформации управленческих практик в сфере образования. Авторы показывают, что в этот период возрастает значение инспекционного аппарата как инструмента координации развития школьной сети, а также как канала взаимодействия между центральным ведомством, региональной администрацией и местными обществами [19, с. 1461]. Аналогичные процессы институционализации и стандартизации надзорных практик наблюдаются и в церковной сфере, что показано в работе иеромонаха Ферапонта. Автор демонстрирует, что ревизии духовных училищ характеризовались теми же институциональными чертами, такими как регулярность проведения проверок, обязательная отчётность и унификация надзорных процедур [20, с. 261]. Данные наблюдения свидетельствуют о структурном единстве имперских механизмов контроля.

Синтетический характер носит исследование А.Р. Психоматовой, которая систематизирует этапы становления системы народного образования на Северном Кавказе. В исследовании подчеркивается, что «особую помощь в решении образовательных проблем играло местное самоуправление» [21, с. 229]. Контрольные и инспекционные механизмы, в свою очередь, позволяли государству оценивать эффективность этого участия и регулировать соотношение ответственности между местными обществами и имперской администрацией.

В целом, при наличии отдельных исследований, затрагивающих различные аспекты образовательной политики и административного управления на Кавказе, ряд вопросов, связанных с практикой инспекционно-ревизионной деятельности в народных училищах, требует дальнейшего осмысления. Это обуславливает необходимость уточнения понятия института инспекторов народных училищ в системе управления образованием Российской империи.

В системе управления образованием Российской империи институт инспекторов народных училищ представлял собой специализированный административный механизм, обеспечивавший реализацию функций надзора, контроля и регулирования деятельности учебных заведений. Инспекторы выступали составной частью управленческой вертикали Министерства народного просвещения и обеспечивали связь между центральными ведомственными структурами и местными органами, участвовавшими в содержании и организации народных училищ.

Развитие системы народного образования во второй половине XIX в. стало одной из приоритетных задач правительства Российской империи. В многонациональных регионах образовательные реформы рассматривались как инструмент их интеграции в общегосударственное пространство, что усиливало значение инспекторского контроля. По данным отчетов Кавказского учебного округа, в Терской

области действовала сеть гимназий, городских и начальных училищ. Наиболее распространенным типом учебных заведений в регионе являлись начальные училища, охватывавшие 5700 учащихся. Для сопоставления: в Кубанской области насчитывалось 13686, в Ставропольской – 6367 учащихся. В Закавказском крае всего обучалось 16516 учеников, из них в Дагестанской области – 274 человека¹. Сословный состав учащихся Терской области характеризовался преобладанием сельских сословий: детей крестьян и горцев – 4446, казаков – 329, мещан – 768, дворян – 167, духовенства – 30².

Таким образом, школьная сеть Терской области охватывала различные типы учебных заведений и учащихся разных сословий, конфессий и национальностей, обуславливающих необходимость постоянного инспекционного надзора за их деятельностью.

Показательным источником для изучения практики инспектирования народных училищ в Терской области являются документы, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Грузии³. Исходя из содержания выявленных архивных документов, констатируем, что инспекторская проверка длилась 13 дней. Причем география инспектирования охватывала как крупные административные центры, такие как Моздок и Грозный, так и ряд станичных училищ. Инспекции подверглись училища, которые находились в станицах Котляревской, Пришибской, Прохладненской, Екатериноградской, Павлодольской, Наурской и др. Такое распределение проверенных учебных заведений отражает стремление инспекции получить объективную картину функционирования школьной сети в Терской области, выявить различия между городскими и сельскими школами, а также оценить уровень их соответствия установленным Министерством народного просвещения нормам.

В отчете инспектора народных училищ Терской области Павлова присутствуют данные о распределении финансовых средств, которые выделялись на содержание школ. Они свидетельствуют о том, что училища финансировались в основном за счет местных обществ. Финансирование за счет государственного бюджета носило вспомогательный характер. Так, согласно архивным данным, становится очевидным что «общества расходуют на содержание училищ: а) от 100 до 200 руб. в год на Меккенское церковно-приходское православного исповедания; б) от 200 руб. на Пришибскую, Луговскую, Закан-Юртовскую; в) от 300 до 400 руб. на Котляревскую, Екатериноградскую, Черноярскую, Павлодольскую, Грозненскую станичную, Александровскую, Николаевскую, Калиновскую, Прохладную; г) до 545 руб. на Наурскую; на Моздокское женское, Грозненское, Ольгинское общества восстановления христианства на Кавказе»⁴. Сведения инспекторского отчета 1884 г. о расходах местных обществ дополняются обобщенными данными отчета попечителя Кавказского учебного округа о финансировании народных училищ Терской области. Согласно этим материалам, общий объем средств, направленных на содержание училищ в 1884 г., составил 75731 руб., из которых ассигнования из казны достигали лишь 2000 руб. В то же время основные финансовые поступления обеспечивались за счёт городских (14332 р.) и сельских обществ (36095 р.), а также иных внебюджетных источников – благотворительных обществ, частных лиц, почётных блюстителей и сборов за обучение⁵.

Приведённые данные показывают, что система материального обеспечения школ в Терской области во второй половине XIX в. имела характер софинансирования. Основная нагрузка по содержанию учебных заведений возлагалась на местные общества, приходские общины и сословные учреждения, которые ежегодно выделяли в среднем от 100 до 600 рублей на нужды училищ. В большинстве случаев размеры этих взносов зависели от экономического положения станиц и возможностей конкретных общин. Поэтому наблюдалась неравномерность в размерах финансирования. Это влекло за собой различия в уровне благоустройства и материальной оснащённости школ.

Конкретные статистические данные отчетов Кавказского учебного округа подтверждают данную структуру финансирования. Так, в 1884 г. в Терской области на содержание начальных училищ из казны поступило около 2000 руб., тогда как от сельских обществ – 14832 руб., при общем объеме средств около 36000 руб.⁶ Тем самым именно местные общества обеспечивали основную часть

1 Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1884 год. Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1885. С. 277.

2 Там же. С. 278.

3 Центральный государственный исторический архив Грузии (здесь и далее ЦГИАГ). Ф. 422. Д. 2119. ОП. 1. Кн. 1. 18 Л.

4 ЦГИАГ. Ф. 422. Д. 2119. ОП. 1. Кн.1. Л. 3.

5 Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1884 год. Тифлис. Типография канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе. 1885. с. 262-263.

6 Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1884 год. Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1885. С. 262.

расходов на содержание школьной сети. Сходная практика фиксировалась и в Дагестанской области. При казённых ассигнованиях в размере 8268 руб. на содержание школ поступало также не менее 1600 руб. от местных обществ⁷.

Проблема неясности в распределении обязанностей между государственными и местными органами управления не только осознавалась современниками, но и стала предметом официальных разъяснений чиновников Министерства народного просвещения. Это прослеживается в содержании циркуляра Министра народного просвещения от 26 апреля 1886 г. № 6541. В нем прямо указывалось, что «вопрос о характере участия земств и городских обществ в содержании училищ вызывал многочисленные споры и административные коллизии»⁸. В документе подчёркивалось, что отсутствие чётких юридических формулировок относительно сроков и обязательности выплат приводило к конфликтам между учебным начальством, военными и гражданскими властями, а также к задержкам в функционировании учебных заведений. В циркуляре подчеркивалось, что «недоразумения между учебным начальством, воинским и городскими обществами по сему предмету часто происходят от отсутствия в этих постановлениях точных и определенных указаний», поэтому «смею просить Ваше Превосходительство принять меры к тому, чтобы постановления земств, городских обществ и сословий относительно производства пособий как вновь учреждаемых, так и существующих уже в учебных заведениях, облекались в строго законную форму и включали в себя указания относительно того или иного пособия»⁹.

Осознавая нарастающие трудности с содержанием школ, ведомство стремилось нормативно закрепить механизм участия земств, городских и сословных учреждений в финансировании народных училищ. В циркуляре Министра народного просвещения от 26 апреля 1886 г. № 6541 разъяснялись правовые основы предоставления и характера пожертвований на нужды учебных заведений. «На основании высочайше утвержденного 23 октября 1878 г. мнения Государственного Совета постановления земских и городских обществ..., если в постановлениях сих не заключается указание относительно срочности казенного пособия или же условности оно, признаются по принятию правительством подобных пожертвований постоянными и обязательными для жертвующих обществ или сословий»¹⁰. Данный документ закреплял юридическую обязательность участия местных обществ и сословий в содержании учебных заведений, находившихся в ведении правительства.

Ограниченность финансовых ресурсов напрямую отражалась на качестве школьной инфраструктуры, на качестве учебного процесса. Большинство училищ размещались в помещениях, не отвечавших санитарно-гигиеническим требованиям и педагогическим нормам. Так, инспектор отмечал, что в училищах «большинство помещений тесны и недостаточно светлы (от 3 до 9 квадратных аршин воздуха на одного учащегося и 0,04 до 0,15 аршина отношения стеклянной поверхности к площади пола)»¹¹. Такие условия негативно сказывались на физическом состоянии и работоспособности учеников и учителей.

В большинстве случаев ревизоры фиксировали в большей степени не столько отсутствие желания местных органов улучшать школьные условия, сколько реальную ограниченность их материальных ресурсов. Так, в отчете значится, что «в большинстве случаев представители общества... высказывали невозможность в настоящее время построить новые училищные дома за имеющиеся для того средства. По этой же причине 67% осмотренных училищ не могут заменить крайне неудобную классную мебель, и 55% не имеют нужных учебных пособий»¹². Эти данные показывают, что результаты инспекции имели не локальный, а системный характер.

В ходе инспекции внимание уделялось не только материальному состоянию училищ и разнообразию преподаваемых дисциплин, но и содержанию образовательного процесса, степени его соответствия официальным программам и методическим требованиям. По итогам осмотра инспектор отметил, что общий ход обучения «отвечает установленным нормативам Министерства народного просвещения» и отражает стремление учителей соблюдать предписанные стандарты¹³.

7 Там же.

8 Управление центрального государственного архива архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (здесь и далее УЦГА АС КБР). Ф. И-6. Оп. 1. Д. 455. Л. 49–51 об.

9 УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 455. Л. 50.

10 УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 455. Л. 51.

11 ЦГИАГ. Ф. 422. Д. 2119. Оп. 1. Кн.1. л. 3.

12 ЦГИАГ. Ф. 422. Д. 2119. Оп. 1. Кн.1. л. 4.

13 ЦГИАГ. Ф. 422. Д. 2119. Оп. 1. Кн.1. л. 6.

Однако формальное соответствие учебных курсов установленным программам не всегда отражало реальное качество усвоения знаний учащимися. В отчёте подчёркивалось, что главной задачей преподавателя должно быть не количество пройденных тем, а «прочность знаний, умение учащихся осмысленно применять изученное»¹⁴. В этом контексте инспекторские ревизии выполняли важную коррекционную функцию. При общей оценке состояния преподавания инспектор отметил, что, «несмотря на многочисленные трудности, в отдельных училищах наблюдались положительные результаты». Там, где преподаватели проявляли инициативу и методическую самостоятельность, учащиеся демонстрировали более высокий уровень знаний и дисциплины. Эти случаи рассматривались как образцовые и включались в отчёт в качестве примеров надлежащей организации учебного процесса.

Проблема поверхностного усвоения учебного материала наиболее отчётливо проявилась во время испытаний и проверочных занятий, проведённых в ходе инспекции. Именно тогда выявились реальные затруднения учащихся в овладении базовыми навыками чтения, письма и устного изложения. Среди основных недостатков по русскому языку, выделенных в отчёте, значится то, что учащиеся испытывают трудности с выразительным чтением и правильным произношением слов. Кроме того, при пересказе прочитанного текста они склонны излишне придерживаться книжных выражений, стараясь воспроизвести дословно запомненные фразы, а не передать собственное понимание содержания.¹⁵ Эти замечания отражают характерную для народных училищ того времени ориентацию на механическое заучивание текста.

Схожие трудности наблюдались и при проверке навыков письма, которые являлись одним из ключевых показателей успешности обучения в народных училищах. Инспектор отмечал, что недостаточная методическая подготовка учителей и слабый контроль за письменными работами отрицательно влияли на формирование орфографической и каллиграфической грамотности учащихся. В целом инспектор отмечал, что «имеются замечания в каллиграфическом и орфографическом отношении, письмо содержит искажения слов».¹⁶ Вывод инспектора сводился к тому, что основной причиной выявленных недостатков являлось недостаточное внимание преподавателей к систематической проверке письменных работ. Подобное отношение, по его мнению, свидетельствовало не только о слабой методической подготовке части учителей, но и о недостаточном понимании ими значения регулярного контроля за уровнем грамотности учащихся в процессе обучения.¹⁷

Таким образом, проведённый анализ документальных материалов о ревизии народных училищ Терской области показывает, что система инспекций во второй половине XIX в. выполняла не только контрольную, но и регулятивно-организационную функцию. Именно благодаря инспекторским отчётам Министерство народного просвещения получало представление о реальных условиях функционирования школ и могло вносить коррективы в образовательную политику на региональном уровне.

Эти выводы подтверждаются архивными материалами. Так, после ревизионной проверки, проходившей в Терской области 28 ноября 1885 г. из Дирекции народных училищ начальнику Нальчикского округа было направлено письмо № 3520, содержащее результаты инспекторской проверки. В письме значилось, что «училища в станицах Александровской, Котляревской, Прохладненской, Пришибской, Приблизной, Павлодольской, Новопавловской, Подгорной и Курской пользуются помещениями неудобными в учебно-воспитательном отношении. Они тесные, тёмные или недостаточно светлы... Нужно побудить общества названных станиц выстроить дома для училищ по нормальному плану Министерства народного просвещения».¹⁸ Таким образом, результаты ревизий становились основанием для практических мер, направленных на улучшение материальных условий обучения. Инспекторская деятельность в Терской области была важным элементом административного контроля и адаптации имперской образовательной политики к региональной специфике Кавказа.

Проведённый анализ архивных материалов инспекционных отчётов позволяет заключить, что во второй половине XIX века система ревизий и контроля в народных училищах Терской области занимала центральное место в реализации образовательной политики Российской империи на Кавказе. Инспекционные проверки, проводившиеся по линии Министерства народного просвещения, выполняли не только функцию надзора, но и служили механизмом административного регулирования.

¹⁴ Там же.

¹⁵ ЦГИАГ. Ф. 422. Д. 2119. Оп. 1. Кн.1. л. 7.

¹⁶ Там же. Л. 8.

¹⁷ Там же.

¹⁸ УЦГА АС КБР. Ф. И-6, оп. 1, д. 91, л. 9 об.

Они способствовали формированию единых стандартов обучения и укреплению управляемости школьной сети.

Материалы ревизий позволяют рассматривать Терскую область как пример того, как имперская бюрократическая модель управления образованием сочеталась с локальными формами участия общества, создавая основу для дальнейшей модернизации школьного дела на Кавказе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Модзалевский Л.Н. Ход учебного дела в Кавказском крае с 1802 по 1880 год // Памятная книжка Кавказского учебного округа на 1880 год. Тифлис, 1880. Отд. I. 96 с.
2. Цаликов А.Х. Страничка из истории инородческой политики на Северном Кавказе // На Кавказе. №7 8. 1910. 184 с.
3. Флит Н.Ф. Народное образование в России в начале XIX столетия: автореферат дис.канд. ист. Наук. Л. 1988. 218с.
4. Чеджемов С.Р. Интеллигенция и просвещение в Северной Осетии в конце XIX-начале XX веков : автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Гос. ун-т. Владикавказ, 1992. 16 с.
5. Fumurescu A. Nurturing a "Great Social Organism": School Hygiene, Body Politics, and the State in Late Imperial Russia // History of Education Quarterly. 2022. Vol. 62. No. 1. P. 61–83.
6. Caruso M., Kasper T. From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2022. – 250 p.
7. Papikyan H. The first schools for girls in the Caucasus: A mission for Russification // Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. 2021.
8. Шафранова О.И. Образовательные практики имперской администрации на Кавказе в XIX – начале XX вв. как инструмент социальной и административной инкорпорации // Научный журнал. 2021. №2 (106). С. 74–84.
9. Каймаразов Г.Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. Махачкала, 1989. 157 с.
10. Кумыкова Т.Х. Культура, общественно-политическая мысль и просвещение Кабарды. Нальчик, 1991. 327 с.
11. Раскин Д.И. История народного образования в Российской империи в архивных документах: справочник. СПб., 2020. 1072 с.
12. Терещенко О.В. Образование и просвещение на Северном Кавказе в системе факторов распространения российской власти в регионе в первой половине XIX в. // Научный журнал. 2025. С. 255–261.
13. Гребенкин А.Н. Малолетние кавказцы в кадетских корпусах Российской империи в первой половине XIX в. // История повседневности. 2023. № 3 (27). С. 10–28.
14. Ерохин А.М., Авдеев Е.А., Воробьев С.М. Russians in the North Caucasus in the 19th century: Colonization-Resettlement and Sociocultural Processes // Былые годы. 2022. Т. 17. № 1. С. 412–421.
15. Урусмамбетова Л.А. Деятельность органов власти по организации педагогических курсов в Кабардинском (Нальчикском) округе во второй половине XIX – начале XX века // Кавказология. 2025. № 3. С. 100–119.
16. Политова А.В. Становление и развитие системы образования в Терской области: особенности и потребности // История: факты и символы. 2022. № 4 (33). С. 118–122.
17. Созаев А.Б. Деятельность дирекции народных училищ Терской области // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № 15. С. 67–72.
18. Шатохин И.Т., Шатохина С.Б. Директора и инспекторы народных училищ в российской провинции во второй половине XIX – начале XX века // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. № 4 (297). С. 163–169.

REFERENCES

1. Modzalevsky LN. The course of educational affairs in the Caucasian region from 1802 to 1880. *Memorial Book of the Caucasian Educational District for 1880*. Tiflis, 1880, section I. (In Russ)
2. Tsalikov AKh. A page from the history of non-Russian policy in the North Caucasus. *Na Kavkaze*. 1910; (7-8). (In Russ)
3. Flit NF. *Public education in Russia at the beginning of the 19th century*. Abstract of PhD dissertation in History. Leningrad, 1988. (In Russ)
4. Chedzhemov SR. *Intelligentsia and enlightenment in North Ossetia in the late 19th – early 20th centuries*. Abstract of PhD dissertation in History. Vladikavkaz, 1992. (In Russ)
5. Fumurescu A. Nurturing a "Great Social Organism": School hygiene, body politics, and the state in Late Imperial Russia. *History of Education Quarterly*. 2022; 62(1): 61-83.
6. Caruso M., Kasper T. *From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2022.
7. Papikyan H. The first schools for girls in the Caucasus: A mission for Russification. *Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe*, 2021.
8. Shafranova OI. Educational practices of the imperial administration in the Caucasus in the 19th – early 20th centuries as a tool of social and administrative incorporation. *Nauchnyi Zhurnal*. 2021; 2(106): 74-84. (In Russ)
9. Kaimarazov GSh. *Enlightenment in pre-revolutionary Dagestan*. Makhachkala, 1989. (In Russ)
10. Kumykova TKh. *Culture, socio-political thought and enlightenment of Kabarda*. Nalchik, 1991. (In Russ)
11. Raskin DI. *History of public education in the Russian Empire in archival documents: reference book*. St. Petersburg, 2020. (In Russ)
12. Tereshchenko OV. Education and enlightenment in the North Caucasus in the system of factors of the expansion of Russian power in the region in the first half of the 19th century. *Nauchnyi Zhurnal*. 2025; 255-261. (In Russ)
13. Grebenkin AN. Minor Caucasians in the cadet corps of the Russian Empire in the first half of the 19th century. *History of Everyday Life*. 2023; (3): 10-28. (In Russ)
14. Erokhin AM., Avdeev EA., Vorobyev SM. Russians in the North Caucasus in the 19th century: Colonization-resettlement and sociocultural processes. *Bylye Gody*. 2022; 17(1): 412-421. (In Russ)
15. Urusmambetova LA. Activities of government authorities in organizing pedagogical courses in the Kabardian (Nalchik) district in the second half of the 19th – early 20th centuries. *Kavkazologiya*. 2025; (3): 100-119. (In Russ)
16. Politova AV. Formation and development of the education system in the Terek region: Features and needs. *History: Facts and Symbols*. 2022; (4): 118-122. (In Russ)
17. Sozaev AB. Activities of the directorate of public schools of the Terek region. *Scientific Problems of Humanities Research*. 2009; (15): 67-72. (In Russ)
18. Shatokhin IT., Shatokhina SB. Directors and inspectors of public schools in the Russian province in the second half of the 19th – early 20th centuries. *Izvestia of the Voronezh State Pedagogical University*. 2022; (4): 163-169. (In Russ)

19. Гаунова Л.Р., Журтова А.А., Кузьминов П.А., Соблирова З.Х. Н. Ф. Рудольф – организатор и попечитель народного образования на Кавказе // Былые годы. 2024. № 19 (3). С. 1453–1461.

20. Иеромонах Феропонт (Широков П.Ф.). Система ревизий духовно-учебных заведений во 2-й пол. XIX – нач. XX вв. // Христианское чтение. 2024. № 2. С. 253–261.

21. Психомасова А.Р. Образовательная политика на Северном Кавказе (XIX век) // Право, история, педагогика и современность: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 30–31 января 2023 г. С. 224–229.

19. Gaunova L.R., Zhurtova A.A., Kuzminov P.A., Soblirova Z.Kh. N.F. Rudolf – organizer and trustee of public education in the Caucasus. *Bylye Gody*. 2024; 19(3): 1453-1461. (In Russ)

20. Hieromonk Ferapont (Shirokov P.F.). The system of revisions of spiritual-educational institutions in the 2nd half of the 19th – early 20th centuries. *Khristianskoye Chteniye*. 2024; (2): 253-261. (In Russ)

21. Psikhomakhova A.R. Educational policy in the North Caucasus (19th century). *Law, History, Pedagogy and Modernity: Collection of Articles of the IV International Scientific and Practical Conference*. Penza, January 30-31, 2023: 224-229. (In Russ)

Поступила в редакцию 26.10.2025 г.

Принята в печать 19.02.2026

Опубликована 30.09.2026 г.

Received 26.10.2025

Accepted 19.02.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223486-494>

Исследовательская статья

Ахмедова Наиба Ахмедага

доктор философии по истории, доцент, заведующий кафедрой истории Азербайджана
Азербайджанский государственный педагогический университет, Баку, Азербайджан
naibe.ahmadova@adpu.edu.az

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Аннотация: Во второй половине XIX в., в связи с формированием новых капиталистических отношений, появились новые виды источников, которые имеют ценность как для изучения истории России этого периода, так и её провинции – Азербайджана. Среди них особо важны архивные документы, справочники, ежегодные обзоры, отчёты фабрично-заводских инспекторов и других государственных служащих. Также в периодической печати, различных журналах, ежегодниках и газетах содержится множество сведений по вопросам промышленности, торговли, сельского хозяйства, культуры и др. Особый интерес представляют делопроизводственные документы, отражающие структуру и деятельность учреждений, организаций и ведомств. Документы предприятий, хозяйств, организаций и банков включали акты, бухгалтерские бумаги, отчёты директоров, статистику делопроизводства. Эти документы освещают не только развитие промышленности и сельского хозяйства, но и зарождение и развитие революционного движения. Полезны для изучения социально-политических процессов документы партий и организаций, включающие уставы, программы, решения, резолюции. Среди актов особое место занимают экономико-географические описания – отчёты и заметки статистического, военно-топографического, исследовательского характера. В статье представлен краткий обзор упомянутых источников, охватывающих изучение истории Азербайджана во второй половине XIX – начале XX в. Эти источники содержат ценные сведения о происходящих изменениях и развитии во всех сферах жизни Северного Азербайджана в этот период.

Ключевые слова: история Азербайджана; обзор источников; источниковый арсенал; архивные документы; ежегодники; делопроизводственные документы; отчёты; календарные справочники

Для цитирования: Ахмедова Н.А. Историографический обзор по истории Азербайджана второй половины XIX – начала XX века // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 486-494. doi.org/10.32653/CH223486-494

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223486-494>

Research paper

Naiba A. Akhmedova

PhD in History, Assoc. Prof., Head of the Department of History of Azerbaijan

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan

naibe.ahmadova@adpu.edu.az

A HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Abstract. In the second half of the 19th century, driven by the emergence of new capitalist relations, new types of historical sources appeared, carrying significant value for studying the history of Russia during this period as well as its province, Azerbaijan. Particularly important among them are archival documents, directories, annual reviews, and reports of factory inspectors and other civil servants. Furthermore, the periodical press – including various journals, yearbooks, and newspapers – contains extensive information on industry, trade, agriculture, culture, and other domains. Administrative records reflecting the structure and activities of institutions, organizations, and departments are of particular interest. Records of enterprises, farms, organizations, and banks included legal acts, accounting papers, directors' reports, and clerical statistics. These documents shed light not only on industrial and agricultural development, but also on the origin and progression of the revolutionary movement. Additionally, documents of political parties and organizations—including charters, programs, decisions, and resolutions – are useful for examining socio-political processes. Among legal and administrative acts, a special place is occupied by economic-geographical descriptions, namely statistical, military-topographical, and research reports and notes. The article provides a concise overview of these sources, which cover the history of Azerbaijan in the second half of the 19th and early 20th centuries. These sources provide valuable insights into the ongoing transformations and development across all spheres of life in Northern Azerbaijan during this period.

Keywords: history of Azerbaijan; source overview; source materials; archival documents; yearbooks; administrative records; reports; calendar directories

For citation: Akhmedova N.A. A historiographical overview of the history of Azerbaijan in the second half of the 19th and early 20th centuries. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 486-494. doi.org/10.32653/CH223486-494

Во второй половине XIX в. экономическое развитие России характеризовалось становлением капиталистических отношений. Это оказало влияние и на Северный Азербайджан – одну из провинций Российской империи, где также начали формироваться буржуазные отношения. Хотя некоторые источники (летописи, акты, указы и др.), существовавшие в прежний период, сохранили своё значение, в это время появляются новые типы источников, отражающие качественные изменения и быстрые темпы развития. Эти документы предоставляют ценные сведения для отслеживания изменений и развития всех сфер общественно-политической и культурно-экономической жизни в Северном Азербайджане.

Основу источниковедческой базы изучаемого периода составляют архивные документы. Эти материалы хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве, Государственном историческом архиве Азербайджанской Республики, Государственном архиве Грузии, а также в фондах научного архива Института истории и этнологии НАНА.

Среди источников того времени особое место занимают различные справочные и информационные книги, ежегодные обзоры, сборники, публикуемые статистическими управлениями, отчёты губернаторов, фабрично-заводских инспекторов и других государственных чиновников. В этих источниках содержатся сведения о дате основания различных русских предприятий и акционерных обществ, их учредителях, составе правления, размере капиталов и показателях производства. Некоторые авторы подвергли эти материалы критическому анализу [1; 2].

В фондах Государственного исторического архива Азербайджанской Республики имеются документы, связанные с проведением аграрных реформ, жалобами крестьян, деятельностью бекских комиссий, жалобами крестьян по вопросам водоснабжения, сведениями о разбойниках и др. Здесь также встречаются ценные факты, отражающие аграрную политику царизма и социально-экономическое положение азербайджанских крестьян.

Среди журналов и ежегодников, издававшихся до октября 1917 г., можно отметить такие, как «Вестник финансов», «Промышленность и торговля», «Почтово-телеграфный журнал», «Известия Закавказского статистического комитета», «Вестник виноделия», «Известия министерства земледелия и государственных имуществ», «Обзоры главнейших отраслей промышленности и торговли» и др. Газеты «Московский телеграф», «Северная пчела», «Земледельческая газета», «Южный Кавказ», «Баку», «Бакинские известия», «Каспий», «Кавказ», «Новое обозрение», «Елизаветпольские губернские ведомости», «Елизаветпольский листок», «Кавказское хозяйство» содержат обширные материалы о промышленности, торговле, сельском хозяйстве, культуре и др.

Ценные источники представляют собой материалы, содержащиеся в «Полном собрании законов Российской империи» и «Военной энциклопедии» [3; 4]. В «Военной энциклопедии» освещаются военные операции, проводившиеся на территории Южного Кавказа, что позволяет уточнять факты, содержащиеся в других источниках.

До 1917 г. специалисты различных областей, прибывавшие из России на Кавказ, а также чиновники, направленные министерствами и ведомствами с инспекцией, и представители местной общественности оставляли подробные отчёты, в которых содержались сведения о городах Азербайджана, их социально-экономической и культурной жизни. Среди этих информационных материалов можно отметить следующие труды: К. Воренкевича-Бассанца «Описание мер, весов и монет Закавказского края» [5], М. Балласа «Историко-статистический очерк виноделия в России (Кавказ и Крым)» [6], К. Хатисова «Кустарные промыслы Закавказского края» [7], С.И. Гулишамбарова [8] «Обзор фабрик и заводов Закавказского края» и др.

Особую значимость для источниковедения имеет множество документов начала XX в., в которых нашли отражение особенности социально-экономического развития и политической борьбы в Азербайджанском обществе в указанный период. Их значимость заключается и в том, что в этих документах, наряду с новыми специфическими чертами исторического периода, нашли отражение фрагменты исторического процесса, характерные для предыдущих периодов.

Известно, что учреждение Государственной Думы дало возможность реализовать законодательную инициативу в пределах Российской империи. Однако среди актов «Положение о выборах на Кавказе», утвержденное императором, встречается крайне редко. Поэтому уставы, отражающие важные изменения в политической надстройке после учреждения Государственной Думы, представляют собой особую форму актов. Уставы целого ряда благотворительных обществ, партий и организаций, как «Бакинское мусульманское благотворительное общество», «Нашри маариф», «Ниджат», «Маариф»,

«Саадат», а также Гянджинское общество «Джамият-и хейрия», Шушинское общество «Хидайят», организация «Мусульманская молодёжь», общество «Мусульманская демократическая партия Мусават», союз и организация «Защита мусульманской знати и интеллигенции», а также партии и организации: «Гуммет», «Гейрат», «Иттифак», «Кадет», «Дифай», «Мусават» – являются значительными источниками по данному периоду, отражающими законодательную инициативу редкого источника – «Положения о выборах на Кавказе». Несомненно, для исследования исторических процессов важных изменений в политической надстройке того времени ценными документами являются также программы, решения, декларации, воззвания этих организаций.

В этом плане нужно отметить также материалы Бакинского комитета РСДРП, свидетельствующие о социал-демократической деятельности этой организации в пределах Азербайджана. Согласно их материалам, в начале 1901 г. на территории Азербайджана действовало около 15 социал-демократических кружков, выступавших против правящего класса. Впоследствии они объединились в Бакинский комитет РСДРП. Социал-демократы создали подпольную типографию «Нина», где размножали выпуски газеты «Искра» и распространяли их среди рабочих. В 1903 г. Бакинский комитет РСДРП разделился на большевистские и меньшевистские организации.

С развитием капиталистических отношений связано появление нового типа источников – делопроизводственные документы, которые отражают структуру и деятельность предприятий, организаций и учреждений. Их появление было обусловлено расширением функций государственного аппарата и увеличением потребности общества во взаимодействии с органами управления. Каждый тип делопроизводственных документов подразделяется на виды, из которых протоколы, отчёты (включая отчёты губернаторов), реестры, обращения, переписка, указания, циркуляры, распоряжения, дипломатические документы – относятся к категории первого вида. Среди них наиболее важными являются отчёты губернаторов.

В начале XX в. с ростом общественно-политической напряжённости в стране, особую актуальность приобретают документы – обыски, допросы, протоколы показаний, отчётные документы, судебные акты, отражающие борьбу властей с этими движениями. Эти материалы важны как для изучения политических процессов, так и для анализа методов работы следственно-судебных органов.

Документы частных предприятий, хозяйств, организаций и банков социально-экономического характера, как акты, бухгалтерские документы, отчёты директоров, статистика делопроизводства – содержат сведения не только о развитии промышленности и сельского хозяйства, но и об истории возникновения и развития революционного движения. Для исследования социально-политических процессов особенно ценны делопроизводственные документы политических партий и организаций. Сюда входят их документы, уставы и программы, решения и резолюции.

Особое значение для изучения новейшей истории Азербайджана имеют описания, аналогичные по содержанию актам. Эти документы подразделяются на политические, экономические, военно-топографические, этнографические, территориальные, статистические, биографические и т.д. отчёты и заметки. В этом плане тысячи документов, писем, указов, справок, рапортов, относящихся к исследуемому периоду, собрано в 12-томном сборнике АКАК (Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией), изданном под редакцией А. Берже [9]. Здесь также имеются ценные сведения о восстаниях 1853 г. в Джаро-Белоканской области, выступлениях шахсенов, налогах и других аспектах.

Значимыми для изучения эпохи являются также законодательные акты, которые предоставляют исследователю обширную информацию об этапах формирования закона, начиная с законодательной инициативы до разработки и обсуждения законопроекта, его утверждения, публикации и исторического контекста принятия. Законодательные документы Российской империи регулировали общественно-политические и социально-экономические процессы на Южном Кавказе в соответствии с интересами династии Романовых. Они являются ценными источниками для исследования и написания нашей истории. Однако существование абсолютизма в России не позволяло точно классифицировать законодательные документы. Законодательные документы этого периода можно разделить на манифесты, законы, указы, уставы и акты Государственного совета.

Немаловажное значение имеют материалы, свидетельствующие об изменениях в области административного управления. Среди них выделяются: «Положение о Главном управлении и Совете наместника Кавказского» от 1 января 1859 г., «Положение об управлении Дагестанской губернии» от 5 марта 1860 г., «Положение о выборах на Кавказе» от 2 февраля 1906 г., «Городское положение 1870 г.»

приписанное к Баку в 1878 г., и «Городское положение 1892 г.», исследование которых позволяют проследить не только общественно-политические процессы, но и историко-географические вопросы отечественной истории.

К не менее значимым источникам относятся появившиеся в ходе первой русской революции манифесты (декларации), исследование которых позволяет проследить провозглашение тех или иных изменений в ходе первой русской революции. Чтобы ослабить революционное движение и не допустить краха самодержавия, император Николай II подписал Манифест «17 октября 1905 года», заявив, что пойдет на ряд уступок. Император также издал «Манифест об улучшении материального благосостояния и облегчении положения сельского населения» 3 ноября 1905 г. и «Манифест об учреждении Государственной думы» 6 августа 1905 г.

Среди источников по реформированию предпринимательской деятельности крестьянства в Северном Азербайджане выделяются «Положение о размежевании Южного Кавказа» 29 июня 1861 г. императора Александра II и материалы созданных губернских статистических комитетов для регулярного сбора данных о Южном Кавказе [10, с. 181].

Широкую картину общественно-политической жизни азербайджанского общества раскрывают «Положение» о крестьянской реформе в Восточной Грузии, утвержденное в 1864 г. царским правительством, «Положение об общественном управлении сельскими обществами» от 28 января 1865 г., лишавшее беков права судебной и полицейской власти и основывавшееся на «выборных» началах, «Положение о поземельном устройстве государственных крестьян, проживающих в Закавказских губерниях: Елизаветпольской, Бакинской, Ериванской и отчасти Тифлисской», изданное 14 мая 1870 г. Последний источник охватывает три основных вопроса: отмену личной зависимости крестьян, вопросы о земле и налогах. Эти законодательные акты разделили крестьян на две группы: крестьян-предпринимателей (25–30%) и государственных (70–75%) крестьян [10, с. 184].

Такие источники как «уставы на землю» определяют отношения между землевладельцами и крестьянами специальными актами, исследование которых корректирует исторические реалии азербайджанского крестьянства. В этом же ряду находятся «земельные грамоты», являвшиеся общей формой документов по крестьянским делам в губернских отделах. Все вышеуказанные источники, связанные с подготовкой крестьянской реформы, являлись первым шагом для проведения этой реформы. Сам «Закон» от 14 мая 1870 г. вступил в силу 8 ноября 1870 г. по приказу наместника [11, с. 230], его исследование раскрывает картину социальных противоречий в азербайджанском обществе. Сами царские чиновники неоднократно признавали, что крестьянская реформа никогда не была столь суровой и болезненной, как на Южном Кавказе. Суть реформы свидетельствует, что зависимость крестьян от беков и агаларов не была полностью устранена, и они не были в полной мере обеспечены землей. Реформа не коснулась казенных (государственных) крестьян, которые составляли большинство азербайджанских сельских производителей.

Источники, связанные с сельскохозяйственной жизнью Азербайджана, проливают свет на положение азербайджанского крестьянского хозяйства, правил землеустройства и т.д. 3 декабря 1890 г. было принято «Положение о водопользовании» с целью создания правовых основ и правил орошения земель на Южном Кавказе [12]. Положение отменило частную собственность на воду. Оно учредило должности Кавказского водного инспектора, который отвечал за всю ирригационную систему, и водного инженера, который считался управляющим каждым водным участком. 1 мая 1900 г. император Николай II утвердил «Важнейшие начала землеустройства государственных крестьян Тифлисской, Елизаветпольской, Бакинской и Эриванской губерний», регулирующие земельные отношения в государственной деревне. Закон «О поземельном устройстве государственных крестьян в Закавказье» предоставил государственным крестьянам право наследственного пользования общинными землями [13, с. 270]. Для этого требовалось согласие собрания сельской общины. Эта статья закона нанесла огромный удар по праву собственности на общинную землю. В соответствии со статьей 14 майского закона 1900 г. 21 апреля 1903 г. было издано «Положение о порядке определения паевых земель и ведения землеустроительных работ в пяти губерниях Южного Кавказа». Согласно закону, за основу должны были быть взяты существующие границы, использованные при составлении плана паевых земель. Законы – документы, имевшие высший юридический статус, которые появились после учреждения в империи Государственной Думы. К законам аграрного типа относятся законы «О принудительном выкупе земель» от 20 декабря 1912 г.

и «Об уничтожении зависимости крестьян от беков и владельцев кешкал в Дагестанском и Загатайском округах» от 7 июля 1913 г.

В указанный период значительный источниковый материал документирует развитие русского капитализма на окраинах империи, в том числе и в Азербайджане. Русский капитализм создавал рынок для своей промышленности на окраинах империи, а с другой стороны, чтобы удовлетворить потребности этой же промышленности в сырье, он всеми силами стимулировал возникновение и развитие на окраинах торгового земледелия, рыболовства, горнодобывающей, нефтяной и других отраслей промышленности. Это привело к появлению в Азербайджане добывающей и перерабатывающей промышленности, а также товарного сельскохозяйственного сектора.

Большой арсенал источников связан с развитием нефтяной промышленности. Начиная с 1860-х гг. нефть постепенно стала главным топливом на промышленных предприятиях во всем мире. В связи с этим увеличился спрос на нефтепродукты. В результате Баку стал главным нефтяным центром не только Российской империи, но и мира. Царское правительство принимало меры по устранению препятствий на этом пути с целью увеличения добычи нефти. Во-первых, в 1864 г. был отменен принудительный труд жителей села Балаханы, и на нефтяных промыслах стали работать наемные рабочие. Это было признаком капиталистического развития нефтяной промышленности. Император утвердил «Положение об акцизе с нефтяного и фотогенного производства» 1 февраля 1872 г. и «Положение о передаче казенных нефтяных промыслов на Кавказе и Закавказье частным лицам по договору» 17 февраля 1872 г. Согласно этим правилам, нефтяные ресурсы, находившиеся в ведении казны, передавались частным лицам по договору (торгу). Отмена откупной системы привела к решительным изменениям в добыче нефти, и нефтяная промышленность стала капиталистической отраслью производства. Отмена откупной системы при добыче золота, меди и соли также была прогрессивным шагом.

Одной из распространенных форм законодательных актов были указы, которые назывались «внедумским законодательством» и считались основной формой установления правовых норм. Указом императора Николая II от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых правовых ограничений крестьян и лиц др. бывших податных сословий» были ликвидированы некоторые остатки личной зависимости в правовом положении крестьян.

Одним из ключевых документов того периода стал Указ Председателя Совета Министров Российской империи Столыпина от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», предусматривавший упразднение крестьянской общины и превращение общинных земель в частную собственность крестьян [10, с. 40]. Первая Дума вскоре была распущена, а этот закон был обнародован без одобрения Думы. Существовала структурная связь между Указом от 9 ноября 1906 г. и проектом закона «О крестьянском землевладении», принятым Думой и Государственным советом Николая II 14 июня 1910 г. [10, с. 369].

Акты Государственного совета Российской империи имеют важное значение как документы, регулирующие экономические вопросы. Законодательные документы, связанные с управлением Кавказом, входившим в состав Российской империи, были опубликованы в 3-м томе 3-томного сборника «Полное Собрание Законов Российской империи» [3]. Эти документы имеют важное значение с точки зрения управления Кавказом, для исследования механизмов социально-экономического, политического, культурного и религиозного регулирования империей региона, направления и сути колониальной политики России.

Социально-экономическая ситуация того периода нашла свое отражение в статистических данных. Рассматриваемый период характеризуется быстрым ростом, сбором и публикацией этой информации. В этом смысле необходимо упомянуть промышленную, аграрную, демографическую и другие виды статистики. Из трех сборов промышленных статистических данных, проведенных в 1900, 1908 и 1910–1912 гг., промышленная статистика 1900 г. частично относилась к Кавказу. Информация об этом была опубликована в сборнике «Статистические сведения о фабриках и заводах, выпускающих продукцию без акциза» [14]. Статистика 1908 г. охватывала все промышленные отрасли империи, за исключением горнодобывающей и нефтяной. Данный статистический учет охватывает только нефтяные предприятия Баку. Результаты этого статистического исследования были опубликованы в сборнике «Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи за 1908» [14]. Однако перепись 1910–1912 гг. охватила только европейскую часть России.

Одним из позитивных действий Конгресса нефтепромышленников стало создание Статистического Бюро. Среди систематических изданий Бюро своей последовательностью выделяются такие источниковые материалы, как «Обзоры», изданные в 1891–1915 гг. Статистическая информация в «Иджмаллар» публиковалась 1 сентября или 1 января каждого года. В первой части «Обзоров», именуемой «Текст», приводились общие сведения о различных отраслях нефтяной промышленности, а в «Приложении» – сведения о состоянии предприятий различных отраслей нефтяной промышленности. Каждый источник состоял из 3 основных информационных разделов: о рудниках, о заводах, информация о транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Ценные сведения по налоговым вопросам царской нефтяной политики сохранились в ежегодных обзорах, они характеризуют источники доходов по отдельным отраслям промышленности под названием «Сводка Бакинской нефтяной промышленности», «Сводка акцизов», «Общества содействия русской промышленности и торговле», а также в отчетах отдельных высокопоставленных царских чиновников и ведомств.

В плане изучения развития системы транспортировки нефти по нефтепроводам ценную информацию содержат труды Комиссии о нефтепроводах и мерах развития нефтяной промышленности при Императорском Русском техническом обществе.

До 1900 г. государственный контроль за созданием и деятельностью предприятий нефтяной промышленности осуществлялся Департаментом торговли и мануфактур, входившим в состав императорского Министерства финансов, а позднее – Департаментом торговли этого же Министерства. В 1905 г. Министерство торговли было включено в состав Министерства торговли и промышленности. В функции этого отдела входила подготовка проектов акционерных обществ.

Проекты уставов созданных местных компаний и ходатайства иностранных нефтяных компаний направлялись в Торговый департамент Министерства торговли и промышленности, оттуда в Совет министров, а затем в Государственный совет для утверждения. Указанные материалы полностью сохранились в фондах министерств финансов, торговли и промышленности Российской империи. Важное значение имеют ежегодные статистические сборники за отдельные годы, информационные пособия для нефтепромышленников, краткие статистические очерки о состоянии нефтяной промышленности. В плане изучения развития и регулирования железнодорожного и водного транспорта к этому типу относятся также материалы описаний, посвященные сравнительному анализу добычи нефти на Кавказе и в США, а также общие сводки по отдельным отраслям горнодобывающей промышленности.

Среди многочисленных документов и сборников следует особо отметить сборник «Монополистический капитал в нефтяной промышленности России». Сборник имеет большое значение с точки зрения детального изучения отношения царизма к иностранному капиталу, процессов монополизации в нефтяной промышленности, слияния монополий с государственными структурами и других проблем.

Основная часть документальных материалов по истории нефтяной политики царской России хранится в фондах Государственного исторического архива Российской Федерации в Санкт-Петербурге, государственных ведомств, управлявших этой сферой. К документам, собранным в сборнике документов «Рабочее движение в Азербайджане в годы нового революционного подъема (1910–1914 гг.)» добавлены пояснения, характеризующие деятельность азербайджанских предпринимателей в начале XX в. Заслуживают внимания и документы, собранные в «Истории Азербайджана», где представлены проекты соглашений о создании организации под названием «Союз Бакинских керасинозаводчиков», объединяющей владельцев нефтеперерабатывающих заводов, об открытии нефтепромышленных фирм «Асадуллаев Шамси» и «Русско-Кавказское нефтяное общество», а также проекты соглашений о совместном экспорте белой нефти из страны.

Большое значение для изучения истории становления и деятельности фирмы Г.З. Тагиева имеет сборник «Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. Документы и материалы 1883–1914». В сборнике содержатся ценные документы и пояснения Г.З. Тагиева, его участие в монополистических объединениях и борьба за экспорт нефтепродуктов.

В историографическом обзоре источников начала XX в. определенное значение имеют различные виды «правительственной статистики» – отчеты и сводки, составленные по Бакинской и Гянджинской губерниям, Загатайскому уезду, сведения различных министерств и ведомств, материалы горнозаводской инспекции. Среди этой группы изданий, имеющих характер первоисточника, следует отметить ежегодные сборники и обзоры по губерниям, которые издавались до 1885 г. под названием

«Горнозаводская производительность России», позднее название сменилось на «Сборник статистических сведений о горнозаводской и фабрично-заводской промышленности России», а также «Сборник сведений о фабрично-заводской промышленности России», «Сборник отчетов фабричных инспекторов» [15].

Большое значение имеют данные демографической статистики – как первая Всероссийская перепись населения 1897 г., обследования различных групп населения Баку и особенно Бакинского пролетариата в 1899 и 1903 гг., а также материалы переписи 1913 г.

Важное значение в изучении этого периода имеет камеральная перепись населения. Этот источник, хотя и неполный, отслеживает демографические процессы в Азербайджане. Здесь можно найти информацию о возрастном, этническом и расовом составе городского населения Азербайджана.

В историографии существует мнение, что сведения в камеральном описании 1873 г. были сокращены, а сведения о занятиях населения отражены не полностью [16, с. 57]. По сравнению с камеральной переписью 1873 г. статистические сведения, собранные по посемейным спискам 1886 г., считаются более подробными и полными [17]. Из данных за 1886 г. ясно, что количество дымов увеличилось за счет естественного прироста и разделения семей. Посемейные списки содержат информацию о динамике роста населения города, его социальном составе и занятиях населения.

Исследователи часто обращаются к материалам Первой всеобщей переписи населения, которая была проведена в Российской империи в 1897 г. [18]. Здесь можно найти информацию о численности населения, соотношении его разных категорий во всех провинциях империи. Перепись 1897 г. впервые предоставила информацию о составе некоренного населения. Демографические данные о городах включают также пригородные поселения. Этот источник представляет ценность для изучения демографических процессов в эпоху капитализма. Ряд источников имеет важное значение для предоставления статистической информации об Азербайджане и его регионах [15].

Во второй половине XIX в. был собран большой материал по аграрным и налоговым вопросам, землевладению и землепользованию в трудах И.Л. Сегалия [19; 20; 21], О. Семина [22; 23], В. Гаевского [24], В.М. Иваненко [25], С.А. Егiazарова [26]. Этой же проблеме посвящены труды высокопоставленных царских чиновников, являвшихся проводниками аграрной, налоговой, земельной политики России.

В конце XIX – начале XX в. азербайджанская пресса вступила в новый этап. В 1898 г. 12% из 41 периодического издания, публиковавшихся на Кавказе, издавались в Баку. В 1903 г. в Тбилиси начала выходить азербайджаноязычная газета «Шарги-Рус». В годы Революции 1905–1907 гг. в Баку появилось 12 новых органов печати на азербайджанском языке. Всего к февралю 1907 г. в Азербайджане издавалось 227 периодических изданий. Из них 30% (66 наименований) составляли органы общенациональной печати, 50% (119 наименований) – русскоязычные газеты и журналы, которые издавались в Баку, Гяндже и Шуше [10]. В 1906–1911 гг. печатные органы на азербайджанском языке издавались также в Астрахани, Петербурге и Ереване. 60% газет и журналов, изданных до февраля 1917 г., были изданы в период с 1905 по 1907 г., некоторые из них издавались и в последующие годы. Количественное и качественное изменение в прессе свидетельствует о росте среди населения интереса к печатным СМИ.

Таким образом, большинство источников по истории Азербайджана, появившихся во второй половине XIX – начале XX в., представляют собой русскоязычные государственные документы, принадлежащие Российской империи. На основе этих источников можно проследить генезис капитализма в Азербайджане, а также качественные изменения в социально-экономической, политической и культурной жизни. Интересы нарождающейся буржуазии были отражены в различных видах источников – канцелярских трудах, актах, законах, указах, уставах. Правда, по понятным причинам, от этих источников нельзя ожидать полной объективности, однако следует признать, что без них невозможно было бы изучать историческую действительность нашей Родины в рассматриваемый период. Историки, как в царские, так и в советские годы, а также в годы независимости, писали исторические труды, ссылаясь на эти документы. Однако при проведении научных исследований следует критически относиться к фактам и цитатам, взятым из этих источников, сравнивать их с фактами и цитатами из других источников, отмечать противоречивые моменты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьев Н.Я. Очерки по истории промышленной статистики дореволюционной России и СССР. Москва, 1961. 132 с.
2. Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма / В.И. Бовыкин, С.В. Воронкова, А.Г. Голиков и др.; Отв. ред. и авт. предисл. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1979. 415 с.
3. Полное Собрание Законов Российской империи. СПб., 1847.
4. Военная Энциклопедия / под ред. К.И. Величко. I–XIV тт. Санкт-Петербург: Т-во И.Д. Сытина, 1911–1914. 640 с.
5. Воронкевич-Бассанц К. Описание мер, весов и монет Закавказского края, с приведением их к русским и французским мерам и разными примечаниями о местном их употреблении и взаимных отношениях // Журнал Министерства внутренних дел. Ч. 37. СПб., 1840. С. 379–415.
6. Баллас М.К. Историко-статистический очерк виноделия в России: (Кавказ и Крым). Санкт-Петербург: типография товарищества «Общественная польза», 1877. XVIII. 143 с.
7. Хатисов К. Кустарные промыслы Закавказского края // Отчёты и исследования по кустарной промышленности в России. Т. II. Санкт-Петербург, 1894 год. С. 259–370.
8. Гулишамбаров С.И. Обзор фабрик и заводов Закавказского края: С планом Балаханской нефтяной площади. Тифлис: типография Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1894. 414 с.
9. Акты, собранные Кавказской Археологической Комиссией / Под редакцией А. Берже. Т. 1–XII. Тифлис, 1866–1904.
10. История Азербайджана: от присоединения Азербайджана к России до Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. Баку: АН Азерб. ССР, 1960. 951 с.
11. Колониальная политика Российского царизма в Азербайджане в 20–60-х гг. XIX вв. Ч. II. М., Л.: АН СССР, 1937. 478 с.
12. Свод материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края. Тифлис, 1888. 564 с.
13. Френкель А.С. Средства для борьбы с разбоем на Кавказе. Тифлис, 1898. 78 с.
14. Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи за 1908 год / По поручению министра торговли и промышленности за собираньем сведений наблюдал и разработкой материалов руководил В.Е. Варзар; Министерство торговли и промышленности. Отдел промышленности. Санкт-Петербург: типография В. Ф. Киршбаума, 1912. IV. 119. 494 с.
15. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК). Вып. VIII. Тифлис, 1889.
16. Исмаил-Заде Д.И. Русское крестьянство в Закавказье. Москва: Наука, 1982. 311 с.
17. Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис, 1893.
18. Гагемейстер Ю.А. Статистическое описание Шемахинской губернии // Кавказский календарь на 1832 г. Тифлис, 1848.
19. Сегаль И.Л. Крестьянское землевладение в Закавказье. Тифлис, 1912. 296 с.
20. Сегаль И.Л. Русские поселенцы в Елизаветпольской губернии. Елизаветполь, 1890.
21. Сегаль И.Л. Сборник сведений о Елизаветпольской губернии, Тифлис, 1902.
22. Семин О. Основные вопросы местного самоуправления. Баку, 1912.
23. Семин О. Великая годовщина. Аграрный вопрос и крестьянская реформа на Кавказе. Киев, 1911.
24. Геевский В.Н. Краткий очерк земледелия за Кавказом. Тифлис, 1887. 40 с.
25. Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до наместничества Великого князя Михаила Николаевича. Тифлис, 1901.
26. Егiazаров С.А. Исследования по истории учреждений в Закавказье. Ч. 1. Сельская община. Казань, 1889.

Поступила в редакцию 14.05.2025 г.

Принята в печать 22.02.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

REFERENCES

1. Vorobiev N.Ya. *Essays on the history of industrial statistics in pre-revolutionary Russia and the USSR*. Moscow, 1961. (In Russ)
2. Bovykin V.I., Voronkova S.V., Golikov A.G., et al. *Mass sources on the socio-economic history of Russia during the period of capitalism*, ed. by I.D. Kovalchenko. Moscow: Nauka, 1979. (In Russ)
3. *Complete Collection of Laws of the Russian Empire*. St. Petersburg, 1847. (In Russ)
4. Velichko K.I. (ed.). *Military Encyclopedia*. Vols. I–XIV. St. Petersburg: I.D. Sytin Partnership, 1911–1914. (In Russ)
5. Vorenkevich-Bassants K. Description of measures, weights and coins of the Transcaucasian region, with their conversion to Russian and French measures and various notes on their local usage and mutual relations. *Journal of the Ministry of Internal Affairs*. Part 37. St. Petersburg, 1840: 379–415. (In Russ)
6. Ballas M.K. *Historical and statistical essay on winemaking in Russia: (Caucasus and Crimea)*. St. Petersburg: Printing house of the partnership "Obshchestvennaya Polza", 1877. XVIII. (In Russ)
7. Khatsov K. Handicraft trades of the Transcaucasian region. *Reports and Research on Handicraft Industry in Russia*. Vol. II. St. Petersburg, 1894: 259–370. (In Russ)
8. Gulishambarov S.I. *Overview of factories and works of the Transcaucasian region: With a plan of the Balakhani oil area*. Tiflis: Printing house of the Chancellery of the Commander-in-Chief of the Civil Unit in the Caucasus, 1894. (In Russ)
9. Berzhe A. (ed.). *Acts collected by the Caucasian Archaeographic Commission*. Vols. I–XII. Tiflis, 1866–1904. (In Russ)
10. *History of Azerbaijan: from the annexation of Azerbaijan to Russia to the February Bourgeois-Democratic Revolution of 1917*. Baku: Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, 1960. (In Russ)
11. *Colonial policy of Russian czarism in Azerbaijan in the 20s–60s of the 19th century*. Part II. Moscow, Leningrad: Academy of Sciences of the USSR, 1937. (In Russ)
12. *Code of materials for studying the economic life of state peasants of the Transcaucasian region*. Tiflis, 1888. (In Russ)
13. Frenkel A.S. *Means to combat brigandage in the Caucasus*. Tiflis, 1898. (In Russ)
14. Varzar V.E. (ed.). *Statistical data on manufacturing factory and works industry of the Russian Empire for 1908* / Ministry of Trade and Industry, Department of Industry. St. Petersburg: Printing house of V.F. Kirshbaum, 1912. IV, 119. (In Russ)
15. *Collection of materials for the description of places and tribes of the Caucasus (SMOMPK)*. Issue VIII. Tiflis, 1889. (In Russ)
16. Ismail-Zade D.I. *Russian peasantry in Transcaucasia*. Moscow: Nauka, 1982. (In Russ)
17. *Code of statistical data on the population of the Transcaucasian region, extracted from family lists of 1886*. Tiflis, 1893. (In Russ)
18. Hagemeister Yu.A. Statistical description of the Shemakha Governorate. *Caucasian Calendar for 1832*. Tiflis, 1848. (In Russ)
19. Segal I.L. *Peasant land tenure in Transcaucasia*. Tiflis, 1912. (In Russ)
20. Segal I.L. *Russian settlers in Elizavetpol Governorate*. Elizavetpol, 1890. (In Russ)
21. Segal I.L. *Collection of information about Elizavetpol Governorate*. Tiflis, 1902. (In Russ)
22. Semin O. *Main issues of local self-government*. Baku, 1912. (In Russ)
23. Semin O. *Great Anniversary. Agrarian question and peasant reform in the Caucasus*. Kyiv, 1911. (In Russ)
24. Geevsky V.N. *Brief essay on agriculture beyond the Caucasus*. Tiflis, 1887. (In Russ)
25. Ivanenko V.N. *Civil administration of Transcaucasia from the annexation of Georgia to the viceroyalty of Grand Duke Mikhail Nikolaevich*. Tiflis, 1901. (In Russ)
26. Egiazarov S.A. *Studies in the history of institutions in Transcaucasia. Part 1. Rural community*. Kazan, 1889. (In Russ)

Recieved 14.05.2025

Accepted 22.02.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223495-504>

Исследовательская статья

Сукиасян Амо Каренович
к.и.н., старший научный сотрудник, доцент
Институт истории, Ереван, Армения
hamosukiasyan@gmail.com

Хачатрян Артак Сурикович
к.и.н., младший научный сотрудник
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
artakkhachatryan@ysu.am

Мирзабекян Георгий Александрович
к.и.н., научный сотрудник
Институт востоковедения, Ереван, Армения
georgmirzabekyan@gmail.com

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ С ИРАНОМ В ПЕРИОД МЕЖДУ СОВЕТИЗАЦИЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕМ СССР (1920–1922 гг.)

Аннотация: В статье показано, что в декабре 1920 г., после советизации Республики Армения, власти Советской Армении приступили к формированию новых полномочных представительств и консульств за рубежом, а также к урегулированию связанных с ними вопросов. Власти Армении стремились к взаимовыгодному сотрудничеству с соседним Ираном, уделяя внимание повседневным заботам и проблемам армянского населения, живущего в Иране. Первоочередными задачами были установление тесных экономических отношений между двумя государствами, а также идеологическая, пропагандистская и организационная борьба против армянских дашнакских деятелей с целью их выдворения из Ирана. Полномочное представительство Советской Армении в Тегеране приступило к своей деятельности в сентябре 1921 г., а консульство в Тебризе – в декабре того же года. Образование Закавказской Федерации в марте 1922 г. предполагало лишить Армению, Грузию и Азербайджан самостоятельности в сфере внешних сношений. Однако армянские представительства в Иране не было закрыты. Армянское полномочное представительство в Тегеране было расформировано в ноябре 1922 г., а консульство Тебриза – в январе 1923 г. После советизации Армении в Ереване все еще продолжало работать иранское консульство, занимавшееся организацией экономической помощи Армении со стороны Ирана, предоставлением пропусков находящимся в Армении гражданам Ирана. Народный комиссариат иностранных дел Советской Армении поддерживал отношения с иранским консульством, регулируя взаимодействие с ним. В 1920–1922 гг. отношения между Советской Арменией и Ираном сформировались как взаимовыгодное дипломатическое сотрудничество, основу которого составляли защита иранских армян, развитие экономических связей и ограничение деятельности дашнаков в Иране. Статья подготовлена на основе анализа и сопоставления архивных документов, материалов периодической печати, а также историографической литературы. В ходе исследования применялись историко-критический и историко-сравнительный методы, а также историко-хронологический метод, позволяющий рассматривать взаимосвязь процессов и событий.

Ключевые слова: Советская Армения; Иран; дипломатические отношения; консульства; внешняя политика; армянская диаспора; политическая трансформация

Для цитирования: Сукиасян А.К., Хачатрян А.С., Мирзабекян Г.А. Дипломатические отношения Армении с Ираном в период между советизацией и образованием СССР (1920–1922 гг.) // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 495–504 doi: [10.32653/CH223495-504](https://doi.org/10.32653/CH223495-504)

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223495-504>

Research paper

Hamo K. Sukiasyan
Cand. Sci., Assoc. Prof., Senior Researcher
Institute of History, Yerevan, Armenia
hamosukiasyan@gmail.com

Artak S. Khachatryan
Cand. Sci., Junior Researcher
Yerevan State University, Yerevan, Armenia
artakkhachatryan@ysu.am

Georgi A. Mirzabekyan
Cand. Sci., Researcher
Institute of Oriental Studies, Yerevan, Armenia
georgmirzabekyan@gmail.com

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND IRAN: THE INTERIM PERIOD BETWEEN SOVIETIZATION AND THE FORMATION OF THE USSR (1920–1922)

Abstract. Following the Sovietization of Armenia in December 1920, the newly established Soviet authorities instituted foreign diplomatic missions and consulates to structure the republic's external relations. Focusing on neighboring Iran, Soviet Armenia prioritized mutually beneficial bilateral cooperation centered on three objectives: addressing the socio-economic concerns of the local Armenian diaspora, expanding trade ties, and neutralizing the political influence of the exiled Armenian Revolutionary Federation (ARF). The Plenipotentiary Mission in Tehran and the Consulate in Tabriz were established in September and December 1921, respectively. Concurrently, the Iranian Consulate in Yerevan organized economic relief and issued travel documentation for Iranian citizens, maintaining active coordination with Armenia's People's Commissariat for Foreign Affairs. Although the formation of the Transcaucasian Federation in March 1922 centralized foreign policy and ultimately led to the closure of Armenian posts in Tehran (November 1922) and Tabriz (January 1923), early Soviet Armenian–Iranian relations functioned as an effective diplomatic channel for economic recovery, regional stability, and diaspora management. Drawing on archival records, periodical literature, and historiography, this study employs historical-critical, comparative, and chronological methods to analyze the institutional dynamics and political context of 1920–1922 Soviet Armenian–Iranian diplomacy.

Keywords: Soviet Armenia; Iran; diplomatic relations; consulates; foreign policy; Armenian diaspora; political transformation

For citation: Sukiasyan H.K., Khachatryan A.S., Mirzabekyan G.A. Diplomatic relations between Armenia and Iran: the interim period between sovietization and the formation of the USSR (1920–1922). *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 495–504. doi. org/10.32653/CH223495-504

Введение

Исторический отрезок, охватывающий 1920–1922 гг., занимает особое место в истории армянской дипломатии, поскольку советизация республики вызвала необходимость в коренном пересмотре внешнеполитических ориентиров и механизмов международного взаимодействия. В этом контексте армяно-иранские отношения обрели особое значение. Непосредственный сосед Армении – Иран – представлял интерес как с точки зрения политической безопасности, так и наличия на территории Ирана многочисленной армянской общины. Деятельность дашнакских организаций, рассматриваемая советским правительством в качестве потенциального источника нестабильности, также являлась значимым фактором. Помимо этого, Советская Армения была заинтересована в возобновлении и развитии торгово-экономических отношений с Ираном. Создание в Тегеране в 1921 г. полномочного представительства, а в Тебризе – консульства Советской Армении ознаменовало важный этап в двусторонних отношениях. Эти структуры служили защите интересов армянской общины, развитию торгово-экономического сотрудничества и ограничению влияния антисоветских политических групп. В то же время в Ереване продолжало действовать консульство Ирана, содействуя поддержанию двусторонних связей. Политические преобразования, связанные с образованием СССР и централизацией внешнеполитических органов, привели к расформированию этих дипломатических учреждений и выработке новых механизмов армяно-иранских отношений.

Ряд аспектов армяно-иранских межгосударственных отношений, в частности вопросы, связанные с формированием и деятельностью дипломатических представительств, в историографической литературе изучены недостаточно. В связи с этим научная новизна данной статьи заключается во введении в научный оборот ранее не использованных архивных документов и материалов периодической печати, проливающих свет на основные вопросы армяно-иранских двусторонних отношений начиная с советизации Армении в 1920 г. и до образования СССР в 1922 г. Выбор хронологических границ исследования обусловлен данным обстоятельством.

Основные задачи армянской дипломатии после советизации

29 ноября 1920 г. Революционный комитет Армении (Ревком), в сопровождении частей Красной армии РСФСР, через Советский Азербайджан вошедший на территорию Армении, от имени не имевшего место восстания рабочих и крестьян объявил Армению советской республикой. Спустя три дня, 2 декабря 1920 г., по подписанному в Ереване армяно-российскому соглашению, Республика Армения стала советской [1, с. 10–13]. Таким образом была создана Социалистическая Советская Республика Армения (ССРА).

Ревком Армении, являвшийся верховным органом законодательной и исполнительной власти ССРА, сформировал новые органы власти. 6 декабря 1920 г. по приказу Ревкома были низложены полномочия дипломатических представительств и зарубежных миссий прежнего правительства [2, с. 453]. Телеграммой от 7 декабря председатель Ревкома Саркис Касьян уведомил об этом находившихся в разных странах дипломатических представителей и консулов Республики Армения. До назначения новых представителей Советской Армении вопросы сохранности имущества, а также делопроизводство были возложены на прежних представителей. В тех местах, где работали дипломатические представительства и консульства Советской России, имущество, дела и полномочия представителей Республики Армения временно были переданы представительствам РСФСР¹. Однако основная часть представителей прежнего правительства не подчинилась указаниям властей ССРА и продолжила свою деятельность в течение некоторого времени.

После расформирования дипломатических и консульских органов Республики Армения власти Советской Армении учредили полномочные представительства (посольства) и консульства в ряде советских и несоветских государств (Азербайджан, Россия, Грузия, Украина, Турция и Иран). Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) Советской Армении координировал работу полномочных

¹ Телеграмма С. Касьяна о советизации Армении // Национальный архив Армении (далее НАА). Ф. 114. Оп. 2. Д. 17. Л. 6 (на франц. яз.).

представителей и консулов за рубежом, а также поддерживал отношения с действующими в республике зарубежными представительствами. На момент советизации в Армении дипломатические представительства имели Иран, Турция, Грузия и Россия [1, с. 249–251].

Народные комиссариаты ССРА поддерживали отношения с действующими за рубежом представительствами через Президиум Совета Народных Комиссаров (Совнарком) либо Наркомат иностранных дел. Тем не менее, данный порядок иногда не соблюдался. В связи с различными вопросами, связанными с наркоматами, иногда наркомы лично обращались к полномочным представителям и консулам ССРА². Вопросы, касающиеся принципов деятельности, функций полномочных и консульских представителей ССРА, а также полномочий иностранных представителей в республике, подлежали урегулированию согласно действующему в Советской России законодательству [3, с. 376, 390, 398].

В преддверии создания Закавказской Федерации и Советского Союза постепенно ограничивалась государственная самостоятельность советских республик: проводилась политика дипломатической централизации. Согласно решению Политбюро ЦК РКП(б) от 8 декабря 1921 г., другим советским республикам запрещено было подписывать международные договоры без согласования с Наркоматом иностранных дел РСФСР, а все их зарубежные представители должны были подчиняться полномочным представителям РСФСР [4].

Фактически, в сфере внешних сношений в Советской Армении должны были руководствоваться российским законодательством. Уже к концу 1921 г. были ограничены полномочия полномочных представителей и консулов ССРА в иностранных государствах: они стали подчиняться полномочным представителям РСФСР.

Полномочное представительство ССРА в Тегеране

Дипломатический представитель Республики Армения в Иране Овсеп Аргутян, являвшийся одним из руководителей партии Армянской Революционной Федерации (Дашнакцутюн), возглавлявшей Армению до советизации, отказался подчиниться приказу Ревкома Армении от 6 декабря 1920 г. и продолжал исполнять свои обязанности. О. Аргутян, начав работать в Тегеране с января 1920 г., завоевал уважение и доверие иранских властей. Однако, иранские источники сообщают мало информации о деятельности О. Аргутяна [5, с. 60; 6, р. 128].

19 мая 1921 г. Народный комиссар иностранных дел Советской Армении Асканаз Мравян сообщил министру иностранных дел Ирана, что О. Аргутян лишен полномочий, а представление интересов ССРА временно возлагается на полномочного представителя РСФСР в Тегеране Федора Ротштейна. О. Аргутян не хотел низлагать полномочия и под разными предлогами затягивал передачу дел представительства Ф. Ротштейну³. Причина заключалась в том, что находившиеся в эмиграции члены партии Дашнакцутюн не принимали установленный в Армении советский строй, лелея надежду вновь прийти к власти.

Иранские власти также не спешили лишать О. Аргутяна его полномочий, что объяснялось рядом обстоятельств. Иран, переживавший глубокий экономический кризис и фактически превратившийся в британский полуколониальный придаток после подписания англо-иранского соглашения 1919 г., стремился избегать резких и решительных шагов во внешнеполитической сфере [7, с. 46–47]. Британское влияние вызывало серьёзное недовольство в оппозиционных кругах северного Ирана, представители которых связывали определённые надежды с Красной армией. Для советских властей подобные настроения имели особое значение, поскольку британское присутствие в Иране рассматривалось ими как серьёзное препятствие для распространения советской системы [8, с. 18–19]. Власти Ирана, пользовавшиеся британским покровительством, боролись против распространения в стране советской идеологии и пытались добиться вывода советских войск из Гиляна, где они, в противовес британцам, с мая 1920 г. установили контроль над стратегически важным городом Решт и портом Энзели [9, р. 99]. С иранской точки зрения, российская сторона, поддерживая в сложившейся ситуации местные повстанческие группы, способствовала тем самым распространению социалистических идей [10, р. 308]. В конце 1920 г. даже высказывались опасения, что антиправительственные группировки в Гиляне при

2 О поддержании связей с зарубежными представителями ССРА // НАА. Ф. 114. Оп. 1. Д. 66. Л. 8 и об. (на арм. яз.).

3 Господину министру иностранных дел Персии // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 88. Л. 17 (на франц. яз.).

поддержке советской Красной армии могут захватить Тегеран [11, р. 116]. И хотя 26 февраля 1921 г. был подписан договор о русско-иранской дружбе, которым восстанавливалось и укреплялось влияние Москвы на Иран [12, с. 61–66], тем не менее, вышеупомянутые вопросы оставались проблематичными в двусторонних отношениях вплоть до конца июня 1921 г., когда советские войска вышли из Гиляна и оказали поддержку центральным властям Ирана в установлении власти на местах [11, р. 119]. Указанные события открыли новый этап в развитии советско-иранских отношений, в котором важную роль сыграл фактор Реза-хана, пришедшего к власти в Иране в результате государственного переворота 21 февраля 1921 г. Новое руководство страны ещё до подписания договора с Советской Россией аннулировало соглашение, ранее заключённое с британской стороной [8, с. 20]. В иранской историографии данные процессы рассматриваются в контексте политики балансирования Ирана, сформировавшейся в условиях возникшего в стране управленческого вакуума [13, р. 333]. Следует отметить, что новые власти фактически осуществляли управление государством, тогда как формально главой страны продолжал оставаться Ахмед-шах – представитель династии Каджаров.

В результате этих процессов, развернувшихся между Советской Россией и Ираном, после ряда протестов со стороны НКВД ССРА и Ф. Ротштейна, направленных иранскому правительству, в конце августа 1921 г. Министерство иностранных дел Ирана поручило О. Аргутяну закрыть посольство [14, с. 132–134]. Лишь после получения этой новости Президиум ЦК КП(б) Армении 19 сентября 1921 г. принял решение о назначении общественного и литературного деятеля Левона Саркисяна полномочным представителем ССРА в Тегеране⁴. В письме к иранскому шаху Ахмеду Каджару председатель Совнаркома ССРА Александр Мясникян обращался с просьбой принять верительную грамоту Л. Саркисяна, подчеркивая, что на него будет возложена задача приложить усилия для дальнейшего укрепления взаимоотношений двух государств [15, с. 116–117].

Уже 26 сентября в Тегеране состоялось открытие полномочного представительства временным полномочным представителем ССРА Ф. Ротштейном. После вступительного слова Ротштейна выступили глава иранской и индийской епархии Армянской церкви архиепископ Саак Айватын, председатель Национального совета армян Тегерана Овсеп Мирзоян, подчеркнувший значимость дружбы и сотрудничества между Арменией и Россией⁵. Выехавший из Еревана 17 октября Л. Саркисян прибыл в Тегеран только 3 ноября. 9 ноября в торжественной обстановке он был принят шахом, премьер-министром и министром иностранных дел [14, с. 143–147]. Приём Л. Саргсяна иранской стороной фактически свидетельствовал о признании Советской Армении.

Интересно, что флаг Советской Армении был поднят над зданием полномочного представительства 2 декабря 1921 г. – в день советизации Армении. Л. Саркисян выступил с пространной речью, обращенной к собравшимся, в которой затронул политическое положение Армении, подверг критике внутреннюю и внешнюю политику, проводимую дашнаками в Республике Армения, и подчеркнул преимущества советской системы. На организованном в тот день торжественном приеме полномочного представительства присутствовали премьер-министр Ирана, председатель парламента, министры, послы России, Великобритании, Германии, Афганистана и Норвегии в Тегеране. В «Бюллетене» НКВД ССРА указывается, что эти церемонии состоялись 29 ноября⁶. Этот день упоминается и в исторической литературе [3, с. 387; 14, с. 150]. Однако в действительности первая годовщина советизации Армении была отмечена в Тегеране 2 декабря. Внепартийная тегеранская газета «Ранджбар Ирани», а также ереванская «Хорурдаин Айастан» указывают 2 декабря как дату данного события⁷. Вероятно, это обстоятельство объясняется стремлением властей ССРА любой ценой предать забвению 2 декабря, поскольку в пропагандистских целях заявлялось, что Армения была советизирована не в результате отставки прежних властей, а в силу восстания рабочих и крестьян.

В декабре 1921 г. полномочное представительство ССРА в Тегеране имело следующие штатные единицы: полномочный представитель, секретарь (также – информатор и заведующий консульской частью), управляющий делами (также – заведующий финансово-экономической частью), писарь,

4 Протокол № 28 заседания ЦК КП Армении от 19 сентября 1921 г. // НАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 86.

5 Представительство Советской Армении в Тегеране // Бюллетень информационного отдела Народного комиссариата иностранных дел ССРА. 1921. № 7 (на арм. яз.).

6 Открытие Полномочного Представительства Социалистической Советской Республики Армения в Тегеране // Бюллетень информационного отдела Народного комиссариата иностранных дел ССРА. 1922. № 9 (на арм. яз.).

7 Поднятие флага ССРА в Тегеране // Ранджбар Ирани (Иранский землероб). 1921. № 13 (на арм. яз.); Армяно-персидские отношения // Хорурдаин Айастан (Советская Армения). 1922. № 21 (на арм. яз.).

переводчик (также – архивариус и сотрудник, печатающий на машинке), слуга, рассыльный, два жандарма, три красноармейца⁸. А 1 марта 1922 г. Совнарком ССРА утвердил для полномочного представительства следующие 10 штатных единиц: полномочный представитель, секретарь, начальник экономической части (также – бухгалтер), архивариус, переводчик, курьер, двое слуг, два красноармейца, два жандарма, водитель⁹.

Перед полномочным представительством ССРА в Тегеране был выдвинут ряд важных и требующих скорейшего решения задач. Представительство работало в направлении поддержания дружественных отношений между Арменией и Ираном, решения повседневных проблем находящихся там армянских граждан, организации помощи Армении со стороны армянской колонии Ирана (усилиями полномочного представительства в феврале 1922 г. в Тегеране был основан филиал Комитета помощи Армении). Первостепенной задачей для полномочного представительства было выдворение руководящих деятелей Армянской Революционной Федерации (Дашнакцутюн) из Ирана и возвращение на родину сосредоточенных здесь тысяч армянских беженцев [3, с. 387–389]. С целью формирования среди армян Ирана положительного отношения к Советской Армении полномочное представительство периодически издавало на армянском языке информационные материалы, содержащие сведения о строительных работах, экономическом, политическом и социальном положении в Армении¹⁰. В результате усилий, приложенных полномочными представителями ССРА и РСФСР в Тегеране, иранские власти перестали открыто покровительствовать армянским эмигрантам, часть из которых со временем переехала в другие страны.

После образования Закавказской Федерации в марте 1922 г. путем объединения советских республик Армении, Грузии и Азербайджана, внешняя политика государств-членов обрела консолидированный характер. Каждая из республик сохранила на некоторое время право иметь дипломатических представителей в иностранных государствах [16, с. 239–240]. На этом основании продолжили свою деятельность полномочное представительство и консульство ССРА, действовавшие в Иране.

То, что Левон Саркисян и весь персонал представительства не были коммунистами, воспринималось современниками неоднозначно. Так, в докладной записке от 9 сентября 1922 г., адресованной председателю Чрезвычайной комиссии ССРА Шаваршу Амирханяну, коммунист, переводчик консульства ССРА в Тебризе Нерсес Нерсесян обвинял Л. Саркисяна в связи с приемом на работу в представительство своих сыновей и их друга, а также в бездействии, финансовых махинациях, в неподдержании необходимых связей с российским представителем в Тегеране. В качестве негативного обстоятельства он приводил доводы о том, что все сотрудники представительства являются беспартийными. Н. Нерсесян предлагал заменить Л. Саркисяна коммунистическим деятелем, либо командировать на работу в представительство двух коммунистов. Докладная записка Н. Нерсесяна завершалась следующими строками: «Хотя отношение тов. Саркисяна ко мне очень хорошее, но интересы партии требуют быть несговорчивым»¹¹.

Армянское полномочное представительство в Тегеране действовало до ноября 1922 г. В целях организации единого представительства Закавказской Федерации в Иране Совнарком ССРА 1 ноября 1922 г. принял решение о расформировании полномочного представительства. 11 ноября армянский флаг был спущен со здания представительства. Затем обязанность заниматься проблемами армян, живущих в Иране, была возложена на секретариат по армянским делам, созданный в составе полномочного представительства РСФСР в Тегеране [14, с. 313–315]. Однако в связи с активизацией работ по созданию СССР полномочный представитель Закавказья в Тегеране так и не был назначен. 30 декабря 1922 г. путем объединения четырех советских государств (Россия, Беларусь, Украина и Закавказская Федерация) был образован Советский Союз. После этого полномочный представитель РСФСР в Тегеране Борис Шумяцкий стал выступать в качестве полномочного представителя СССР, возглавляя эту должность до 1925 г. [17, с. 67–68].

Таким образом, полномочное представительство ССРА в Тегеране занималось проблемами армянских беженцев и общины, препятствовало распространению влияния дашнаков, способствовало укреплению армяно-иранских отношений.

8 Штаты полномочного представительства ССРА в Тегеране // НАА. Ф. 114. Оп. 1. Д. 218. Л. 17.

9 Там же. Оп. 2. Д. 150. Л. 11–12 (на арм. яз.).

10 Наше представительство в Тегеране // Бюллетень информационного отдела Народного комиссариата иностранных дел ССРА. 1922. № 10 (на арм. яз.).

11 Письмо Н. Нерсесяна председателю ЧК ССРА Ш. Амирханяну // НАА. Ф. 113. Оп. 3. Д. 47. Л. 57 и об.

Консульство ССРА в Тебризе

Советская Армения также основала консульство в северной части Ирана – в Тебризе, являющемся центром иранского Азербайджана.

В меморандуме от 13 ноября 1921 г., направленном Министерству иностранных дел Ирана, полномочный представитель ССРА в Тегеране Л. Саркисян, отмечая важное торговое значение граничащей с Арменией провинции иранского Азербайджана и наличие здесь многочисленного армянского населения, просил признать Езекиэля Ерзнкяна консулом ССРА в иранском Азербайджане и уведомить об этом местные власти¹². Помимо названных факторов, для руководства Советской Армении и Коммунистической партии Армении наличие консульства в Тебризе необходимо было в целях противодействия деятельности находившихся там дашнаков и предотвращения возможных с их стороны угроз для ССРА. Следующей важной задачей был вопрос о возвращении на родину армянских беженцев, в результате советизации Армении в панике перебравшихся в иранский Азербайджан. Так, в адресованной Л. Саркисяну докладной записке от 20 декабря 1921 г. консул Е. Ерзнкян сообщал, что благодаря его работе в рядах дашнаков произошел раскол. Группа дашнаков подготовила декларацию о том, что государства Антанты обманули армян, поэтому спасение Армении – в российской ориентации¹³.

Причем, официальное открытие Генерального консульства ССРА в иранском Азербайджане состоялось 2 декабря 1921 г., а не 29 ноября, как ошибочно указывается в армянской исторической литературе [3, с. 392; 14, с. 151–152]. Так, газета «Занг», издававшаяся в Тебризе армянской Социал-демократической партией Гнчакян, сообщает: «В пятницу, 2 декабря, согласно предварительному уведомлению, состоялось празднование годовщины ССРА и открытие Генерального консульства иранского Азербайджана»¹⁴. 6 декабря 1921 г. в докладной записке, адресованной Народному комиссару иностранных дел ССРА А. Мравяну, консул Е. Ерзнкян пишет, что открытие консульства состоялось 2 декабря¹⁵. Мы полагаем, что причиной путаницы с указанием даты открытия консульства «29 ноября» являются сведения, опубликованные в газете «Хорурдаин Айастан» и в «Бюллетене» НКВД ССРА, где указывалось, что 29 ноября в Тебризе состоялось празднование годовщины советизации Армении и торжественное открытие консульства ССРА¹⁶. Редакция «Хорурдаин Айастан» искажила факты (в газете отмечено «29 декабря», пятница), в то время как 29 ноября 1921 г. было вторником. Данная фальсификация, по всей видимости, была обусловлена теми же пропагандистскими целями, что и в случае с полномочным представительством в Тегеране.

Местные власти иранского Азербайджана относились к советским должностным лицам с недоверием. Подобным же образом они относились и к армянскому консульству. В записках, адресованных А. Мравяну и Л. Саркисяну, Е. Ерзнкян в этой связи приводит множество фактов, подчеркивая, что местные власти игнорировали его требования, оказывали поддержку дашнакам, подвергали жесткой цензуре газеты, положительно настроенные в отношении советской системы, организовывали слежку за сотрудниками консульства, иногда конфисковывали даже дипломатическую почту и т.д. [14, с. 155–159]. Значимость иранского Азербайджана для Ирана возросла в период советизации независимых республик Закавказья в 1920–1921 гг. Иранские власти считали Армению «барьером» между Ираном, большевиками и турками, поэтому ее советизация была воспринята болезненно. Посему российское и турецкое присутствие в регионе вынуждало Иран проявлять еще большую осмотрительность [10, р. 363–364].

Власти Советской Армении считали важной задачей возвращение на родину около десяти тысяч армянских граждан, переехавших в Тебриз и близлежащие населенные пункты в апреле и мае 1921 г. с целью избежать гонений коммунистов после советизации Армении. С одной стороны, это позволило бы использовать их потенциал в экономическом развитии Армении, с другой – ослабить позиции Дашнакцутюн в соседнем Иране. С этой целью 10 апреля 1921 г. Ревком Армении опубликовал декрет «Об амнистии», согласно которому амнистия предоставлялась участникам антисоветского восстания

12 Письмо Л. Саркисяна Министерству иностранных дел Ирана // НАА. Ф. 113. Оп. 3. Д. 60. Л. 13 (на перс. яз.).

13 Доклад Е. Ерзнкяна Л. Саркисяну о проделанной им работе // НАА. Ф. 113. Оп. 3. Д. 106. Л. 4 (на арм. яз.).

14 Открытие Генерального консульства ССРА в иранском Азербайджане // Занг (Колокол). 1921. № 25 (на арм. яз.).

15 Письмо Е. Ерзнкяна А. Мравяну о своей деятельности в Тебризе // НАА. Ф. 113. Оп. 3. Д. 14. Л. 186 (на арм. яз.).

16 Открытие Генерального консульства ССРА в иранском Азербайджане // Хорурдаин Айастан (Советская Армения). 1922. № 4 (на арм. яз.); Открытие Генерального консульства ССРА в иранском Азербайджане // Бюллетень информационного отдела Народного комиссариата иностранных дел ССРА. 1922. № 9 (на арм. яз.).

в Армении в феврале 1921 г., за исключением руководящих деятелей. Декретом Ревкома от 24 апреля это ограничение также было отменено [1, с. 207]. Однако въезд дашнаков в Армению фактически был запрещен.

Консульство ССРА в Тебризе внесло свою лепту в переселение тысяч армянских беженцев на родину. Консул Е. Ерзнкян проводил работу по оповещению армянского населения относительно декрета «Об амнистии» и сообщал о готовности властей всячески содействовать репатрирующим. По вопросам выдачи пропусков желающим выехать в ССРА консульство вело переписку с Совнаркомом ССРА, НКВД и полномочным представительством ССРА в Тегеране, докладывало о настроениях среди армянских беженцев, об отправке различных групп беженцев в Советскую Армению и о различных текущих вопросах [14, с. 229–231].

В марте 1922 г. число сотрудников Генерального консульства насчитывало 4 человека: генеральный консул Езекиэль Ерзнкян, секретарь Седрак Авагян, переводчик Нерсес Нерсесян, красноармеец Рубен Сулоян¹⁷. А в мае штатное расписание консульства включало 10 человек: генеральный консул, секретарь, драгоман, машинистка, канцелярский служащий, кучер, повар, красноармеец, два персидских казака¹⁸.

В ноябре 1922 г. консула Е. Ерзнкяна сменил Ерванд Гарагаш. Однако деятельность последнего была недолгой. В связи с образованием СССР в январе 1923 г. консульство было закрыто, а Гарагаш был назначен руководителем секретариата по делам Закавказья при консульстве СССР в Тебризе [14, с. 316].

Таким образом, в условиях дипломатического отношения иранских властей основной задачей консульства ССРА в Тебризе была организация возвращения армянских беженцев и противодействие распространению влияния дашнаков.

Иранское консульство в Ереване

Отношения с иностранными представительствами, действующими в Советской Армении, от имени государства поддерживал Народный комиссариат иностранных дел. Согласно установленному в ССРА порядку, учреждения в республике либо их сотрудники могли иметь официальные отношения с иностранными представительствами, даже с частными лицами, только с согласия НКВД [3, с. 364]. На момент советизации Армении дипломатические представительства в Ереване имели Россия, Грузия, Турция и Иран.

Иранское консульство в Ереване было основано еще при Российской империи, в 1913 г. После советизации Армении оно продолжило свою деятельность. Власти Советской Армении относились к иранскому консульству дружелюбно, шли навстречу предложениям консула. Так, согласно договоренности, достигнутой между НКВД ССРА и консульством в январе 1921 г., дома граждан Ирана могли быть подвергнуты обыску лишь в присутствии представителя консульства¹⁹. Подобного рода сотрудничество было важно и для иранской стороны, поскольку в условиях советского строя иранские власти были обеспокоены вопросом безопасности своих граждан. Консул Ирана в Ереване Асадулла хан Мани оль-Мольк в отчете, отправленном в Тегеран, сообщал, что благодаря его усилиям проводимый в Армении призыв на военную службу не коснулся граждан Ирана [10, с. 391].

В силу тяжелых социально-экономических условий для Советской Армении особое значение имело установление торгово-экономических отношений с Ираном. Особую остроту приобрел продовольственный вопрос. С этой целью в начале февраля 1921 г. НКВД ССРА вступил в переговоры с иранским консулом Асадуллой ханом. Начатые переговоры были прерваны в результате временной смены власти в Ереване и близлежащих населенных пунктах, имевшей место 18 февраля, и возобновились лишь в апреле. Откликнувшись на предложение заместителя Наркома иностранных дел ССРА А. Мравяна от 13 апреля об оказании продовольственной помощи Армении, Асадулла хан выехал из Еревана в Иран. Возложенная на него миссия была успешно выполнена: с конца мая из Северного Ирана в Армению стали поступать продовольствие и другие необходимые товары [15, с. 113–115]. Проблема продовольствия была насущной для всего Закавказья, что заставляло Иран в первую очередь заботиться

17 Список сотрудников Генерального консульства в иранском Азербайджане // НАА. Ф. 113. Оп. 3. Д. 106. Л. 28 (на арм. яз.).

18 Штаты консульства ССРА в Тебризе // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 151. Л. 13 (на арм. яз.).

19 О порядке обысков в домах подданных Персии // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 30. Л. 85 (на арм. яз.).

о собственных гражданах и в том числе о сотрудниках консульства. Это обстоятельство, а также нерегулярная работа коммуникационных путей затрудняли стабильное экономическое сотрудничество [10, с. 373].

В октябре 1921 г. иранское консульство в Ереване имело следующий штатный состав: консул, секретарь (также – заместитель консула), делопроизводитель, чиновник по особым поручениям, заведующий паспортным отделом, машинистка, два фариша (посыльный), два охранника, привратник (всего 11 сотрудников)²⁰. А в январе 1922 г. в консульстве было 8 сотрудников: заместитель консула, временный секретарь (также машинистка), два служащих консульства, два фариша, охранник, рассыльный. Все сотрудники были иранскими подданными²¹.

Особую обеспокоенность властей Советской Армении в связи с деятельностью иранского консульства вызывало то, что консульство иногда выдавало иранские паспорта армянским гражданам [3, с. 405]. С целью урегулирования этой проблемы в феврале 1922 г. была создана межведомственная комиссия во главе с Карапетом Сафаряном по проверке пропусков иранских подданных. Деятельность комиссии контролировалась и регулировалась со стороны НКВД. Комиссия не имела полномочий по выдаче новых пропусков, в ее функции входила лишь проверка подлинности уже предоставленных. 7 февраля 1922 г. в докладной записке, адресованной НКВД ССРА, К. Сафарян выражал недовольство этим порядком, заявляя: «Таким распоряжением мы косвенно дадим право консулу по своему усмотрению выдавать пропуска, что будет полностью противоречить моему, с большим трудом уже принятому, предложению, по которому право выдачи нового пропуска предоставлялось комиссии, где вопрос будет рассматриваться в моем присутствии и с моего согласия будут выдаваться соответствующие удостоверения для представления консулу»²². Разумеется, это обстоятельство вызвало недовольство иранского консульства, которое сообщило об этом НКВД ССРА²³. Однако со временем проблема была урегулирована.

Иранское консульство в Ереване продолжило свою работу и после образования СССР. Оно действовало до 1933 г., способствуя укреплению сотрудничества армянского и иранского народов.

Заключение

Таким образом, в 1920–1922 гг. внешние сношения Советской Армении постепенно формировались в рамках правовой и институциональной системы Советской России. К концу 1921 г. первоначальная самостоятельность армянских дипломатических представителей за рубежом была ограничена, что отражало процесс централизации внешней политики советских республик в преддверии образования СССР. Полномочное представительство ССРА в Тегеране и консульство в Тебризе сыграли важную роль в поддержании контактов с Ираном в переходный период: они занимались проблемами армянских беженцев и общины, противодействовали политическому влиянию дашнаков и содействовали развитию армяно-иранских отношений. После советизации Армении иранское консульство в Ереване продолжило свою деятельность, участвуя в решении вопросов, связанных с иранскими подданными, и способствуя развитию двустороннего взаимодействия. Расформирование армянских дипломатических учреждений в Иране стало частью процесса объединения дипломатических институтов, в ходе которого армянская дипломатия была интегрирована в союзную внешнеполитическую систему. В более широком контексте данный период представляет важный этап адаптации армянских дипломатических структур к новой модели советской внешней политики.

Научная значимость исследования связана с введением в научный оборот ранее неиспользованных архивных документов, позволивших уточнить ряд обстоятельств дипломатической деятельности ССРА. В частности, уточнены датировки и условия учреждения представительств ССРА в Тегеране и Тебризе, что дает возможность скорректировать отдельные устоявшиеся в историографии представления.

20 Список служащих Персидского консульства // НАА. Ф. 114. Оп. 1. Д. 187. Л. 173–174.

21 Список служащих Персидского консульства // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 143. Л. 34–35.

22 Доклад представителя наркоминдела К. Сафаряна // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 143. Л. 22 и об. (на арм. яз.).

23 Письмо Персидского консульства в наркоминдел ССРА о проверке паспортов персидскоподданных // НАА. Ф. 114. Оп. 2. Д. 143. Л. 32 и об.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казахецян В.Н. Армения в 1920–1940 гг. Ереван: Институт истории, 2006. – 564 с. (на арм. яз.).
2. Великая Октябрьская Социалистическая революция и победа советской власти в Армении. Сборник документов. Ереван: Айпетрат, 1957. – 682 с.
3. Есаян А.А. Международно-правовое положение Армении (1920–1922). Ереван: Митк, 1967. – 431 с. (на арм. яз.).
4. Хачатрян К.Г., Сукиасян А.К. Дипломатические представительства Советской Армении на территории Советской России (1920–1922) // История. 2024. Т. 15. Вып. 12 (146). Часть II. URL: <https://history.jes.su/s207987840033827-8-1/>. DOI: 10.18254/S207987840033827-8
5. Кесоян Г.Э. Дипломатическое представительство первой Республики Армения // Вопросы истории Армении. 2021. № 2 (23). С. 56–73. (на арм. яз.).
6. Bayāt Kāveh. Negāhī be monāsebāt-e Īrān va Jomhūrī-ye Avval-e Armanestān 1918–1921 [A Glance at Relations between Iran and the First Republic of Armenia 1918–1921]. Tehrān, Faşlnāmeḥ-ye Moṭāle‘āt-e Āsiyā-ye Markazī va Qafqāz. 1378 [1999]. Vol. 25. Pp. 125–132. (на перс. яз.).
7. Вартаньян Э.Г. Первые шаги в формировании советско-персидских отношений (1917–1921) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 1. Часть 1. С. 45–49. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-1-1-45-49.
8. Булыгина Т.А., Амбарцумян К.Р. К вопросу о месте Южного Кавказа в советско-персидских отношениях в 1917–1921 годах // Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 4. С. 16–23. DOI: 10.37494/2409-1030-2018-4-16-23
9. Rahnema A. The Political History of Modern Iran, Revolution, Reaction and Transformation, 1905 to the Present. London: I.B. TAURIS Publishing, 2023: 744 p.
10. Bayāt Kāveh. Tūfān bar farāz-e Qafqāz: negāhī be monāsebāt-e manteqeh-ī-ye Īrān va jomhūrī-hā-ye Āzarbāyjān, Armanestān va Gorgestān dar dowreh-ye nokhost-e esteqlāl 1917–1921 [Storm over the Caucasus: A Glance at the Iranian Regional Relations with the Republics of Azerbaijan, Armenia, and Georgia in the First Period of Independence 1917–1921]. Tehrān: Markaz-e Chap va Enteshārāt, 1388 [2009]: 457 p. (на перс. яз.).
11. Abrahamian E. Iran Between Two Revolutions. Princeton: Princeton University Press, 1982: 561 p.
12. Агаев С.Л. Иран в период политического кризиса 1920–1925 гг. (Вопросы внешней политики). М.: Наука, 1970. – 210 с.
13. Rāzī Abdollāh, Khazāyeh Ḥasan. Tārīkh-e Mofaṣṣal-e Īrān: Vaqāye‘-e Īrān az Āghāz tā Pāyān-e Dowre-ye Pahlavī [The Comprehensive History of Iran: from the beginning to the end of Pahlavi era]. Tehrān: Sāzmān-e Chap va Enteshārāt, 1388 [2009]: 488 p. (на перс. яз.).
14. Зограбян Э.А. Советская Россия и армяно-иранские отношения (1920–1922 гг.). – Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1985. – 232 с. (на арм. яз.).
15. Григорян Р. Документы о дружбе армянского и иранского народов в первые годы установления советской власти в Армении // Вестник архивов Армении. 1969. № 3. С. 111–120.
16. Хармандарян С.В. Ленин и становление Закавказской Федерации: 1921–1923. Ереван: Айастан, 1969. – 456 с.
17. Дёмин Ю.А. Советская дипломатия и ее роль в создании и деятельности национального блока в Иране (1922–1924 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 66–76. DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.4.7

REFERENCES

1. Khazakhetsyan VN. Armenia in 1920–1940. Yerevan: Institute of History, 2006. (In Arm)
2. The Great October Socialist Revolution and the Victory of Soviet Power in Armenia. Collection of Documents. Yerevan: Aypetrat, 1957. (In Russ)
3. Yesayan A.A. International Legal Position of Armenia (1920–1922). Yerevan: Mitk, 1967. (In Arm)
4. Khachatryan KG., Sukiasyan AK. Diplomatic representations of Soviet Armenia on the territory of Soviet Russia (1920–1922). Istoriya. 2024; 15(12/146/2). DOI: 10.18254/S207987840033827-8. (In Russ)
5. Kesoyan GE. Diplomatic representation of the First Republic of Armenia. Issues of Armenian History. 2021; (2/23): 56–73. (In Arm)
6. Bayat K. A glance at relations between Iran and the First Republic of Armenia 1918–1921. Quarterly Journal of Central Asian and Caucasian Studies. 1999; 25: 125–132. (In Pers).
7. Vartanyan EG. First steps in the formation of Soviet-Persian relations (1917–1921). Historical and Social-Educational Idea. 2017; 9(1/1): 45–49. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-1-1-45-49. (In Russ)
8. Bulygina TA., Ambartsumyan KR. On the location of the South Caucasus in Soviet-Persian relations in 1917–1921. Humanitarian and Legal Studies. 2018; (4): 16–23. DOI: 10.37494/2409-1030-2018-4-16-23. (In Russ)
9. Rahnema A. The Political History of Modern Iran: Revolution, Reaction and Transformation, 1905 to the Present. London: I.B. Tauris, 2023.
10. Bayat K. Storm over the Caucasus: A Glance at the Iranian Regional Relations with the Republics of Azerbaijan, Armenia, and Georgia in the First Period of Independence 1917–1921. Tehran: Markaz-e Chap va Entesharat, 2009. (In Persian).
11. Abrahamian E. Iran Between Two Revolutions. Princeton: Princeton University Press, 1982.
12. Agaev S.L. Iran during the period of political crisis of 1920–1925 (Issues of foreign policy). Moscow: Nauka, 1970.
13. Razi A., Khazayel H. The Comprehensive History of Iran: From the Beginning to the End of Pahlavi Era. Tehran: Sazman-e Chap va Entesharat, 2009. (In Persian).
14. Zohrabayan EA. Soviet Russia and Armenian-Iranian Relations (1920–1922). Yerevan: Yerevan University Press, 1985. (In Arm).
15. Grigoryan R. Documents on the friendship of the Armenian and Iranian peoples in the first years of the establishment of Soviet power in Armenia. Herald of the Archives of Armenia. 1969; (3): 111–120. (In Russ)
16. Kharmandaryan SV. Lenin and the Formation of the Transcaucasian Federation: 1921–1923. Yerevan: Hayastan, 1969. (In Russ)
17. Dyomin YuA. Soviet diplomacy and its role in the creation and activities of the National Bloc in Iran (1922–1924). Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations. 2017; 22(4): 66–76. DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.4.7. (In Russ)

Поступила в редакцию 30.12.2025 г.
Принята в печать 27.04.2026 г.
Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 30.12.2025
Accepted 27.04.2026
Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223505-515>



Исследовательская статья

Ананьев Виталий Геннадьевич

доктор культурологии, профессор кафедры искусствоведения и педагогики искусства

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

vgananev@herzen.spb.ru;

Бухарин Михаил Дмитриевич

действительный член РАН, главный научный сотрудник

Институт всеобщей истории РАН, Москва, Россия

michabucha@gmail.com

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.А. ОРБЕЛИ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МУЗЕЙНЫХ И ЭКСКУРСИОННЫХ РАБОТНИКОВ (ДЕКАБРЬ 1929 г.): К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ УЧЕНОГО

Аннотация. Научное наследие крупнейшего отечественного кавказоведа, действительного члена АН СССР (1935), первого президента Академии наук Армянской ССР (1943–1947) Иосифа Абгаровича Орбели (1887–1961) сохраняет свою актуальность и в начале XXI в. При этом в научный оборот до сих пор введены далеко не все материалы, касающиеся его научной, организационной и общественной деятельности. Наибольшее влияние на формирование музейной культуры, теории и практики музейного дела И.А. Орбели оказывал как директор Государственного Эрмитажа в 1934–1951 гг. Однако и до того, как занять пост директора, он принадлежал к числу авторитетных специалистов в области музейного строительства. В этой связи существенное значение имеет выступление И.А. Орбели на Ленинградской производственной конференции музейных и экскурсионных работников, состоявшейся 10–12 декабря 1929 г. Текст выступления не предназначался для публикации, что еще более увеличивает его ценность для реконструкции динамики музейного строительства (и шире – строительства культуры) в СССР в межвоенное двадцатилетие. Он сохранился в материалах конференции в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. В данной публикации этот материал впервые вводится в научный оборот. Целый ряд вопросов, сохраняющих значение для функционирования музеев и в настоящее время, озвучивался И.А. Орбели почти сто лет назад, и их полноценное решение все еще ожидается профессиональным сообществом.

Ключевые слова: музееведение; историко-культурное наследие; музейные конференции; история науки; история культуры; кавказоведение; И.А. Орбели

Для цитирования: Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. Выступление И.А. Орбели на Ленинградской производственной конференции музейных и экскурсионных работников (декабрь 1929 г.): к 65-летию со дня смерти ученого // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 505-515. doi.org/10.32653/CH223505-515

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223505-515>

Research paper

Vitaly G. Ananiev

Dr. Sci., Prof. of the Department of Art History and Art Pedagogy

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

vgananev@herzen.spb.ru

Mikhail D. Bukharin

Full Member of the RAS, Chief Researcher

Institute of World History of the RAS, Moscow, Russia

michabucha@gmail.com

J. A. ORBELI AT THE LENINGRAD WORKING CONFERENCE OF MUSEUM AND EXCURSION WORKERS (DECEMBER 1929): MARKING THE 65TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH

Abstract. The academic legacy of Joseph Abgarovich Orbeli (1887–1961), a leading Russian scholar of caucasiology, Full Member of the USSR Academy of Sciences (1935), and the first President of the Academy of Sciences of the Armenian SSR (1943–1947), remains highly relevant even today. However, many materials concerning his academic, organizational, and public activities have not yet been introduced into scientific discourse. J.A. Orbeli exercised his greatest influence on the formation of museum culture and the theory and practice of museology as Director of the State Hermitage Museum from 1934 to 1951. Nevertheless, even before assuming the directorship, he was regarded as one of the most authoritative experts in museum development. In this regard, J.A. Orbeli's address at the Leningrad Industrial Conference of Museum and Excursion Workers, held on December 10–12, 1929, is of significant importance. The communication was not intended for publication, which further enhances its value for reconstructing the dynamics of museum development (and, more broadly, cultural construction) in the USSR during the interwar period. The text has been preserved in the conference materials at the Central State Archive of Saint Petersburg and is introduced into scientific discourse for the first time in this very publication. A wide range of issues raised by J.A. Orbeli nearly a century ago remain relevant to museum operations today, with comprehensive solutions still anticipated by the professional community.

Keywords: Museology; State Hermitage Museum; history of science; Soviet cultural policy; museum conferences; J. A. Orbeli; interwar period; archival studies

For citation: Ananiev V.G., Bukharin M.D. J. A. Orbeli at the Leningrad working conference of museum and excursion workers (December 1929): marking the 65th anniversary of his death. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 505-515. doi.org/10.32653/CH223505-515

Введение

2 февраля 2026 г. исполнилось 65 лет со дня кончины крупнейшего отечественного кавказоведа, действительного члена АН СССР (1935), первого президента Академии наук Армянской ССР (1943–1947) Иосифа Абгаровича Орбели (1887–1961). Несмотря на существенный срок, прошедший его смерти, его работы остаются актуальным компонентом историографии соответствующих областей знания, связанных с лингвистикой, литературой, материальной культурой Кавказа. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что в истории отечественной культуры как таковой (а не только в специализированной области научных исследований Кавказа) И.А. Орбели в первую очередь остался как легендарный директор Государственного Эрмитажа, под руководством которого были проведены сложнейшие процессы эвакуации музейных сокровищ из военного Ленинграда в Свердловск и их возвращения, нового развертывания работы крупнейшего музея страны после снятия блокады города [См.: 1].

Действительно, музейная деятельность была неотъемлемой частью профессиональной биографии И.А. Орбели. Начав ее еще в юности, принимая участие в пополнении, организации и разработке материала музея, созданного на месте Анийских раскопок его учителем академиком Н.Я. Марром [2; 3, с. 15–16], впоследствии И.А. Орбели более тридцати лет (1920–1951) был связан с Государственным Эрмитажем. На заседании Совета Эрмитажа 25 октября 1920 г. по предложению 12 членов Совета он был избран на вакантную должность хранителя Отделения мусульманского Средневековья [4, с. 225, 228–229], 2 сентября 1924 г. стал помощником директора музея [5, с. 32], с 1 июня 1926 г. возглавил (первоначально – как и.о. заведующего) новообразованный Отдел Востока [5, с. 39], а 19 июня 1934 г. был назначен на должность директора музея [5, с. 55]. С последней он был снят приказом Комитета по делам искусств при Совете министров СССР от 20 июля 1951 г. Так 25 июля 1951 г. [5, с. 140] завершилась тридцатилетняя музейная работа И.А. Орбели.

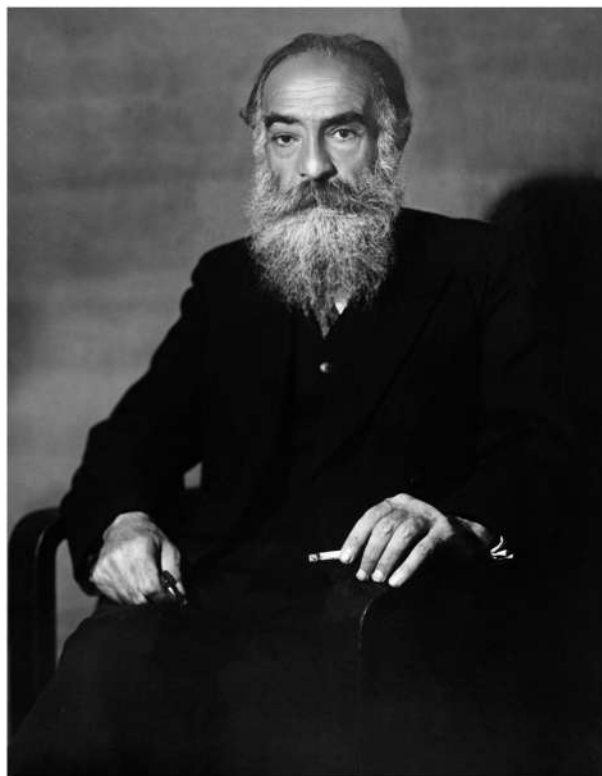


Фото 1. Иосиф Абгарович Орбели.
Фотопортрет к 220-летию Академии наук, 1945 г.
АРАН. Ф. Р. Х. Оп. 4. Д. 77. Л. 1

Photo 1. Iosif Abgarovich Orbeli.
Photographic portrait for the 220th anniversary of the Academy
of Sciences, 1945. ARAN. F. R. Kh. Op. 4. D. 77. L. 1

Исторический контекст

Музейная деятельность И.А. Орбели пришлась на тот период в развитии музеологии, который в современной историографии – используя определение крупнейшего чехословацкого музеолога З. Странского – нередко называют эмпирически-описательным [См.: 6, с. 40]. Вопросы, связанные с музейным делом, разрабатывались тогда преимущественно на уровне решения конкретных проблем и задач музейного строительства, исследователи, как правило, избегали теоретических обобщений и не поднимались до уровня синтеза накопленного материала, рассматривая в качестве достаточных рамки музеологии как прикладной дисциплины. Поэтому неудивительно, что в списках печатных трудов многих крупнейших ученых, работавших в первой половине XX в. в музеях, мы не находим специализированных работ, посвященных музейной проблематике. Это не означает, что соответствующие проблемы их не интересовали, это лишь следствие господствующего научного дискурса и примета

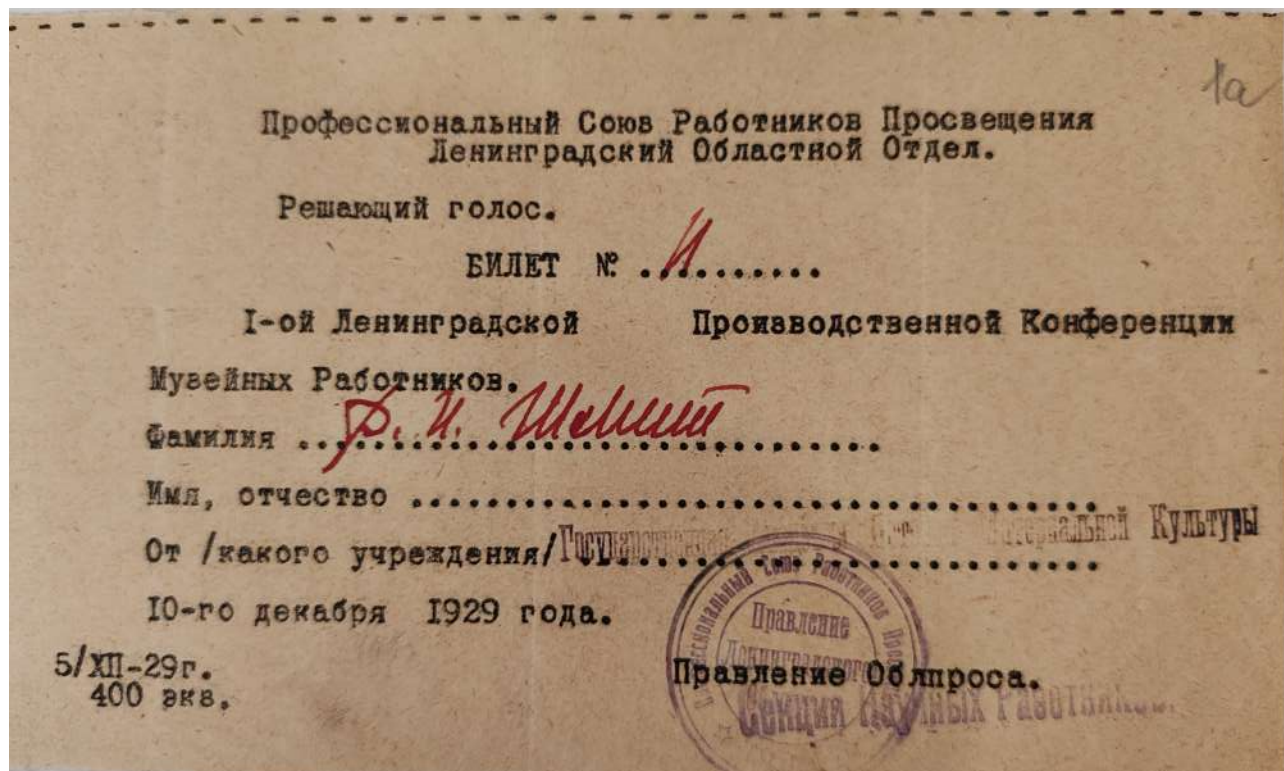


Фото 2. Билет участника конференции, выданный Ф.И. Шмиту как представителю Государственной академии истории материальной культуры, 1929 г. ЦГАЛИ СПб. Ф. 389. Оп. 1. Д. 177. Л. 1а

Photo 2. Conference participant ticket issued to F.I. Schmit as a representative of the State Academy for the History of Material Culture, 1929. TsGALI SPb. F. 389. Op. 1. D. 177. L. 1a

определенного этапа в развитии музейной науки, которую и в конце XX в. зачастую принято было называть еще молодой.

Научное наследие И.А. Орбели в данном случае не является исключением. Его «музейные» тексты носили, как правило, служебный характер и зачастую не предназначались для публикации, представляя собой служебные записки или доклады на профессиональных форумах. Некоторые из них все же были введены в научный оборот, хотя и после смерти автора [5], контекстуализированы в новейшей историографии [7, с. 99–120; 8, с. 73–87], дополнились новообнаруженными материалами [9, с. 1022–1039]. Данная публикация продолжает эту линию, связанную с выявлением и актуализацией музееведческого наследия И.А. Орбели, и представляет собой публикацию его выступления на Ленинградской производственной конференции музейных и экскурсионных работников, состоявшейся 10–12 декабря 1929 г.

Ленинградская производственная конференция музейных и экскурсионных работников 1929 г.

Ленинградская музейная конференция 1929 г., хотя и упоминалась изредка в литературе по истории музейного дела [10, с. 73], до сих пор не становилась предметом специального научного изучения. Вместе с тем, она достаточно важна для понимания траектории развития советского музейного мира в период оформления тоталитарного государства сталинского образца. Рубежным в этом отношении принято считать Первый всероссийский музейный съезд, состоявшийся в декабре 1930 г. в Москве [11]. Но как подготовительный этап к съезду за год до того была проведена серия региональных музейных конференций, одной из которых и стала интересующая нас ленинградская. Как отмечалось в ходе самого мероприятия, созывалось оно, чтобы участники «в результате этой конференции действительно

подытожили опыт массовика музейного работника, который здесь широко представлен»¹. На конференции были заслушаны во многом установочные доклады руководителей сектора как республиканского, так и городского масштаба. Их характер подчеркивался уже тем фактом, что тезисы/сами тексты этих докладов к началу конференции были отпечатаны типографским способом.

Во многом установочным на конференции был доклад заведующего Главнауки Наркомпроса РСФСР Ивана Капитоновича Луппола (1896–1943), в котором в сжатой форме разъяснялось, как именно в «реконструктивный период народного хозяйства СССР» «вся музейная сеть Главнауки должна в своей специфической форме войти мощным фактором в общее русло строительства социализма и культурной революции»². По сути дела, это была репетиция (пока без теоретического обоснования) его же установочного доклада на Первом всероссийском музейном съезде в 1930 г. о применении в музейной работе метода диалектического материализма и о борьбе с «безыдейным вещизмом» [12]. Следующие два доклада конкретизировали общие установки на городском материале. Заместитель уполномоченного Наркомпроса в Ленинграде Юрий Николаевич Никич (1891–1937) сделал доклад о руководстве работой ленинградских музеев³, а Григорий Эммануилович Чудаков (1903–1933), руководивший Экскурсионно-лекторской базой (Политпросветбазой) Губоблоно, посвятил свое выступление политпросветработе музеев⁴. Хотя звучали и другие подготовленные доклады, тезисы которых, как и тезисы перечисленных выше трех докладов, были отпечатаны к началу конференции и раздавались участникам (напр., доклад Федора Васильевича Кипарисова (1886–1936), фактически возглавлявшего с начала 1929 г. Государственную академию истории материальной культуры, «о союзной работе среди музейных работников»)⁵, но именно по этим трем выступлениям была принята итоговая резолюция, отмечавшая и актуальность участия музеев в деле реконструкции народного хозяйства, и важность беспощадной борьбы с внутренним врагом, «который безнадежно связал себя с отжитым уже временем», и недопустимость абстрактного собирательства⁶. Впрочем, в той же резолюции отмечалось и иное. «Поскольку вся музейная работа может строиться только на строго научных основаниях с применением научных методов исследования и объяснения музейных экспонатов и их показа, Конференция признает необходимым установление и максимальное развитие связи музеев с соответствующими научно-исследовательскими институтами»⁷. Таким образом, наряду с актуальной повесткой, конференция артикулировала и значимость сохранения того, что традиционно было базисом музейной работы.

Выступление И.А. Орбели: темы явные и не вполне

На конференции в обсуждении услышанного от начальства выступали многие музейные работники Ленинграда, но одним из самых ярких по форме и глубоких по содержанию стало именно выступление И.А. Орбели. Он был первым, кто взял слово на второй день конференции, 11 декабря, при обсуждении установочных докладов, заслушанных накануне. Опыт музейной работы в Эрмитаже, высочайшая академическая подготовка, личная смелость докладчика способствовали тому, что его выступление в сжатой форме представило те актуальные проблемы, с которыми сталкивались советские музеи к концу 1920-х гг., и наметило возможные пути их решения. Но знакомство с текстом позволяет утверждать, что значение его отнюдь не ограничивается важностью исторического источника, а сохраняет актуальность и в свете современных тенденций развития музейного дела.

В центре выступления И.А. Орбели находился комплекс вопросов, связанных с упорядочиванием процесса комплектования и профилизации фондов отдельных музеев и объединением их в единую музейную сеть в рамках всей страны, развитием основных функций музея как особого социокультурного института и достижением их верного соотношения друг с другом, подготовкой способных решать

1 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (Далее – ЦГА СПб). Ф. 6307. Оп. 12. Д. 438. Л. 5.

2 Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (Далее – ЦГАЛИ СПб). Ф. 389. Оп. 1. Д. 177. Л. 22.

3 ЦГАЛИ СПб. Ф. 389. Оп. 1. Д. 177. Л. 21.

4 ЦГАЛИ СПб. Ф. 389. Оп. 1. Д. 177. Л. 20.

5 ЦГАЛИ СПб. Ф. 389. Оп. 1. Д. 177. Л. 19–19 об.

6 Ведомственный архив Государственного Русского музея (Далее – ВА ГРМ). Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Д. 720. Л. 12–12 об.

7 ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. Доп. 1. Д. 13. Л. 12 об.

обозначенные выше проблемы музейных кадров, а также обеспечением финансовой базы в результате продуманной государственной политики в области публикации музейных предметов и коллекций.

В общем, эти вопросы не были чем-то совершенно новым. О необходимости системного подхода к развитию всей совокупности музеев страны как единого целого сами представители научного и музейного миров говорили еще до Октябрьской революции. После революции эти проекты начали реализовываться на практике при активной поддержке новой власти в форме перераспределения исторически сложившихся коллекций между различными музейными учреждениями с учетом четко выдержанного профиля каждого из них и избегания параллелизма [См., напр.: 13]. Сам И.А. Орбели участвовал в них, например, и при обсуждении научности структуры Эрмитажа в 1927 г., и в рамках дискуссий о существовании особого Музея восточных культур [5, с. 39–50].

Неоднократно озвучивался и вопрос о соотношении музейных функций, в первую очередь, понимаемый через призму континуума от научно-исследовательской до культурно-просветительной. И в его обсуждении, в отличие от предыдущего, довольно быстро проявились противоречия между новой властью и представителями профессионального сообщества. Первые, с учетом новой государственной политики, все больше видели в музеях инструмент просвещения, а затем и пропаганды, в то время как вторые, зачастую, склонны были акцентировать именно его научно-исследовательский потенциал, делегируя работы по просвещению специальным службам вне музея. За несколько месяцев до декабрьской конференции, в апреле 1929 г., в Ленинграде прошло масштабное совещание этнографов, на котором, среди прочих, обсуждались и эти вопросы соотношения научного и просветительского начал в музейной деятельности [См.: 14]. Они оставались не просто актуальными, но и злободневными.

Не менее актуальной была и проблема подготовки музейных кадров, необходимость разрешения которой диктовалась общемировыми тенденциями профессионализации музейного сектора на рубеже XIX–XX вв. Система таковой в позднеимперский период в России сложиться не успела, а эксперименты первых лет советской власти в силу целого ряда причин оказывались недолговечными и желаемых результатов не давали. И.А. Орбели прекрасно знал это, занимаясь в 1920-е гг. преподавательской работой на факультете общественных наук, сменившем его факультете языка/языкознания и материальной культуры Петроградского/Ленинградского университета и в пришедшем им на смену Ленинградском историко-лингвистическом институте [3, с. 57].

Все это были вопросы регулярно обсуждавшиеся профессиональным сообществом в первой трети XX в. Вполне естественным кажется обращение к ним и в рассматриваемом выступлении. Более оригинально звучит последняя из затронутых в выступлении И.А. Орбели проблем – проблема публикации музейных материалов, выполненных на их основе научных исследований и финансовой выгоды, которую для государства может иметь верная постановка этого дела. Она может показаться даже несколько неожиданной с учетом тех рабочих материалов, которые получали участники перед началом конференции и которые определенно иначе трактовали роль музеев в развитии социалистического хозяйства. Не через публикацию специализированных работ должна была эта роль реализовываться по мнению организаторов конференции. Что же заставило И.А. Орбели в заключении выступления обратиться к этой проблеме?

Попытаться ответить на этот вопрос можно обратившись к контексту. Как хорошо теперь известно, в 1928 г. начался активный процесс государственной продажи музейных предметов за границу, так называемые «музейные распродажи», ставшие одной из самых мрачных страниц в истории отечественного музейного дела XX в. В том же году они коснулись и Государственного Эрмитажа [15]. Причем, как отмечает ведущий специалист в изучении этой проблемы Е.Ю. Соломаха, к «середине 1928 г. окончательно сформировалась идея о продаже шедевров» из музейных собраний [15, с. 15]. Эти меры обосновывались экономическими нуждами государства. Естественно, И.А. Орбели выступал резко против этих «распродаж». В 1932 г. он написал письмо Сталину о пагубности подобного подхода. Вскоре после этого «распродажи» прекратились, а сам И.А. Орбели был назначен директором Государственного Эрмитажа. Но и до 1932 г. он не боялся выступать в защиту музейных коллекций. Так в апреле 1929 г. в Ленинград прибыл новоназначенный заведующий Главнаукой Наркомпроса РСФСР М.Н. Лядов (1872–1947). На специально созванном совещании музейных и экскурсионных работников города он выступил с докладом, посвященным новым установкам государственной музейной политики. В протоколе совещания выступление И.А. Орбели резюмировалось, среди прочего, следующим: «Весьма решительно говорит о полной бессистемности и реальной бесплодности политики реализации

на заграничном рынке имущества музеев» [16, с. 52]. Кажется, что и на декабрьской конференции подтекстом соответствующей части выступления И.А. Орбели была все та же проблема. Не упоминаемая напрямую, но понятная для посвященных, она звучала как бы в логике «от противного»: музеи могут быть источником финансовых поступлений, но не посредством продажи их собраний, а через поддержку их научных исследований и издательской работы. В каком-то смысле, и этот призыв «издавать роскошные издания» вскоре будет услышан, и в 1935 г. к Третьему международному конгрессу по иранскому искусству и археологии выйдет подготовленный И.А. Орбели и К.В. Тревер великолепный увраж «Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы», содержащий публикацию одной из важнейших эрмитажных коллекций [См.: 17].

Заключение

Как видим, выступление И.А. Орбели на Ленинградской производственной конференции музейных и экскурсионных работников 1929 г. может рассматриваться как точка схождения целого ряда актуальных проблем отечественного музейного дела первого послереволюционного десятилетия. В нем прозвучали не только те темы, которые эксплицитно обсуждались профессиональным сообществом в его диалоге с властным дискурсом, но и те, которые в силу своего характера (как, например, «музейные распродажи»), напрямую озвучены быть не могли, но составляли важный элемент актуальной повестки. Во многом причиной тому стало уникальное соединение глубокого профессионализма и личной смелости, характерное для И.А. Орбели.

Намеченные в выступлении ученого вопросы остаются актуальными и сегодня. Профессиональное музейное сообщество и сейчас активно обсуждает вопросы отчуждения и мобильности (деацессии) музейных предметов («выделение, а не только поглощение» в терминологии И.А. Орбели) [См., напр., в материалах Международного комитета по музеологии при Международном совете музеев: 18], подготовки музейных кадров [19], прав на воспроизведение элементов музейных коллекций [см. в: 20], профессиональной хранительской психологии [см. интересный подход с позиций психоанализа: 21]. Представляется, что публикация текста этого выступления послужит не только уточнению одного из эпизодов в биографии крупнейшего отечественного ученого и музейного деятеля первой половины XX в., но и дополнит новым материалом актуальные дискуссии в области музеологии.

Текст печатается по машинописи с приведением норм орфографии и пунктуации к современным нормам, имеющиеся на переходах с листа на лист повторы слов и словосочетаний опускаются. Сокращения раскрываются.

Утреннее заседание 11 декабря 1929 г.

ОРБЕЛИ. Товарищи, о недостатках наших музеев говорят очень часто и очень много. Один из главных упреков, которые делаются нашим центральным музеям, сводится к тому, что они представляют собой Левиафана. Это прозвучало вчера и в словах товарища Луппола. Я должен сказать, что быть Левиафаном не так уже и плохо, если говорить о размерах его, не это страшно, не страшно быть таким уж большим, как это чудовище, а страшно быть таким же инертным и сонным, страшно быть проклятым Господом богом, который связал его. И вот от проклятия связанностью традициями и условностями наши музеи должны быть освобождены; тогда их размеры не будут нас страшить. Мы знаем колоссальные, чудовищные организмы, которые, несомненно, жизнеспособнее маленьких организмов. Достаточно сравнить СССР – чудовище по своим размерам – и маленькую Румынию. Я думаю, что все предпочтут первую. Значит, надо что-то такое сделать другое – не размеры уменьшать, а устранить связанность наших музеев традициями. Устранить же эту связанность трудно, но возможно. В целом ряде случаев это придется сделать оперативным путем, оперативным путем придется устранить все те препятствия, которые стоят на пути развития наших музеев, устранить все условности и традиции. Связанность эта заключается в том, что все материалы, которые когда-либо и где-либо могут пригодиться данному музею, непременно им накапливаются. Образуется чудовищный балласт, который мешает работать, который создает параллелизм в работе, создает неразбериху и те нездоровые, невозможные отношения между отдельными музейными

организмами и внутри каждого отдельного организма, которые мы наблюдаем. В результате, одна и та же задача, в одной и той же плоскости ставится параллельно целым рядом учреждений и ни одним из этих учреждений удовлетворительно не разрешается. Вполне понятно, раз мы собираем одни и те же материалы, раз мы исследуем один и тот же предмет, мы вступаем в неизбежную конкуренцию, в соревнование, но не в то социалистическое соревнование, о котором сейчас идет речь, которое основано на желании помочь друг другу, а в такое соревнование, которое характеризуется стремлением утянуть друг у друга тот или иной материал. Конечно, собирание материалов само по себе, накопление их, – не так уж плохо, если это собрание передается куда следует, но весь вопрос в том, что, собирая этот материал, мы должны его усваивать, использовать, а у нас, к сожалению, наблюдается другое явление: музеи у нас поглощают весь материал, не усваивая его. Вы понимаете, что может получиться с организмом, который живет таким способом, а наши музеи в целом ряде случаев живут именно так, поглощая, но ничего не выделяя (я имею в виду те нормальные выделения, которые должны идти на создание новых музеев во всем нашем Союзе). У нас же выделение идет по принципу: выделить столько-то вещей такому-то музею. И у нас выделяют зачастую вещи, не только ненужные данному музею, а вообще ни одному музею ненужные. Классический пример такого выделения – это список погонов и пуговиц таких-то гвардейских полков из музейного фонда в Москве вновь образованному музею в Нальчике¹. И этот список существует, и вещи были выделены, и Нальчикский музей, кабардины его приняли, но вы понимаете, с каким чувством они его приняли. Они вспомнили о Петербурге и отказывались верить, что существует Ленинград. В результате такого рода собирания, в результате параллелизма создается специфический местный патриотизм, который порождает уверенность в своей непогрешимости, в правильности только своей точки зрения, порождает своего рода олимпизм, порождает то положение, что люди не отделяют как-то себя от вещей, начинают думать, что если они хранят великие памятники, богатые коллекции, то они чем-то освящены от этих памятников, и в результате – богатейшие собрания, великолепнейшие вещи совершенно не организованы, совершенно не использованы или почти не использованы так, как их нужно использовать, сохраняя вид каких-то несокрушимых великих памятников, к которым нужно подходить с почтением. Почтения быть не должно там, где мы должны ударять со всей силой, а там, где нужно ударить, мы часто наталкиваемся на сопротивление ни на чем не основанное. Нужно отделить коллекции от людей, а представление о людях, которые собирают и охраняют коллекции, надо отделить от коллекций, и, если это будет сделано, то многие операции станут происходить беспрепятственно и безболезненно.

Мы говорим о реконструкции, а музеи надо упрекать, что они не провели реконструкции, что они до сих пор пребывают в такой стадии, которая уже давно пройдена нашей страной. Ведь идея о ненаучности структуры величайшего из наших музеев – Эрмитажа – это надо сказать к его чести – исходила из самого Эрмитажа². Но что мы видели, когда три года тому назад была подана записка Уполнаркомпросу и в Главнауку, как отнеслись к этому все те люди, которые должны были быть заинтересованы вопросом о ненаучности структуры Эрмитажа, о необходимости коренной ломки этой структуры? Кто пришел на помощь? Три года вопрос мариновался, рассматривался и, наконец, только при помощи Наркомфина через три года он был разрешен. Три года нельзя было уверить людей, что Отдел глиптики всех времен и народов представляет собой ничто иное, как тяжесть из всей той нелепости, которая лежала в основе структуры всех музеев. Эта глиптика могла бы существовать до скончания века, но когда она перестала существовать, все принципиальные возражения, что она должна существовать, отпали, говорилось о том, что надо опять ждать сокращения штатов и т.д. Нельзя винить только музеи, музеи нужно винить, но надо винить также и те органы, которые не оказывают должной поддержки, когда мы видим отсутствие поддержки там, где поддержка должна быть оказана.

Реконструкция невозможна без смены, без расчета на те свежие силы, которые должны занять место старых работников. Но откуда могут черпаться эти новые кадры, этих кадров нет и их не будет, пока не создадутся такие условия, чтобы каждый молодой человек, желающий приступить к изучению той или другой отрасли, связанной с музейным строительством, был уверен, что его силы будут использованы так, как они должны быть использованы. Мы знаем, что молодые люди, прошедшие или заканчивающие высшую школу, подготовляющиеся к музейному делу, служат в музеях, но как вы думаете, в качестве кого они служат? Человек, который печатает свои статьи

в трудах Академии, таскает ящики в одном из музеев Академии, египтолог, у которого имеется целый ряд работ, таскает ящики, то есть выполняет ту работу, которую с успехом мог бы выполнить любой из технических служащих³.

При каких условиях студент может нормально и свободно работать в музеях, какой студент может так работать? Только тот, который учится у служащего в музее своего профессора, а если этого нет, то для него закрыт вход в музей в той мере, как это требуется для того, чтобы закончить работу. Если сейчас в Эрмитаже делается попытка организовать такие кружки, где мог участвовать любой преподаватель, любой профессор и пользоваться теми коллекциями, которые там находятся – такая попытка заслуживает внимания, правда, что выйдет из нее – неизвестно.

Но во всяком случае сейчас связи с музеем у наших студентов не получается, а если ее нет, то значит мы должны как-то ее обеспечить.

В связи с этим встает вопрос, который затрагивал в своем докладе товарищ Чудаков, говоря о подготовке смены – как занимается подготовкой смены Главпрофобр⁴, занимается ли он проработкой самых лучших, точных, продуманных методов обучения и преподавания в высших учебных заведениях, готовящих работников музейного дела? Такого руководства со стороны Главпрофобра нет, руководства методической работой нет, если бы оно было, то не получилось бы тех нелепостей, которые сейчас получаются, не обучались бы молодые люди всем тем надуманным или вчера придуманным вещам, которые нигде не проверены и которым сейчас их обучают. Значит, мы имеем отрыв от высшей школы, разрыв между работой Политпросвета и Главпрофобра, разрыв между работой экскурсоводов и работой в университете.

Наконец, последний вопрос – о научно-исследовательской работе. Этому вопросу было уделено достаточно внимания. И, конечно, правильно, что научно-исследовательская работа, оперативная работа должна быть изъята из музеев потому, что она мешает работать для музея, что она отвлекает. Вы никогда не сможете ученого заставить отказаться от исследовательской работы для того, чтобы придумать лучший способ экспозиции в витринах. Разумеется, все музейные работники должны быть учеными, они должны поддерживать свои знания на определенном научном уровне. Но нужно, чтобы эту свою научную работу они вели в составе научно-исследовательских учреждений, а не в музеях, в музее же постольку, поскольку это нужно для понимания, выявления материалов – а это, конечно, сейчас нужно. Нам, конечно, нужно наши материалы печатать. Я это говорю сейчас здесь не для того, чтобы заниматься ламентациями по поводу непечатания наших материалов, по поводу того, что миллионы рукописей лежат без движения. Я думаю, что никакие миллионы не лежат. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что невозможность печатать наши работы здесь приводит к подрыву нашего материального положения. Дело в том, что часть нашей валюты, и довольно большая часть, уходит из наших рук. Музейные работники ежегодно отправляют за границу с богатейшими иллюстрациями и постепенно, таким образом, наша валюта утекает, потому что за все те предметы, которые находятся у нас, будь они изданы у нас, хотя бы и в виде дорогостоящих книг, мы, несомненно, вытаскивали бы деньги из-за границы в неизмеримо большем размере, чем те 60–80 копеек, которые платят за фотографии. И нужно сказать, что это весьма и весьма отражается на деятельности тех отделений Эрмитажа, которые раньше фотографировались иностранными фирмами и негативы снимков с которых находятся за границей. Эти отделения вовлекаются в европейский научный обиход гораздо меньше, чем те отделения, снимки которых не имеются за границей. Почему? Да потому что нужно быть очень наивным человеком, чтобы думать, что печатание наших работ за границей, особенно посвященных материалам, находящимся в наших музеях, является данью признания европейской наукой наших ученых. Западная наука заинтересована в издании наших материалов и только в виде приложения печатает статьи наших ученых. С этим считаться нужно, ибо это есть определенная утечка валюты за границу, чему должен быть положен предел. Должны быть выделены определенные суммы на то, чтобы издавать у нас роскошные издания, за которые мы сможем получать за каждый советский рубль, истраченный на эти издания, рубль золотом. А все эти суммы нам понадобятся не только на восстановление и реконструкцию наших музеев, но и реконструкцию нашего народного хозяйства. И на это хватит. С этим нужно считаться.

ЦГА СПб. Ф. 6307. Оп. 12. Д. 8. Л. 1–4 об., машинопись

Примечания

1. Об этом см.: [22].
2. См. составленную самим И.А. Орбели записку «о ненаучности структуры музея», поданную в Совет Эрмитажа и датированную 29 января 1927 г. [5, с. 39–49]. Новейшая публикация записки и дискуссии, разгоревшейся вокруг нее в Государственном Эрмитаже, доступна в [7, с. 99–120; 8, с. 73–87].
3. Возможно, имеется в виду Юрий Яковлевич Перепелкин (1903–1982) – советский египтолог, доктор исторических наук (1969). К концу 1929 г. он опубликовал уже три работы [23, с. 68–69; 24, с. 20–21; 25, с. 108–112]. Первые две публикации, действительно, вышли в изданиях АН СССР. С 1927 г. Ю.Я. Перепелкин был сотрудником Музея палеографии (впоследствии – Института истории книги, документа и письма) АН СССР. О нем как научном сотруднике первого разряда и заведующем отдела письма данного музея см.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1933). Д. 31. Л. 1, 5. Впрочем, возможно, речь идет и о Дмитрие Алексеевиче Ольдерогге (1903–1987) – впоследствии члене-корреспонденте АН СССР (1960), крупнейшем советском африканисте, который начинал свою научную работу как египтолог, с 1925 г. служил научным сотрудником второго разряда в Музее антропологии и этнографии РАН/АН СССР и в 1928 г. опубликовал две статьи по египтологии в академических изданиях [см.: 26, с. 97–99; 27, с. 384–394].
4. Главное управление профессионального образования действовало в структуре Наркомпроса РСФСР с 1920 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках / Сост. Е.Ю. Соломаха, Е.М. Яковлева. Екатеринбург: ООО «ПК АСТЕР-ЕК», 2021. 336 с.
2. Каталог Анийского музея древностей / Сост. И. Орбели. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1910. 135 с.
3. Юзбашян К.Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. 1887–1961. 2-е изд., доп. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. 166 с.
4. Журналы заседаний Совета Эрмитажа. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. Ч. II. 1920–1926 годы. 880 с.
5. Иосиф Абгарович Орбели. 1887–1961 гг. Документы и материалы / Сост. Баликян О.С., Саркисян Э.Г.; Ред. А.О. Арутюнян. Ереван: [Б. и.], 1980. 200 с. (Вестник архивов Армении. 1980. № 1 (56)).
6. Ананьев В.Г. К вопросу о периодизации музеологии // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013. № 2. С. 38–42.
7. Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. Границы дисциплинарности и дискуссия о структуре Эрмитажа в связи с запиской И.А. Орбели. Январь – март 1927 г. [Ч. 1] // Исторический архив. 2021. № 5. С. 99–120.
8. Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. Границы дисциплинарности и дискуссия о структуре Эрмитажа в связи с запиской И.А. Орбели. Январь – март 1927 г. [Ч. 2] // Исторический архив. 2021. № 6. С. 73–87.
9. Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. Теория и практика музейного дела в деятельности академика С.Ф. Ольденбурга // Вестник Древней истории. 2019. Т. 79. Вып. 4. С. 1022–1039.
10. Туминская О.А. Антирелигиозная пропаганда в Государственном Русском музее (1922–1939 гг.) // Музей. Памятник. Наследие. 2020. № 1 (7). С. 67–81.
11. Закс А.Б. Всероссийский музейный съезд // Вопросы истории. 1980. № 12. С. 164–167.

REFERENCES

1. Solomakha EYu., Yakovleva E.M. (comps.). *To Save and Preserve. Evacuation of the State Hermitage to the Urals in Documents, Memories, Photographs and Drawings*. Yekaterinburg: PK ASTER-EK, 2021. (In Russ)
2. Orbeli I. (comp.). *Catalogue of the Ani Museum of Antiquities*. St. Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1910. (In Russ)
3. Yuzbashyan K.N. *Academician Iosif Abgarovich Orbeli. 1887–1961*. 2nd ed., suppl. Moscow: Nauka, Main Editorial Board of Oriental Literature, 1986. (In Russ)
4. *Journals of Meetings of the Hermitage Board*. Part II: 1920–1926. St. Petersburg: State Hermitage Publishing House, 2009. (In Russ)
5. Balikyan O.S., Sarkisyan E.G. (comps.). *Iosif Abgarovich Orbeli. 1887–1961. Documents and Materials* / A.O. Arutyunyan (ed.). Yerevan, 1980. (*Herald of the Archives of Armenia*. 1980; (1/56)). (In Russ)
6. Ananiev V.G. On the issue of periodization of museology. *Vestnik of Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts*. 2013; (2): 38–42. (In Russ)
7. Ananiev V.G., Bukharin M.D. Boundaries of disciplinarity and the discussion about the structure of the Hermitage in connection with the memorandum of I.A. Orbeli. January – March 1927. [Part 1]. *Istoricheskiy Arkhiv*. 2021; (5): 99–120. (In Russ)
8. Ananiev V.G., Bukharin M.D. Boundaries of disciplinarity and the discussion about the structure of the Hermitage in connection with the memorandum of I.A. Orbeli. January – March 1927. [Part 2]. *Istoricheskiy Arkhiv*. 2021; (6): 73–87. (In Russ)
9. Ananiev V.G., Bukharin M.D. Theory and practice of museum work in the activities of Academician S.F. Oldenburg. *Journal of Ancient History*. 2019; 79(4): 1022–1039. (In Russ)
10. Tuminskaya O.A. Anti-religious propaganda in the State Russian Museum (1922–1939). *Museum. Monument. Heritage*. 2020; (1/7): 67–81. (In Russ)
11. Zaks A.B. All-Russian Museum Congress. *Voprosy Istorii*. 1980; (12): 164–167. (In Russ)

12. Луппол И.К. Диалектический материализм и музейное строительство: доклад на Первом Всероссийском съезде 1 декабря 1930 г. М.; Л.: ОГИЗ, типография «Пролетарское слово», 1931. 32 с.
13. Цыркина Г.И. Из истории музейного строительства в СССР в 1920–1930-е годы // Античное искусство в советском музееведении. Сборник научных трудов / Науч. ред. Е.В. Мавлеев. Л.: [Б. и.], 1987. С. 6–19.
14. От классиков к марксизму: Совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / [под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона]. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 509 с.
15. Соломаха Е.Ю. Эрмитаж – «Антиквариат». Документы, свидетельства современников // Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи 1928–1929 годов. Архивные документы / Под общей ред. члена-корреспондента РАН М.Б. Пиотровского. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. С. 11–24.
16. Ананьев В.Г. «Перед музеями стоят новые задачи». Совещание музейных работников Ленинграда и музейная политика Главнауки Наркомпроса РСФСР. 1929 г. // Исторический архив. 2024. № 4. С. 44–54.
17. Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные предметы из золота, серебра и бронзы. М.; Л.: Academia, 1935. XLVII с.
18. ICOFOM Study Series. 2010. Vol. 39: Deaccession and Return of Cultural Heritage – A New Global Ethics. Shanghai: ICOFOM, 2010. 242 p.
19. Lorente P.J. The development of museum studies in universities: from technical training to critical museology // Museum Management and Curatorship. 2012. Vol. 27. Pt. 3. P. 237–252.
20. Rights and Reproductions: The Handbook for Cultural Institutions. 2nd ed. / Ed. by A.M. Young. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2019. 404 p.
21. Deloche B. Museologica: contradictions et logique du musée. Paris; Lyon: J. Vrin; Institut interdisciplinaire d'études épistémologiques, 1985. 202 p.
22. Аннаева Ж.М. История поступления художественной коллекции в краеведческий музей Нальчика // Наследие веков. 2018. № 3. С. 53–59.
23. Перепелкин Ю.Я. Цвет Сириуса // Природа. 1929. № 1. С. 68–69.
24. Перепелкин Ю.Я. Фрагмент древнеегипетской надписи XII династии в Музее Палеографии Академии Наук СССР // Доклады Академии наук СССР. Серия В. № 1. М., 1929. С. 20–21.
25. Perepelkin J. Die Aufgabe Nr. 62 des Mathematischen Papyrus Rhind // Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik. Berlin: Springer, 1929. Bd. I. Heft 1. S. 108–112.
26. Ольдерогге Д.А. К организации цехового управления в древнем Египте эпохи Среднего царства // Доклады Академии наук СССР. М., 1928. С. 97–99.
27. Ольдерогге Д.А. Управитель Бурга // Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. 1928. Т. 3. Вып. 2. С. 384–394.
12. Luppul I.K. *Dialectical Materialism and Museum Construction: Report at the First All-Russian Congress on December 1, 1930*. Moscow; Leningrad: OGIZ, Proletarskoye Slovo Printing House, 1931. (In Russ)
13. Tsyorkina G.I. From the history of museum construction in the USSR in the 1920s–1930s. In: Mavleyev E.V. (ed.). *Ancient Art in Soviet Museum Studies. Collection of Scientific Papers*. Leningrad, 1987: 6–19. (In Russ)
14. Arzyutov D.V., Alymov S.S., Anderson D.G. (eds.). *From Classics to Marxism: Conference of Ethnographers of Moscow and Leningrad (April 5–11, 1929)*. St. Petersburg: MAE RAS, 2014. (In Russ)
15. Solomakha E.Yu. The Hermitage – "Antikvariat". Documents, testimonies of contemporaries. In: Piotrovsky M.B. (ed.). *The State Hermitage. Museum Sales of 1928–1929. Archival Documents*. St. Petersburg: State Hermitage Publishing House, 2006: 11–24. (In Russ)
16. Ananiev V.G. "Museums face new tasks". Conference of museum workers of Leningrad and museum policy of Glavnauka of Narkompros of the RSFSR. 1929. *Istoricheskiy Arkhiv*. 2024; (4): 44–54. (In Russ)
17. Orbeli I.A., Trever K.V. *Sasanian Metal. Artistic Objects of Gold, Silver and Bronze*. Moscow; Leningrad: Academia, 1935. (In Russ)
18. *ICOFOM Study Series. Vol. 39: Deaccession and Return of Cultural Heritage – A New Global Ethics*. Shanghai: ICOFOM, 2010.
19. Lorente P.J. The development of museum studies in universities: From technical training to critical museology. *Museum Management and Curatorship*. 2012; 27(3): 237–252.
20. Young A.M. (ed.). *Rights and Reproductions: The Handbook for Cultural Institutions*. 2nd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2019.
21. Deloche B. *Museologica: Contradictions et logique du musée*. Paris; Lyon: J. Vrin; Institut interdisciplinaire d'études épistémologiques, 1985.
22. Appaeva Zh.M. History of the accession of the art collection to the Local History Museum of Nalchik. *Heritage of Centuries*. 2018; (3): 53–59. (In Russ)
23. Perepelkin YuYa. The color of Sirius. *Priroda*. 1929; (1): 68–69. (In Russ)
24. Perepelkin YuYa. Fragment of an Ancient Egyptian inscription of the 12th Dynasty in the Museum of Paleography of the USSR Academy of Sciences. *Reports of the Academy of Sciences of the USSR. Series B*. Moscow, 1929; (1): 20–21. (In Russ)
25. Perepelkin J. Die Aufgabe Nr. 62 des Mathematischen Papyrus Rhind. *Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik*. Berlin: Springer, 1929; 1(1): 108–112.
26. Olderogge D.A. On the organization of guild management in Ancient Egypt during the Middle Kingdom era. *Reports of the Academy of Sciences of the USSR*. Moscow, 1928: 97–99. (In Russ)
27. Olderogge D.A. The steward of Burg. *Notes of the Board of Orientalists at the Asiatic Museum of the USSR Academy of Sciences*. 1928; 3(2): 384–394. (In Russ)

Поступила в редакцию 21.12.2025 г.

Принята в печать 16.02.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 21.12.2025

Accepted 16.02.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223516-529>

Исследовательская статья

Бабаджанов Бахтияр Мираимович
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник
Институт антропологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан;
приглашенный научный сотрудник
Институт востоковедения имени Р. Сулейменова КН МНВО РК, Алматы, Казахстан
bbmir58@gmail.com

Айтжан Шаймерденовна Нурманова
к.и.н., ведущий научный сотрудник
Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова КН МНВО РК, Алматы, Казахстан
aitzhan.nurmanova@gmail.com

Бобровников Владимир Олегович
к.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник
Институт востоковедения РАН, Москва
vladimir_bobrovn@mail.ru

Закарияев Замир Шахбанович
д.и.н., профессор кафедры «Теория и практика перевода»
Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала, Россия
zzakariyev@yandex.ru

СЕРП И МОЛОТ, ПОЛУМЕСЯЦ И ЗВЕЗДА. МУСУЛЬМАНСКИЕ НАДМОГИЛЬНЫЕ СТЕЛЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ЕВРАЗИИ И НА КАВКАЗЕ

Аннотация. Надмогильные сооружения (чаще всего в виде стел и призм) с надписями на мусульманских кладбищах были и остаются наиболее устойчивыми маркерами религиозной и этнической идентичности. Их формы и стили эпитафий на них могли меняться сообразно эпохам и культурным влияниям. Самая символическая эволюция пришлась на советскую эпоху. Перемены того времени вторгались в разные сферы повседневных или циклических практик мусульманских сообществ, в том числе, влияя на визуальный облик надмогильных стел. Нововведения в основном коснулись эпитафий, которые нередко сочетают арабский со шрифтами на основе кириллицы, иногда даже становятся двуязычными (русский и местный, с арабскими формулами). Эти перемены как результат культурного и идеологического разнообразия эпохи остаются в числе малоизученных проблем. Исследователи мусульманских кладбищ и святынь, как правило, воспринимают такого рода визуальные и смысловые метаморфозы надмогильных сооружений как результат естественных и даже банальных перемен, не пытаясь осмыслить их с точки зрения, например, этнолингвистики или культурного симбиоза, социальных и религиозных практик тех обществ, которые, по сути, оказались в пространстве новых политических и идеологических реалий и меняющихся культурных кодов. В этой статье представлены одновременно устойчивые (условно консервативные) формы текстов эпитафий и те образцы, которые доказывают перемены в стилях и языках эпитафий, изменения (сочетания) используемых шрифтов и символики орнаментов. Мы постараемся доказать академическую значимость обозначенной проблемы. Наш основной тезис состоит в том, что эволюция «советского типа» погребальной эпиграфики на мусульманских кладбищах появилась не как результат прямого вторжения идеологии или официальной пропаганды в пространство «визуальной памяти» на мусульманских кладбищах, а как результат добровольного выбора потомков погребённых. Это проявилось, например, в попытках советской унификации как самого обряда захоронений, так и форм надгробий, что стало следствием перемен в культурных и образовательных кодах социума, который выбирал новые символы для декораций, отчасти менял структуры эпитафий, их язык и шрифты на стелах своих предков.

Ключевые слова: Мусульманские кладбища в советскую эпоху; стили мусульманских эпитафий; эволюция шрифтов; символы декораций, культурные вторжения

Для цитирования: Бабаджанов Б.М., Айтжан Ш.Н., Бобровников В.О., Закарияев З.Ш. Серп и молот, полумесяц и звезда. Мусульманские надмогильные стелы советской эпохи в Евразии и на Кавказе // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 516-529. doi.org/10.32653/CH223516-529

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223516-529>

Research paper

Bakhtiyar M. Babadjanov
 Dr. Sci., Prof., Chief Researcher
 Institute of Anthropology of the AS RU, Tashkent, Uzbekistan;
 Visiting Researcher
 R. Suleimenov Institute of Oriental Studies, Almaty, Kazakhstan
bbmir58@gmail.com

Aitzhan Sh. Nurmanova
 Cand. Sci., Leading Researcher
 R. Suleimenov Institute of Oriental Studies, Almaty, Kazakhstan
aitzhan.nurmanova@gmail.com

Vladimir O. Bobrovnikov
 Cand. Sci., Prof., Leading Researcher
 Institute of Oriental Studies of the RAS, Moscow, Russia
vladimir_bobrovnikov@mail.ru

Zamir Sh. Zakariyaev
 Dr. Sci., Prof. of the Department of Translation Theory and Practice
 Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia
zzakariyaev@yandex.ru

HAMMER AND SICLE, CRESCENT AND STAR: MUSLIM FUNERAL STELES OF THE SOVIET ERA IN EURASIA AND THE CAUCASUS

Abstract. Gravestones – most commonly in the form of stelae and prisms – with inscriptions in Muslim cemeteries have been and remain the most resilient markers of religious and ethnic identity. Their forms and epigraphic styles have evolved in response to different historical eras and cultural influences, with the most symbolic transformation occurring during the Soviet period. The shifts of that era permeated various spheres of everyday and cyclical practices within Muslim communities, notably influencing the visual appearance of grave stelae. Innovations primarily affected epitaphs, which frequently combined Arabic script with Cyrillic-based fonts, sometimes even becoming bilingual (combining Russian and local languages with Arabic formulas). These transformations, arising from the cultural and ideological diversity of the era, remain among the understudied topics in the field. Researchers of Muslim cemeteries and shrines generally view such visual and semantic metamorphoses of grave structures as the result of natural or mundane changes, seldom attempting to analyze them through the lens of ethnolinguistics, cultural symbiosis, or the social and religious practices of communities operating within new political and ideological realities and changing cultural codes. This article presents both persistent (conventionally conservative) epitaph text forms and specimens that demonstrate shifts in epitaph styles, languages, scripts, and ornamental symbolism. We aim to substantiate the academic significance of this issue. Our main thesis is that the evolution of the “Soviet-type” funerary epigraphy in Muslim cemeteries emerged not as a result of direct ideological intervention or official propaganda in the “visual memory” space of Muslim cemeteries, but rather as a voluntary choice made by the descendants of the deceased. This was manifested, for instance, in attempts at Soviet unification of both burial rites and tombstone forms – a consequence of shifts in the cultural and educational codes of a society that selected new decorative symbols and partially modified epitaph structures, languages, and scripts on their ancestors’ stelae.

Keywords: Muslim cemeteries in the Soviet era; styles of Muslim epitaphs; font evolution; decorative symbols; cultural interventions

For citation: Babadjanov B.M., Nurmanova A.Sh., Bobrovnikov V.O., Zakariyaev Z.Sh. Hammer and sicle, crescent and star: Muslim funeral steles of the Soviet era in Eurasia and the Caucasus. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 516-529. doi.org/10.32653/CH223516-529

Введение

Обряды погребений и особенно формы погребальных сооружений можно, пожалуй, отнести к медленно эволюционирующей традиции, так или иначе связанной с религиозными предписаниями и консервативными маркерами идентичности. Одновременно типы надмогильных сооружений (в виде разных по форме каменных или мраморных сооружений), стили эпитафий так же изменчивы, как изменчивы и подвижны ритуальные практики и, соответственно, сама идентичность и ее составляющие. Тем более, когда речь идет о смене культурных кодов новых поколений, о развитии теоретического права, которое всегда оставалось на страже «шари'ата» перед «нашествием» 'адата. Исламские погребения советского времени на просторах Евразии и Кавказа не исключение; на них в той или иной степени влияли реалии окружающей среды, что выражалось, например, в типах использованного материала (включая металлические детали или целиком металлические стелы или плиты), в появлении советской символики (полумесяц и звезда в сочетании с частью советской геральдики в виде серпа и молота) на маленьких мавзолеях и стелах (Рис. 1, 2), или в сочетании арабицы и кириллицы в эпитафиях¹, как доминирующем алфавите той эпохи. Сложные и порой болезненные процессы, связанные с секуляризацией в обществе той эпохи, так или иначе отражались на формах надмогильных сооружений на *мазарах*, когда, например, рядом со стелами традиционных образцов стали появляться надмогильные сооружения советского типа, или те, которые теперь принято называть «обелисками в европейском стиле» (с портретами, нетрадиционными узорами и пр.). Исключения, чаще всего, касались собственно церемониала погребения, которое сохраняло все форматы религиозных практик прошлого и оставалось самым надежным маркером «мусульманскости / muslimness» [2, с. 96–97]. Обряды погребений оставались устойчивыми и в некотором смысле изолированными от внешних вторжений, в том

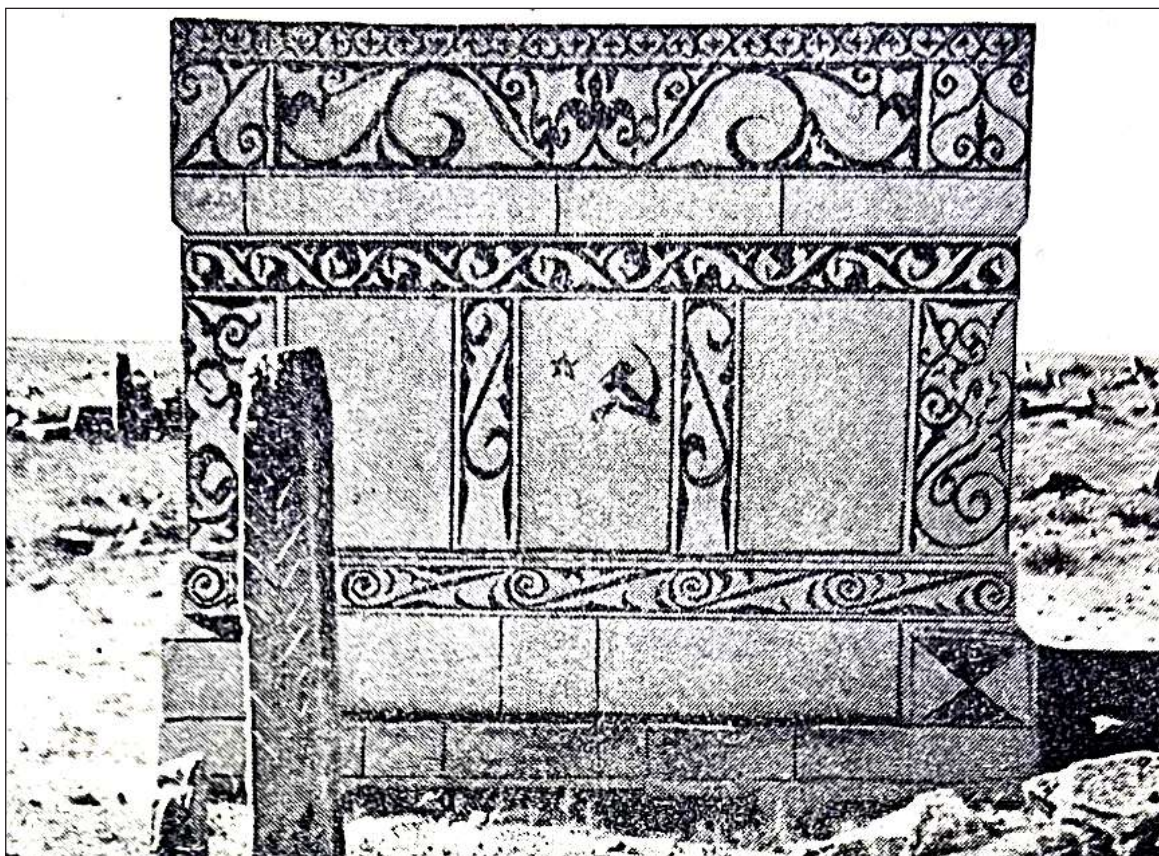


Рис. 1. Мавзолей Айтмана (1897–98 гг.). Возведен в 1936 г. Фото М. Мендыкулова [31, с. 91]

Fig. 1. Aytman Mausoleum (1897–98), erected in 1936. Photo by M. Mendykulov [31, p. 91]

¹ Хотя для Кавказа примеры смешения этих двух шрифтов на надмогильных стелах отмечены и в период Российской империи. Подробнее см.: [1, с. 514].

числе старательно оберегаемыми формами социального дискурса о традициях, ценностях, морали и идентичности у мусульман «южных республик» бывшего СССР [3, с. 2].

Исследователи чаще всего исследуют мемориалы преимущественно в контексте истории и культа мавзолеев «святых персон», выявляя их типологии, формы поклонений, устойчивость их культов в неблагоприятные годы советского режима и т.п. реалии [4, с. 217–238; 5, с. 27–36; 6, с. 92–103; 7]. Однако исследования «округи» культовых мавзолеев, особенно формы и типологии могильных сооружений обычных мусульман, которые стремились быть погребенными подле святых, не проводились.

Дискурс о формах погребений и культов вокруг него имеет солидный исторический бэкграунд и всегда находился на грани обсуждения гармонии или противоречий предписаний и местных обычаев². Иными словами, нормы и ритуалы погребений и особенно формы надмогильных сооружений обсуждались и в среде мусульманских богословов на протяжении многих столетий. Например, в некоторых сочинениях, посвященных описанию правил паломничества к могилам и их локализации, специально оговаривается допустимость погребальных символов на могилах мусульман в виде «каменей», иногда с узорами и надписями. Самый показательный пример – сочинение на персидском языке бухарского автора Му'ина ал-Фукара' *«Китаби Мулла-зада»* (Книга потомка муллы), составленное в 1405 г. На основе ряда аргументов из сунны (хадисов) автор приводит регламент посещения могил и несколько ремарок относительно форм надмогильных сооружений. Автор, со ссылкой на хадисы, допускал, что на могиле «может быть установлен камень», а в память об усопшем написано несколько строк надписей [13, с. 2–4, 6]. Аргументы этого сочинения повторялись в похожей литературе с «инструкциями и конвенциями» о правилах паломничества к могилам (*зийара*), форм надмогильных сооружений и т.п. Интересно, что в раннее советское время эти аргументы повторил в своем сочинении *«Рисала-йи жана'из»* (Книга погребально-поминальных ритуалов) Мешхур Жусип Копейулы (1858–1931), который несколько лет учился в Бухаре (1870–75). Обучение серьезно повлияло на его творчество, в частности на представления о регламенте погребально-поминальных ритуалов, виде могил и т.п. Повторяя упомянутые предписания, автор пишет: *«Нет никакого вреда (предписаниям), если поставить камень у изголовья могилы, а также написать на нем имя усопшего»* [14, с. 133; текст 480а).

Похожие сочинения с регламентацией погребального культа писали улемы Северного Кавказа конца XVII – начала XX в. Одним из первых против чрезмерности в похоронно-поминальных обрядах выступал Мухаммад из Кудутля (ал-Кудуки). Его вклад помнили и ценили даже в Волго-Уральском регионе еще в начале XX в., о чем свидетельствует статья 1914 г. из журнала «Шура», автор которой



Рис. 2. Дагестан. Сел. Зильдик. Могила Аба б. Тур-'Али (уб. в 1931 г.). Фото В. Бобровникова

Fig. 2. Dagestan. Zildik Village. Grave of Aba b. Tur-'Ali (killed in 1931). Photo by V. Bobrovnikov

² Мы оставляем за рамками статьи обсуждения дискуссий в бывших советских республиках (особенно в последние несколько десятилетий) вокруг похоронно-поминальных ритуалов и форм надмогильных сооружений. Дискуссия обрела бурные и даже агрессивные формы с момента вторжения в нее носителей пуристических и глобализированных версий ислама (чаще всего в заимствованных версиях), которые ощущали себя носителями «правильной исламской элитарности», навязывая социуму формы «шари'атских норм» с их точки зрения [8, р. 29; 9, р. 99–124; 10, р. 114; 11, р. 388–391; 12 р. 20].

восхвалял Кудутлинского за борьбу против «нововведений (*бида*)», связанных с ... похоронами, и ... деревней, собирающих подаяния возле могил» [15]. В XIX – первой половине XX в. полемика о правилах *зийара* – посещения могил – продолжалась. Фетвы о ней писали известные правоведы Мухаммад-‘Али ал-Чухи (из Чоха, 1833–1910) [16], суфий и факих советского времени Мухаммад б. Ахмад ал-Бадави из с. Хвартикуни (1917–1992) [17]. Среди дагестанских *‘улама*’ были как осуждавшие «чрезмерный» погребальный культ, так и оправдывавшие его. Так суфий Шу‘айб ал-Багини (1857–1912) в публикации 1925 г. осудил ваххабитов за уничтожение надмогильных стел в Хиджазе [18, с. 83]³.

Тема смерти и ее политическая ритуализация стали, пожалуй, самыми показательными маркерами новой идеологии в раннее советское время. Первые годы советской власти похороны и надмогильная символика менялись, наполняясь пафосом революционной борьбы, однако, обретающей форму не только лозунгов, но и бюрократических постановлений, которые ставили задачу-максимум – облагородить «правильную/пролетарскую смерть» и соответствующие обряды. Однако постановления и «новая обрядность» в массовом порядке не прижились и заделали лишь часть населения [19, с. 103–108; 20, с. 16–17, 37–38, 157–158; 21, с. 205–222]. Идеологический пафос «правильной смерти» и «пролетарского мемориала» постепенно остывал, стандартизировался в среде политической элиты, но не находил широкого отклика у граждан, особенно в «мусульманских окраинах» бывшего СССР; слишком устойчивыми оказались коды культурного наследия мусульман, которые проявлялись во многих сферах социальной жизни [22, р. 33–38]. Попытки секуляризации как обряда погребения и культовых практик, так и надмогильной символики наблюдались и в «мусульманских республиках» (в виде ряда постановлений и подзаконных актов), продолжаясь вплоть до 1970-х годов [19, с. 157–158, 162–164 и далее].

Судя по изученному материалу, а также по результатам исследований, изменения не коснулись собственно похоронной обрядности [23, с. 68–71; 3, р. 2–3; 6, р. 94–97; 24, р. 55–102]. Одновременно визуальная символика (шрифты и язык эпитафий, декорация) сохранялись. Со временем власть старалась проявлять гибкость, например, специальными постановлениями местных органов, предписывая похоронным бюро «соблюдение местных похоронных обычаев», допуская наличие религиозной символики на надгробиях и т.п. [19, с. 159–162].

Авторы этой статьи имеют значительный опыт исследования эпиграфики старых мусульманских кладбищ (*мазаров*). Наш профессиональный фокус на более древнем материале (прежде всего надписях) нередко заслонял не менее важные контексты эволюции *мазаров* и особенно эволюцию «визуальных рядов» на старинных кладбищах, которые функционируют до сих пор. Мы имеем в виду упомянутую трансформацию надмогильных стел, их эпитафии. С какого-то времени пришло понимание, что на эмпирическом уровне эволюция и одновременно консервативность облика части надмогильных сооружений на *мазарах* в советскую эпоху имеет не меньшее значение, в том числе имея в виду «визуальную модерность» части надмогильных стел или сооружений. Иными словами, мусульманские кладбища на разных стадиях советской эпохи нередко становились пространствами смешения традиций, когда часть надгробий можно рассматривать как результат вторжения новых визуальных/культурных маркеров, материала (например, сооруженные из металла, железобетона, искусственных видов гранита), внешнего декора. Рядом с такими надмогильными памятниками соседствовали стелы традиционных (старых) типов, но которые тоже не были свободны от веяний эпохи, особенно в эпитафиях.

Однако мы избегаем сводить эти перемены на мусульманских кладбищах к «интервенции и контролю» власти или «повседневному сопротивлению» ей (в стиле концепций М. Фуко) и считаем недостаточно продуктивным рассматривать их исключительно в контексте дискурсов о формах и степени принуждения государства как доминирующего актора, пытающегося влиять на погребально-поминальные практики. Еще меньше оснований говорить о грубом вторжении государства в формы мемориальной визуализации «новой идеологии» именно на мусульманских кладбищах.

Такого рода глобальные нарративы уместны разве что в изучении периодизации отношения государства к религии (от репрессий и до смягчений и уступок), но преимущественно используя архивные документы, которые готовились либо государством, либо под его влиянием [25, р. 316–317]. Это, например, касается документов Духовных управлений мусульман, чьи фетвы не были свободны от государственной опеки [23, с. 65–68].

3 Авторы благодарны М.К. Алиеву, любезно обратившему их внимание на указанные выше дагестанские сочинения.

Мы полагаем, что такой подход, превратившийся во многих исследованиях в концептуальные стереотипы, не отражает всей полноты картины и не учитывает рефлексию самих «социальных акторов», то есть тех мусульман, у которых даже в советское время обязательно просыпалась «культурная память» (иногда в форме продолженной социальной инерции), когда они сталкивались как с похоронными обрядами (предписанными ритуалами, церемониалом и др.), так и с выбором формы надмогильных стел с их религиозными символами или шрифтами эпитафий. А если к этому добавить влияние неформальных религиозных лидеров (богословов вне духовных управлений, просто знатоков траурной обрядности и иных ритуалов мусульманской повседневности), то формы «акторного институционализма» в сфере религиозной обрядности и практик обретают совершенно иные контуры дискурсивных (в нашем случае религиозных и социальных) подходов. В этих случаях государственное регулирование так или иначе зависело от культурной инерции общественного мнения и оставалось в рамках тех редких прецедентов религиозного поведения, которые властями снисходительно рассматривались как атавизмы «отсталого мышления», однако, без грубого вмешательства.

Именно этот подход мы предпочитаем в наших оценках, сосредоточившись на доминанте социальных акторов, формирующих не просто действия и материальное воплощение памяти на кладбищах или выбирающих традиционное понимание этики и обычаи «отцов и дедов», но материально/визуально воплощающих эти формы коммеморативности через формы надгробий и их надписи, сообразно идеологическим и новым ментальным нарративам и культурным вторжениям. Основной фокус мы сосредоточим именно на тех надгробиях советского времени, которые условно можно отнести к группе «консервативных», как в смысле форм, так и в смысле их эпитафий⁴. В этом наша главная цель. Наши задачи подчинены этой идее, однако будут сосредоточены в основном на описании соответствующего материала святых мест Кавказа и Средней Азии.

Как сказано, эта тема еще не изучена и, конечно, желательно поместить ее в контексты других подходов в изучении ислама в бывшем СССР. Однако рамки статьи ограничены и заставляют нас оставить за ее пределами дискурсивные или, скажем, институциональные контексты и модели воздействия на формы погребальных обрядов, связанных с ритуалами памяти, или переменами на мусульманских кладбищах советского времени, которые в той или иной степени изучены.

Материал. Краткие описания

Погребальная эпиграфика советского периода в «мусульманских республиках» бывшего СССР представляет собой особое культурное явление с отчетливо выраженной конфессиональной принадлежностью, однако, с заметным советским влиянием (как в текстах, так и в символике и декоре). На Северном Кавказе новые стили эпитафий и смешанные «геральдические маркеры» выделяются ко второй половине 1930-х гг. и доживают до конца 1980-х. Судя по собранным нами материалам, среди эпитафий советского XX в. выделяются следующие периоды: 1) конец 1910-х – 1920-е с остатками досоветской традиции и первыми гибридными мусульмано-советскими надписями; 2) 1930-е – начало 1950-х на фоне антирелигиозных гонений и войны; 3) послевоенные «застойные» 1950-е – 1980-е с «институционализированным исламом» муфтиятов; 4) начало «исламского бума» 1980-х – 1990-х. Вероятно, последний нужно также относить к постсоветской мусульманской эпиграфике.

В 1920-е – 1940-е гг. надписи еще во многом похожи на образцы эпохи Российской империи и в особенности «до российского» периода, образцы которых хорошо известны из публикаций [26; 27; 28; 29]. К середине XX в. эпитафии остаются главным, а во многих республиках и краях Северного Кавказа – единственным видом мусульманской эпиграфики региона. Их языки – преимущественно литературный арабский, реже – тюрки, а также все растущий поток надписей на русском и диалектах кавказских и тюркских языков (до конца 1930-х гг. на латинице, позже на кириллице)⁵.

Хороший образец ранней советской эпиграфики представляет собой стела над могилой жертвы кровной мести Аба б. Нур-Али, убитого в 1931 г. (рис. 2). Она стоит на бывшем родовом кладбище

⁴ Конечно, имея в виду, что используемые материалы стел и сочетания шрифтов эпитафий так или иначе менялись.

⁵ Эпитафии на двух языках (билингвы) в арабской графике и на кириллице, с датами по хиджре и юлианскому календарю, появляются здесь еще в последние десятилетия существования Российской империи.

в табасаранском селении Зильдик Хивского района Дагестана. Имя покойного выбито на арабском языке на боковой стенке. Насх, низкий рельеф. На лицевой стороне под серпом с молотом стершаяся эпитафия на табасаранском языке в латинской графике (рис. 2).

Из ранних образцов «классических эпитафий» на арабском языке можно привести в качестве примера написанные на двух прямоугольных плитах, изготовленных в самом начале 1920-х (лезгинское сел. Луткун Ахтынского района Дагестана). Эпитафии краткие, но в стиле строго конфессиональных текстов. Они установлены над могилами братьев (сыновей Ага-Ширина), смерть которых произошла с разницей в семь месяцев: Рахима, (ок. 1864 – 02.10.1921 гг.) и Кули (ок. 1867 – 9.05.1922 гг.). Судя по почеркам (профессиональный насх) и декору, обе стелы изготовлены одним и тем же мастером. Стиль декора обоих памятников близок, хотя на втором (Кули) вместо полумесяца



Рис. 4. Эпитафия Кули, сына Ага-Ширина. 1922 г.
Фото З. Закарияева

Fig. 4. Epitaph of Kuli, son of Aga-Shirin, 1922.
Photo by Z. Zakariyaev



Рис. 3. Эпитафия Рахима, сына Ага-Ширина. 1921.
Фото З. Закарияева

Fig. 3. Epitaph of Rahim, son of Aga-Shirin, 1921.
Photo by Z. Zakariyaev

и звезды (как на первом – Рахима. рис. 3) высечен символ советской геральдики – серп и молот (справа и слева от текста: рис. 4). Можно допустить, что такая разница в идеологических контекстах символов на стелах братьев отражает их идеологические расхождения. Тем не менее, общий конфессиональный контекст эпитафий очевиден.

С 1960-х и позже на мусульманских кладбищах Кавказа частым явлением стали двуязычные эпитафии. Один из характерных примеров – эта эпитафия-билингва (арабско-лезгинская) от 1961 г. (рис. 5), сообщающая о гибели юноши, с указанием обстоятельств гибели (автокатастрофа) и места смерти (кладбище лезгинского селения Лакун Рутульского района, Дагестан).

Характерные позднесоветские эпитафии-билингвы можно видеть в аварском селении Ашильта Унцукульского района Дагестана. На побеленных плитах антропоморфной формы выбит лишь полумесяц со звездой над ним. Имена покойных

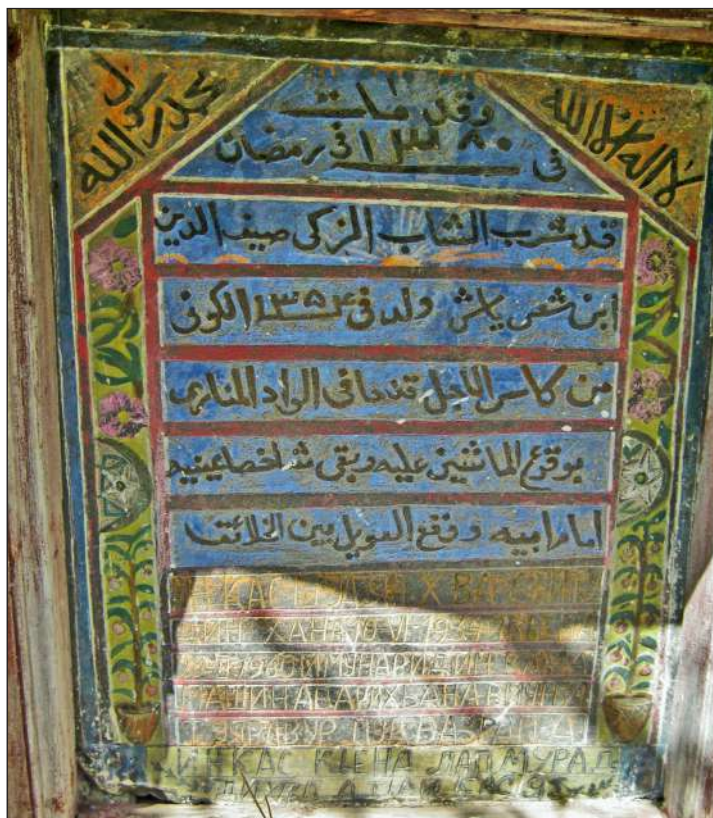


Рис. 5. Эпитафия-билингва (кладбище лезгинского селения Лакун Рутульского района района, Дагестан) Фото З. Закарияева

Fig. 5. Bilingual epitaph (cemetery of the Lezgin village of Lakun, Rutul District, Dagestan). Photo by Z. Zakariyev

вырезаны на металлической табличке с датами смерти сначала на арабском, затем на аварском в кириллице. Слева похоронен Мухаммад-Шапи' (авар. МухIамад ШапиI), сын Хасана (ум. 2.12.1982). Справа – Патимат (авар. ПатIимат / Фатима), дочь Мухаммада (ум. 1982). Следует обратить внимание на характерную советскую манеру писать месяц и день смерти в виде дроби. Почерк – врезной *насах* с ошибками в орфографии арабских имен (рис. 6).

Более сотни подобных надмогильных памятников советского времени мы зафиксировали на *мазарах* Ташкента (Минор, Козиравот, Чорсу), Самарканда (Шахи-Зинда) и в Ферганской долине (Риштан, Ферганская область)⁶. Как правило, памятники 1920–1940-х гг. на исследованных *мазарах* сохраняли арабский шрифт с формулами *басмаллы*, *шахады* и соответствующими цитатами из Корана (чаще всего 3:185; 29:57). Основные языки эпитафий – узбекский, таджикский, иногда татарский. До начала 1940-х гг. доминируют стелы с арабографичными текстами. Однако и в них заметны влияния эпохи, особенно в стилях эпитафий. Символический пример в этом смысле – две стелы у женских могил



Рис. 6. Ашилта, Унцкульский р-н, Дагестан. Мухаммад-Шапи' сын Хасана (слева) и Патимат, дочь Мухаммада (1982 г.). Фото В. Бобровникова

Fig. 6. Ashilta, Untsukul District, Dagestan. Muhammad-Shapi, son of Khasan (left), and Patimat, daughter of Muhammad (1982). Photo by V. Bobrovnikov

⁶ В связи с низким качеством фотографий (снятых в конце 1980-х), они не публикуются в этой статье.

с узбекским (год смерти 1927) и татарским (год смерти 1928) текстами. Оба теста написаны в т.н. «новом стиле» арабского шрифта в тюркских языках (т.н. джадидский алфавит), введенный в качестве официального в УзССР (до 1928). В текст введены знаки пунктуации (точки, запятые, восклицательные знаки). Годы рождений указаны одновременно по хиджре и григорианскому календарю. Стилистика и структура эпитафий меняется. Здесь указываются годы рождения, учебы в школе и т.п. Однако нововведения не изменили общей семантики эпитафий, которые сохранили традиционные, и хорошо знакомые исследователям религиозно-литературные шаблоны («Отправилась она по соизволению Милостивого в Его райские сады ...»; «Соизволением Аллаха, покинула этот тленный мир ...»).

К концу 1940-х гг. годы смерти и рождения в эпитафиях чаще указывались по григорианскому календарю. По облику – это стелы или небольшие квадратные плиты с обязательными полумесяцем и звездой, с формулой *басмаллы*.

С 1950-х и вплоть до конца 1970-х эпитафии на памятниках писались в двух шрифтах – арабице и кириллице. Почерки в арабографичных текстах, как правило, грубые, непрофессиональные, в них часто встречаются ошибки⁷. Эпитафии, обычно, содержали полное имя покойного, профессию и годы рождения и смерти. Знаки пунктуации становятся более регулярными. По форме это стелы или те же квадратные плиты, верхняя часть которых украшалась растительным узором, знаком полумесяца и звезды, иногда в сочетании с серпом и молотом.

В конце 1960-х и с начала 1970-х эпитафии большинства памятников писались в кириллице. Почерки в кириллице ясные, типографского стиля. Это связано с появлением похоронных контор и профессиональных изготовителей надмогильных стел. Формула *басмаллы* в начале эпитафий осталась на большинстве памятников, правда писалась уже грубым почерком.

Со второй половины 1980-х годов арабский шрифт постепенно возвращается в эпитафии, наряду с кириллицей. Почерки в арабском шрифте более профессиональные, явно написанные персонами, которые получили религиозное образование (легальное и нелегальное). Формы варьируют (стелы, прямоугольные или квадратные плиты, обрамленные железной рамкой). Советская геральдика в виде серпа и молота исчезает. Вольно или невольно составители эпитафий вернулись к стилям и стандартам текстов 1920-х годов, хотя тексты с кириллицей сохраняются по сей день.

Что касается казахстанского материала, здесь картина в целом похожая на вышеописанную периодизацию, хотя есть особые случаи и интересные образцы, которые упомянем ниже. В раннее советское время (вплоть до конца 1930-х гг.) сохранялась традиция захоронений в мавзолеях, которые, сообразно веяниям эпохи, оформлялись скромнее, иногда с советской геральдикой (рис. 1). Исследователь этих мавзолеев и традиций изготовления индивидуальных стел и столбов (в том числе и советского времени) М. Мендикулов пишет о сохранении артелей по изготовлению надмогильников (*кулыптас*) вплоть до 1940-х гг. [31, с. 12–16]. Со временем эти артели перестали получать заказы, и к 1940 г. они исчезли совсем. Хотя это произошло не везде – мавзолеи продолжали строить над прахом именитых персон [6, р. 93–101].

Что касается надмогильных стел, начиная примерно с сер. 1930-х гг. появляются железобетонные и металлические (с 1950-х) памятники, которые в той или иной мере сохраняют форму традиционных памятников с округлыми навершиями (рис. 7–11).

Одновременно появляются более скромного размера призматические плиты из тех же материалов (металл и бетон). Наибольшее количество мусульманских кладбищ на территории современного Казахстана были сосредоточены в степных зонах, западных и юго-западных районах. Во время тотального освоения целинных земель в 1954–55 гг. большинство кладбищ и курганов было уничтожено, а надмогильные стелы использованы в качестве стройматериалов [32].

На сегодняшний день лучше всего изучены тексты эпитафий на некрополе Караоткель (Астана). Здесь, как и на некрополях Кавказа, Евразии и Средней Азии, арабская графика в большинстве эпитафий сохранялась почти все советское время (рис. 7–11). Одна из особенностей арабских эпитафий в том, что традиционные арабские фразеологизмы написаны с искажениями, точнее в фонетических формах, которые закрепились в старинных эпитафиях на казахском языке. Кириллица использовалась реже. Еще один устойчивый (традиционный) признак эпитафий на казахских памятниках советского времени – сохранение структуры эпитафий, которые, помимо включения цитат из Корана, содержат

⁷ Исключение составляют надмогильные памятники представителей религиозного сословия, потомки которых, очевидно, сами составляли тексты, либо заказывали знатокам. Описания и чтения сделаны по эстампам.



Рис. 7. Стела из бетона, 1931 г. Некрополь Караоткель (Астана). Покойный Туман сын Касена сына Али. Фото А. Нурмановой

Fig. 7. Concrete stela, 1931. Karaotkel Necropolis (Astana). The deceased Tuman, son of Kasen, son of Ali. Photo by A. Nurmanova



Рис. 8. Стела из бетона, 1955 г. Некрополь Караоткель (Астана). Покойная Мастура дочь Латифа Салихова (супруга Али-Акбара). Фото А. Нурмановой

Fig. 8. Concrete stela, 1955. Karaotkel Necropolis (Astana). The deceased Mastura, daughter of Latif Salikhov (wife of Ali-Akbar). Photo by A. Nurmanova



Рис. 9. Металлическая стела. Некрополь Караоткель (Астана). Покойные Тулеп Ситдыкулы (1950) и Абдурахим Арипулы (1951). Фото А. Нурмановой

Fig. 9. Metal stela. Karaotkel Necropolis (Astana). The deceased Tulep Sitdykuly (1950) and Abdurakhim Aripuly (1951). Photo by A. Nurmanova

личное имя (с упоминанием имени отца, иногда деда и прадеда, до семи и более колен). Обязательно указывается полная родовая принадлежность: род, колено, отделение и т.д. Если покойная женщина, то указывалось имя ее отца и мужа. Кроме года смерти, иногда указывается год рождения (в григорианском летоисчислении) и возраст покойного. Иногда указывалось имя того, кто установил памятник.

Как видно из изложенного материала, эволюция надмогильных знаков и стили их эпитафий в мусульманских регионах бывшего СССР прошли свой, однако во многом схожий, путь эволюции. Визуально прямых политических вторжений, например, по содержанию текстов эпитафий, или символов в декоре, формах надмогильных стел или плит, не наблюдается.

Всесоюзные регламенты по формам надгробий или стел [19, с. 158–192] почти не имели резонанса на мусульманских кладбищах несмотря на то, что росло количество населения с доминированием явно секулярной идентичности.

Больше аргументов могло быть у духовных управлений мусульман в республиках. Однако и для них регламенты по устройству могил оставались как знакомая традиция. Больше известны почти полувековые дискурсы САДУМ о паломничестве к могилам святых (*зийара/зийарат*), либо о борьбе



Рис. 10. Металлическая стела, 1950 г.. Некрополь Караоткель (Астана). Покойный Казыбек сын Шарипа

Fig. 10. Metal stela, 1950. Karaotkel Necropolis (Astana).
The deceased Kazybek, son of Sharip



Рис. 11. Стела из бетона, 1947 г. Некрополь Караоткель (Астана). Покойный Тангиев Магомед (из чеченских депортантов). Фото А. Нурмановой

Fig. 11. Concrete stela, 1947. Karaotkel Necropolis (Astana).
The deceased Tangiev Magomet (among the Chechen deportees). Photo by A. Nurmanova

с «ложным суфизмом» и другими с их точки зрения ритуальными отклонениями [23, с. 64–70; 33, с. 110–112; 34, с. 114–117; 24]. По крайней мере, из сотен документов (фетв, предписаний мечетям и т.п.) Среднеазиатского духовного управления (САДУМ) какого-либо особого регламента по формам надмогильных стел не обнаружено, за исключением одной фетвы 1968 г. на узбекском языке, озаглавленной: «Фетва о состоянии некоторых дел на кладбищах» и подписанной муфтием Зийаудином Бабахановым (муфтий 1957–1982)⁸. Предписания фетвы вполне укладываются в упомянутые выше предписания в сочинениях прошлого. Соответственно, здесь мы находим те же рекомендации: предпочтительность скромного вида могил. Муфтий остерегается от возведения над могилами громоздких конструкций из металла, бетона и мрамора. В качестве знака допускается установка небольшого камня в изголовье могилы.

Заключение

Итак, надмогильные сооружения советского времени кажется самый показательный и визуально красноречивый артефакт, отражающий идеологические и ритуальные колебания общества между

⁸ Архив Управления мусульман Республики Узбекистан. Сборник фетв 1968 года (Июнь–декабрь). Сборник не архивирован, без инв. номера.

собственными традициями, новыми образовательными кодами, неявными предписаниями *улемов* и государственным секуляризмом. Однако момент погребения своих предков и особенно установление надмогильных стел оказывались ключевыми, когда вековые ценности и инерция незабываемых традиций и «правильной памяти» побеждала. Такое редуцирование вековых традиций и коллективной памяти (с одновременным приспособлением к культурным изменениям) в поведение живых и усопших (как их последняя воля) акторов на пространстве *мазаров* еще не вполне исследовано.

Влияние советского государства на погребальную обрядность было осторожным и минимальным, поскольку сама смерть близких, с одной стороны, всегда носит крайне высокий эмоциональный накал, что делает проблемным грубое вторжение; с другой – советская альтернатива «торжественных похорон» – тоже продукт прежней (скорее всего европейской) традиции, которая едва ли могла прижиться в силу имеющейся устойчивой традиции. Эти «новые форматы» едва ли имели шанс быть принятыми, либо стать тотальным маркером «советскости», особенно в мусульманских общинах бывшего СССР.

Одновременно ритуалы и практики погребальных обрядов оставались самой консервативной частью циклических практик в «мусульманских республиках» [3, с. 2–4, 7–10]. Это же касается форм надмогильных стел, которые могли меняться технологически, но сохранять прежние силуэты. Редкий декор мог включать советскую геральдику, которая, скорее, выглядела как результат политической и культурной лояльности.

По крайней мере, в вопросах погребальных ритуалов на мусульманских кладбищах государство сохраняло гетерогенность и известную гибкость (за редкими исключениями), даже в эпоху радикального секуляризма. Еще более изолированными от прямых регламентов государства остались формы надмогильных стел и особенно их эпитафии. На стили и содержание последних влияли образовательные и культурные изменения эпох, поскольку те, кто их устанавливал, и кто был погребен под ними не могли быть свободны от влияний полученного ими образования и вторжения в их сознание новых культурных кодов.

Это наблюдение справедливо и в отношении формы самих могил, которые оставались и остаются неизменными на протяжении многих столетий (конечно, имея в виду устоявшиеся локальные формы – с подбоем/*лахад*, либо в виде сводчатых сооружений/*сагана*, надмогильников с труположениями). Однако новые материалы и технологии неизбежно расширяли возможности визуального оформления надмогильных сооружений.

Оформление внешнего вида надмогильных сооружений вполне можно отнести к завершающей стадии практик поминовения, то есть к визуальному выражению уважения к памяти умершего. С точки зрения религиозных традиций, эти практики так или иначе становились и становятся в последние десятилетия предметом агрессивных нападок носителей пуристических версий ислама, как обычно, манипулирующими понятиями о «чистом исламе». Однако этот конфликт вновь неизбежно встретит сопротивление личных представлений людей о традиции, социальной иерархии, о почитании предков, уважения к их мудрости и осведомленности в исламе и подобных нормах религиозной, социальной и личной этики. Тем более что сама традиция в виде надмогильных стел или призм («сундуков») на старинных кладбищах (часто действующих поныне), либо над могилами почитаемых святых всегда пред глазами. Следовательно, у «религиозных реформаторов» нового поколения шансы «дезавуировать» еще один «неправильный адат» не так велики.

Благодарность. Статья выполнена в рамках научно-исследовательских работ Института антропологии АН РУз, а также проекта грантового финансирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан по теме «Значение памятников культуры в изучении интеллектуальной истории (на материале эпиграфических материалов некрополей Акмолинской области)» (ИРН: AP26198545).

Acknowledgements. This study was carried out within the research framework of the Institute of Anthropology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, as well as under the grant funding project of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan titled “The Significance of Cultural Monuments in the Study of Intellectual History (Based on Epigraphic Materials from Necropolises of Akmola Region)” (IRN: AP26198545).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ярлыкпав А.А. Кладбища (мезар) кубанских ногайцев как исторический источник // Народы Кавказа в XVIII–XXI вв. история, политика, культура. Материалы XI Международного Форума историков-кавказоведов, посвященного 100-летию принятия первой союзной Конституции и образования Северо-Кавказского края. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2024. С. 511–518.
2. Privratsky Bruce G. *Muslim Turkestan*. Richmond, Surrey: Curzon, 2001. – 321 p.
3. Dağyeli Jeanine. How to do a Burial Right: Negotiations of Identity, Religious Practice and the State // *Archiv Orientální*. 2015. 83 (1). Pp. 1–30.
4. Абашиш С.Н. Вопреки «здравому смыслу»? К вопросу о «рациональности/иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии // Евразия. Люди и мифы / Сост. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 217–238.
5. Muminov Ashirbek. Sacred Places in Central Asia: Attempts at Their Historical and Theological Interpretation // *Muslim saints and mausoleums in Central Asia and Xinjiang*. Ed. by Yasushi Shinmen, Minoru Sawada, Edmund Waite (dir.). Paris: Maisonneuve, 2013. Pp. 27–36.
6. Ohayon Isabelle. The making of new Kazakh sacred places in Soviet Kazakhstan during the 1960s and the 1970s // *Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time*. Nur-Sultan, 2020. Pp. 93–101.
7. Grant Bruce. Shrines and Sovereigns: Life, Death, and Religion in Rural Azerbaijan // *Comparative Studies in Society and History*. 2011. 53(3). Pp. 654–681.
8. Bobrovnikov V. Post-Socialist Forms of Islam. Caucasian Wahhabis // *ISIM Newsletter*. 2001. No. 7. P. 29.
9. Rasanayagam Johan. “I am Not a Wahhabi”: State Power and Muslim Orthodoxy in Uzbekistan” // *The Postsocialist Religious Question. Faith and Power in Central Asia and East-Central Europe*. Ed. by Chris Hann and the “Civil Religion” Group. Berlin: LIT, 2006. Pp. 99–124.
10. Stephan Manja. *Das Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Moralerziehung, Islam und Muslimsein in Tadschikistan zwischen Säkularisierung und religiöser Rückbesinnung*. Bukh: Trescher Verlag, 2010. – 332 S.
11. Bobrovnikov V. Withering Heights. The re-Islamisation of a Kolkhoz Village in Dagestan: A Micro-History // *Allah's Kolkhozes. Migration, De-Stalinisation, Privatisation and the New Muslim Congregations in the Soviet Realm (1950s-2000s)*. Ed. by Stéphane A. Dudoignon, Christian Noack. Berlin: Klaus Schwarz, 2014. Pp. 367–397.
12. Darieva Tsypylma. Between ‘Great’ and ‘Little’ Traditions? Situating Shia Saints in Contemporary Baku // *Sacred Places, Emerging Spaces. Religious Pluralism in the Post-Soviet Caucasus*. Ed. by Tsypylma Darieva, Florian Mühlried, and Keven Tuite. New York, London: Berghahn, 2018. Pp. 19–45.
13. Му’ин ал-Фукара’. *Китаби Мулла-заде* (литография). Коган (Бухара), 1905.
14. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. *Рисала-йи жанаиз* (Жаназа Китабы) (Книга поминальных ритуалов) / Подготовка к печати: Х.И. Назиров, Г.Б. Ысқаков. Алматы: Алтын парак, 2024. – 312 с.
15. Кудуки. Дагестанлы машхур бир ‘алим // *Шура*. 16 сәфара 1332 / 1 января 1914. № 1. С.1–2. (на татарск. яз.).
16. Ал-Чухи Мухаммад-‘Али. *Фатава ал-Чухи*. Бахчисарай: Тержиман, 1902. – 366 с.
17. Ал-Хвартикунни Мухаммад б. Ахмад ал-Бадави. *Фатава ал-Хвартикунни*. б.м., б.г. – 310 с.
18. Наврузов А.Р. «Байан ал-хакаик» – журнал ученых арабистов Дагестана первой трети XX в. // *Исламоведение*. 2011. № 3. С. 82–93.
19. Мальшиева С.Ю. «На миру красна» инструментализация смерти в Советской России. М.: Новый хронограф, 2019. – 458 с.

REFERENCES

1. Yarlykapov AA. Cemeteries (mezar) of the Kuban Nogais as a historical source. *Peoples of the Caucasus in the 18th–21st centuries: history, politics, culture. Proceedings of the XI International Forum of Caucasian Historians, dedicated to the 100th anniversary of the adoption of the first Union Constitution and the formation of the North Caucasus Krai*. Rostov-on-Don: SFU, 2024: 511–518. (In Russ)
2. Privratsky Bruce G. *Muslim Turkestan*. Richmond, Surrey: Curzon, 2001.
3. Dağyeli Jeanine. How to do a burial right: negotiations of identity, religious practice and the state. *Archiv Orientální*. 2015; 83(1): 1–30.
4. Abashin SN. Contrary to “common sense”? On the question of the “rationality/irrationality” of ritual expenses in Central Asia. *Eurasia. People and myths*, ed. by S.A. Panarin. Moscow: Natalis, 2003: 217–238. (In Russ)
5. Muminov Ashirbek. Sacred places in Central Asia: attempts at their historical and theological interpretation. *Muslim saints and mausoleums in Central Asia and Xinjiang*, ed. by Yasushi Shinmen, Minoru Sawada, Edmund Waite (dir.). Paris: Maisonneuve, 2013: 27–36.
6. Ohayon Isabelle. The making of new Kazakh sacred places in Soviet Kazakhstan during the 1960s and the 1970s. *Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time*. Nur-Sultan, 2020: 93–101.
7. Grant Bruce. Shrines and sovereigns: life, death, and religion in rural Azerbaijan. *Comparative Studies in Society and History*. 2011; 53(3): 654–681.
8. Bobrovnikov V. Post-socialist forms of Islam. Caucasian Wahhabis. *ISIM Newsletter*. 2001; 7: 29.
9. Rasanayagam Johan. “I am not a Wahhabi”: state power and Muslim orthodoxy in Uzbekistan. *The Postsocialist Religious Question. Faith and Power in Central Asia and East-Central Europe*, ed. by Chris Hann and the “Civil Religion” Group. Berlin: LIT, 2006: 99–124.
10. Stephan Manja. *Das Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Moralerziehung, Islam und Muslimsein in Tadschikistan zwischen Säkularisierung und religiöser Rückbesinnung*. Bukh: Trescher Verlag, 2010.
11. Bobrovnikov V. Withering heights. The re-Islamisation of a kolkhoz village in Dagestan: a micro-history. *Allah's Kolkhozes. Migration, De-Stalinisation, Privatisation and the New Muslim Congregations in the Soviet Realm (1950s-2000s)*, ed. by Stéphane A. Dudoignon, Christian Noack. Berlin: Klaus Schwarz, 2014: 367–397.
12. Darieva Tsypylma. Between ‘great’ and ‘little’ traditions? Situating Shia saints in contemporary Baku. *Sacred Places, Emerging Spaces. Religious Pluralism in the Post-Soviet Caucasus*, ed. by Tsypylma Darieva, Florian Mühlried, and Keven Tuite. New York, London: Berghahn, 2018: 19–45.
13. Mu’in al-Fuqara’. *Kitab-i Mulla-zade* (lithograph). Kagan (Bukhara), 1905.
14. Mäshhür Zhüsip Köpeiuly. *Risala-yi jana’iz (Janaza Kitab-y) (Book of funeral rituals)*. Prepared for print by Kh.I. Nazirov, G.B. Yskaqov. Almaty: Altyn paraq, 2024.
15. Kuduki. Dagestan’s famous scholar. *Shura*. January 1, 1914; (1): 1–2. (in Tatar).
16. Al-Chukhi Muhammad-‘Ali. *Fatawa al-Chukhi*. Bakhchysarai: Terjiman, 1902.
17. Al-Khwartikuni Muhammad b. Ahmad al-Badawi. *Fatawa al-Khwartikuni*. n.p., n.d.
18. Navruzov AR. “Bayan al-Haqa’iq” – journal of Arabist scholars of Dagestan in the first third of the 20th century. *Islamo-vedenie*. 2011; (3): 82–93. (In Russ)
19. Malysheva S.Yu. “Beautiful in public”: instrumentalization of death in Soviet Russia. Moscow: Novyy khronograf, 2019. (In Russ)

20. Мальшиева С.Ю. «Хорошая смерть» в некрологическом дискурсе первых советских десятилетий // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований / Под ред. Л.Н. Мазур. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. С. 103–110.
21. Савин А.И., Тепляков А.Г. «Красные похороны». Новая похоронная обрядность в молодой Советской России // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13, № 3. Ч. 1. С. 205–228.
22. Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 2007. – 259 p.
23. Бабаджанов Б. О фетвах САДУМ против 'неисламских' обычаев // Ислам на постсоветском пространстве. Взгляд изнутри / Сост. М. Олкотт, А. Малащенко (изд.). М.: Art Biznes Centr, 2001. С. 65–68.
24. Kemper M., Shikhaliev Sh. Administrative Islam: Two Soviet Fatwas from the North Caucasus // Islamic Authority and the Russian Language: Studies on Texts from European Russia, the North Caucasus and West Siberia / Ed. by Alfrid K. Bustanov and M. Kemper. Amsterdam: Pegasus, 2012. Pp. 55–102.
25. Sartori P. Towards a History of the Muslims' Soviet Union: A View from Central Asia // Die Welt des Islams. 2010. Vol. 50. Pp. 315–334.
26. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках / Тексты, пер., коммент., введ. и прилож. Л.И. Лаврова. Ч. 1–3. М.: Наука, 1966, 1968, 1980. – 261, 242, 168 с.
27. Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана XXVII вв. как исторический источник. М.: Наука, 1984. – 464 с.
28. Сынтастар. Надмогильные стелы Ногайской степи / Сост. В.О. Бобровников, В.А. Коренько, фото Е.И. Желтов. М.: Изд. дом Марджани, 2016. – 672 с.
29. Закарияев З.Ш. Мусульманская эпиграфика Южного Дагестана. Т. I. Надписи Ахтынского района. М.: Наука; Восточная литература, 2025. – 543 с.
30. Бобровников В.О., Чмилевская И.А. Сплетенные нарративы меняющейся мусульманской агиографии: советский юродивый постсоветского Южного Дагестана // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2023. Т. 41. № 3–4. С. 87–119.
31. Мендикулов М.М. Памятники архитектуры полуострова Мангышлак и Западного Устьюрта. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1956. – 55 с.
32. Нурманова А.Ш. Памятники культуры казахов как форма хранения и передачи духовного наследия (на основе эпиграфических памятников) // Материалы международного научного семинара «Локальные религиозные верования в Центральной Азии». Алматы: Издательский дом «Мир», 2017. С. 88–100.
33. Sartori P., Babadjanov B. Being Soviet, Muslim, Modernist, and Fundamentalist in 1950s Central Asia // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2021. 72. Pp. 108–165.
34. Бабаджанов Б., Сартори П. У истоков советского дискурса о «хорошем исламе» в Центральной Азии // Ab Imperio. 2018. № 3. С. 219–255.
35. Бабаджанов Б.М., Медерова Д.Е. «В мир иной со своими припасами». Визуальные символы на надмогильных сооружениях мусульманских святых Евразии и Кавказа // История, археология и этнография Кавказа. 2025. Т. 21. № 3. С. 438–455.
36. Медоев А. Камень и эстетика кочевников // Кочевники. Эстетика (познание мира традиционным казахским искусством). Алматы: Гылым. 1993. С. 237–263.
- Russ)
20. Malysheva SYu. "Good death" in the obituaries discourse of the first Soviet decades. *The era of socialist reconstruction: ideas, myths and programs of social transformations*, ed. by L.N. Mazur. Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2017: 103–110. (In Russ)
21. Savin AI., Teplyakov AG. "Red funerals": new funeral rites in young Soviet Russia. *Ideas and Ideals*. 2021; 13(3-1): 205–228. (In Russ)
22. Khalid A. *Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 2007.
23. Babadjanov B. On SADUM's fatwas against 'non-Islamic' customs. *Islam in the post-Soviet space: an inside view*. Comp. by M. Olcott, A. Malashenko (eds.). Moscow: Art Biznes Centr, 2001: 65–68. (In Russ)
24. Kemper M., Shikhaliev Sh. Administrative Islam: two Soviet fatwas from the North Caucasus. *Islamic Authority and the Russian Language: Studies on Texts from European Russia, the North Caucasus and West Siberia*, ed. by Alfrid K. Bustanov and M. Kemper. Amsterdam: Pegasus, 2012: 55–102.
25. Sartori P. Towards a history of the Muslims' Soviet Union: a view from Central Asia. *Die Welt des Islams*. 2010; 50: 315–334.
26. *Epigraphic monuments of the North Caucasus in Arabic, Persian, and Turkish languages*. Texts, trans., comm., introd., and append. by L.I. Lavrov. Pts. 1–3. Moscow: Nauka, 1966, 1968, 1980. (In Russ)
27. Shikhsaidov AR. *Epigraphic monuments of Dagestan of the 10th–17th centuries as a historical source*. Moscow: Nauka, 1984. (In Russ)
28. Syntaslar. *Tomb steles of the Nogai steppe*. Comp. by V.O. Bobrovnikov, V.A. Korenyako, photos by E.I. Zheltov. Moscow: Mardjani Publishing House, 2016. (In Russ)
29. Zakariyev ZSh. *Muslim epigraphy of Southern Dagestan*. Vol. I: Inscriptions of the Akhty district. Moscow: Nauka; Vostochnaia Literatura, 2025. (In Russ)
30. Bobrovnikov VO., Chmylevskaya IA. Entangled narratives of changing Muslim hagiography: a Soviet holy fool in post-Soviet Southern Dagestan. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*. 2023; 41(3-4): 87–119. (In Russ)
31. Mendikulov MM. *Architectural monuments of the Mangyshlak peninsula and Western Ustyurt*. Alma-Ata: Publishing House of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, 1956. (In Russ)
32. Nurmanova ASh. Cultural monuments of Kazakhs as a form of storage and transmission of spiritual heritage (based on epigraphic monuments). *Materials of the international scientific seminar "Local Religious Beliefs in Central Asia"*. Almaty: Mir Publishing House, 2017: 88–100. (In Russ)
33. Sartori P., Babadjanov B. Being Soviet, Muslim, modernist, and fundamentalist in 1950s Central Asia. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 2021; 72: 108–165.
34. Babadjanov B., Sartori P. At the origins of the Soviet discourse on "good Islam" in Central Asia. *Ab Imperio*. 2018; (3): 219–255. (In Russ)
35. Babadjanov BM., Mederova DE. "To the other world with one's own supplies": visual symbols on the grave structures of Muslim shrines in Eurasia and the Caucasus. *History, Archaeology and Ethnography of the Caucasus*. 2025; 21(3): 438–455. (In Russ)
36. Medoev A. Stone and the aesthetics of nomads. *Nomads. Aesthetics (knowledge of the world through traditional Kazakh art)*. Almaty: Gylym, 1993: 237–263. (In Russ)

Поступила в редакцию 05.03.2026 г.

Принята в печать 18.04.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Received 05.03.2026

Accepted 18.04.2026

Published 30.09.2026 g.

АРХЕОЛОГИЯ

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223530-546>



Исследовательская статья

Выборнов Александр Алексеевич
доктор исторических наук, профессор
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
vibornov_kin@mail.ru

Гилязов Филат Фаритович
научный сотрудник
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
filatgiljazov12@gmail.com

Дога Наталья Сергеевна
кандидат исторических наук, старший преподаватель
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
natalidoga@yandex.com

Кудашов Александр Сергеевич
старший преподаватель
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
aleksandr.kudashov@gmail.com

Сомов Анатолий Владимирович
старший преподаватель
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
somov.tolya@gmail.com

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТАСКУДУК В 2025 ГОДУ

Аннотация. В статье вводятся в научный оборот и анализируются материалы раскопок 2025 г. стоянки Таскудук в Северном Прикаспии. Были исследованы остатки жилищной конструкции подпрямоугольной формы около 24 кв. м и глубиной около 40 см. Зафиксированы очаг и яма. Внутри объекта обнаружена керамика, изготовленная из ила с примесью раковин моллюсков и органического раствора. Днища сосудов плоские, иногда большой толщины. По толщине они разделяются на тонкие, средние и крупные. Несколько экземпляров несут на внутренней поверхности штриховку зубчатым инструментом. Кроме банок и горшков обнаружены низкие овальной формы сосуды. Верхние части сосудов прямые, профилированные и прикрытые. На внутренней стороне нескольких венчиков расположен наплыв. По плоскому или овальному срезу расположены насечки. Орнамент нанесён в отступающей технике наколами овальной, треугольной и прямоугольной формы. Неорнаментированные сосуды единичны. Оригинальны сдвоенные наколы и ямчатые вдавления. Узоры расположены на верхней и средней частях поверхностей. Композиции состоят из сочетания горизонтальных и наклонных рядов, вертикальных зигзагов, волнистых линий, меандров. Каменный инвентарь состоит из кремнёвых изделий, заготовками которым были преимущественно отщепы. Среди категорий орудий выделяются концевые, боковые, округлые скребки на отщепах, симметричные и с плечиками острия, пластины с ретушью, тёрочки и песты, микролиты. Последние представлены трапециями со струганной спинкой. Найдено три костяных острия. По совокупности технико-типологических признаков данные материалы находят аналогии в комплексах тентексорского типа позднего неолита Северного Прикаспия. Археозоологическим анализом определены только недоместицированные виды животных: сайга, тур, кулан, тарпан и др. По результатам радиоуглеродного анализа, проведённого по костям кулана, время бытования стоянки допустимо определить около 6200 лет ВР.

Ключевые слова: Северный Прикаспий; поздний неолит; керамика; каменные орудия; жилище; микролиты; радиоуглеродные даты

Для цитирования: Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф., Дога Н.С., Кудашов А.С., Сомов А.В. Итоги изучения стоянки Таскудук в 2025 году // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 530-546. doi.org/10.32653/CH223530-546

ARCHEOLOGY

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223530-546>

Research paper

Aleksandr A. Vybornov
Dr. Sci., Prof.
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
vibornov_kin@mail.ru

Filat F. Gilyazov
Researcher
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
filatgilyazov12@gmail.com

Natalya S. Doga
Cand. Sci., Senior Lecturer
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
natalidoga@yandex.com

Aleksandr S. Kudashov
Senior Lecturer
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
aleksandr.kudashov@gmail.com

Anatoly V. Somov
Senior Lecturer
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
somov.tolya@gmail.com

RESULTS OF THE EXCAVATIONS AT THE TASKUDUK SITE IN 2025

Abstract. The article introduces into scientific discourse and analyzes materials from the 2025 excavations at the Taskuduk site in the Northern Caspian region. The remains of a sub-rectangular dwelling structure measuring approximately 24 square meters and about 40 centimeters in depth were investigated. A hearth and a pit were documented. Inside the feature, pottery was discovered made of silt mixed with crushed mollusk shells and organic temper. The vessels have flat bases, occasionally of considerable thickness. Based on wall thickness, they are categorized into thin, medium, and thick. Several specimens exhibit comb-toothed scraping marks on their inner surfaces. In addition to jars and pots, low oval-shaped vessels were recovered. The upper parts of the vessels are straight, profiled, or inverted. An interior rim ledge is present on several rims. Notches are placed along flat or rounded rim edges. The ornamentation was executed using a comb-stamped, dragged-pitted technique with oval, triangular, and rectangular impressions. Undecorated vessels are rare. Paired punctures and pit impressions are particularly distinctive. Patterns are located on the upper and middle portions of the vessel surfaces, with compositions comprising combinations of horizontal and slanted rows, vertical zigzags, wavy lines, and meanders. The stone artifact assemblage consists of flint items made predominantly on flakes. Tool categories include end scrapers, side scrapers, and circular scrapers on flakes, symmetrical points, tanged points, retouched blades, grinding stones, pestles, and microliths. The latter are represented by backed trapezes. Three bone points were also recovered. Based on the totality of technical and typological features, these materials find parallels in late Neolithic Tenteksor-type complexes of the Northern Caspian region. Archaeozoological analysis identified exclusively non-domesticated animal species: saiga, aurochs, kulan, tarpan, among others. According to radiocarbon analysis performed on kulan bones, the occupation period of the site can be dated to approximately 6200 years BP.

Keywords: Northern Caspian region; Late Neolithic; pottery; stone tools; dwelling; microliths; radiocarbon dates

For citation: Vybornov A.A., Gilyazov F.F., Doga N.S., Kudashov A.S., Somov A.V. Results of the excavations at the taskuduk site in 2025. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 530-546. doi.org/10.32653/CH223530-546

Введение

Памятники неолита на территории Северного Прикаспия не столь многочисленны по сравнению с другими территориями. Наиболее представительной стоянкой до последнего времени являлся Тентексор, материалы которого и стали основой для характеристики позднего неолита интересующей территории [1, с. 6–31]. Однако разработка ряда вопросов на материалах одного памятника оказалась затруднительной. Так, например, небольшое количество каменного инвентаря в материалах стоянки Тентексор не позволило дать полную характеристику каменной индустрии позднего неолита в регионе. А ограниченная выборка костей животных не давала объективного представления о составе промыслового стада. Поэтому изучение каждого нового пункта представляет научную новизну. Тем более научно значимым является объект с сохранившимся культурным слоем и остатками жилища. Именно такой является стоянка Таскудук, находящаяся в 13 км к востоку от с. Хошеутово в Харабалинском районе Астраханской области. Она расположена на барханной площадке, возвышающейся над сором (древним озером, занесённым песком). Судя по предшествующим данным, материалы интересующего комплекса по совокупности типологических и технологических показателей, а также результатам радиоуглеродного датирования, могут быть отнесены к тентексорскому типу позднего неолита полупустынной части Волго-Уралья. В то же время, результаты каждого сезона приносили новую информацию. Так, материалы раскопа 2022 г. позволили обнаружить кроме характерных находок культурный слой *in situ*, специфику распространения слоя, венчики с наплывами, оригинальные орнаментальные композиции, микроскребки, фрагменты от сосуда прикаспийской культуры с симбиотичным способом нанесения орнамента, артефакт с признаками сверления [2, с. 25–37]. Во второй год изысканий проявились площадки с концентрацией находок, сосуды с новыми узорами, пришлифованное тесло, скошенные острия, комбинированные орудия, кости домашней овцы [3, с. 203–216]. Третий сезон принёс информацию о первых признаках сооружения, оригинальных сосудах, уникальную костяную подвеску, серию дат [4, с. 46–57]. Всё это послужило основанием для проведения раскопок в 2025 г.

Планиграфия и стратиграфия

Раскоп 2025 г. был прирезан к южной части раскопа 2024 г. с целью накрыть остатки жилого сооружения. Поверхность раскопа имела плавное понижение к востоку. Его площадь составила 28 кв.м (рис. 1). Литология отложений следующая: слой 1 – мелкозернистый золотистый песок желто-коричневого цвета мощностью от 0,2 до 0,35 м. Затем прослежен слой 2: темно-серый песок уплотнённой консистенции мощностью от 0,1 до 0,15 м с мелкими обломками костей животных. Ниже расположен слой 3 – плотный светло-коричневый песок, разделяющий верхние слои от заполнения жилища, мощностью до 0,10 м. Эти наслоения были выявлены при выборке пластов 1–5. Начиная с пласта 6, в жилом сооружении прослежен слой (4) плотного темно-серого песка, насыщенного фрагментами костей, мощностью от 0,1 до 0,2 м. Именно в нём, пластах 6–9, обнаружены артефакты, чётко концентрирующиеся в остатках жилой конструкции. Ниже пола жилища залегал плотный светло-желтый песок (материк) (рис. 2). Находки были приурочены к слою темно-серого песка. Очертания остатков конструкции были зафиксированы на уровне 2 пласта (рис. 2). Они имели подпрямоугольную форму размерами 6 на 3,5 м. Кроме сооружения выявлены очажная яма и яма № 1. В первой обнаружено 9 неорнаментированных стенок, два венчика (один с нагаром) и две стенки от одного сосуда и одна верхняя часть от второго горшка. Первый венчик от сосуда, который обнаружен в культурном слое (рис. 4, 6), а второй от сосуда из части жилища, прослеженного в раскопе 2024 г. [4, с. 50, рис. 4]. Каменные артефакты из матового кремня серого цвета со следами пребывания в огне представлены скребком, остриём и трапезией со струганной спинкой. Таким образом, данный объект относится к неолитическому времени. Сходное по конфигурации, размерам и глубине жилище было изучено на стоянке Тентексор [1, с. 8–9]. Верхний контур жилища вплотную подходил к стенкам раскопа. Поэтому почти все артефакты приурочены к остаткам сооружения. После снятия слоя (1) наносного барханного песка (пласт 1) в проявившемся культурном слое (2) (пласт 2) найдено несколько фрагментов керамики, часть от которых была обнаружена в предыдущих раскопах (рис. 3, 6; 4, 5) и их принадлежность к остаткам постройки

неочевидна. Кроме того, есть черепки от одного сосуда, которые обнаружены в разных пластах (3, 7, 9) жилища (рис. 3, 7; 5, 1, 9). От сосуда из 3 пласта (рис. 3, 9) есть стенка в 7. В пласте 7 найден черепок, аналогичный экземпляру из раскопа 2022 г., а в 6 пласте одна стенка от сосуда из раскопок 2023 г. Такие прецеденты известны и в жилищах других памятников неолита Северного Прикаспия [5, с. 147; 6, с. 147–152]. Что касается распределения по глубинам, то во 2–6 пластах выделено от 3 до 5 отдельных сосудов в каждом, а в 7 пласте 10. Большое количество каменного инвентаря в пласте 1 (22 экз.) и в пласте 2 (14 экз.) может объясняться перемещением находок как по поверхности участка, так и на глубину 10 см в результате природных факторов. В пластах 3, 4, 5 каменных изделий по количеству соответственно 6 и 7 – по 20 экземпляров суммарно. С пласта 6 и 7 прослеживается увеличение (11 и 10 экз.), а основная концентрация (50 экз.) фиксируется на дне жилища (пласты 8 и 9). Относительно находок за пределами контуров жилища, то они весьма немногочисленны.

Керамический инвентарь

В раскопе 2025 г. обнаружено 187 фрагментов керамики: 41 венчик и 146 стенок. На основе технико-технологического анализа, проведённого И.Н. Васильевой, сделан вывод о том, что посуда сделана из жирного ила с естественной примесью раковин пресноводных моллюсков и добавлением органического раствора. На внутренней стороне двух сосудов расположены горизонтальные следы от обработки зубчатым инструментом. Сосуды имели разные размеры, что подтверждается их толщиной. Кроме тонких, шириной 0,8–0,9 см (рис. 3, 2, 12, 14; 4, 5), средних, от 1,0 до 1,3 см (рис. 3, 1, 8; 4, 3, 6; 5, 7; 6, 1; 7, 1–3) представлены и толстостенные, от 1,4 до 1,7 см, экземпляры (рис. 3, 10; 4, 1, 7, 8; 5, 6; 6, 2). Но по другим показателям (форма венчика, способ нанесения узора, мотивы орнамента) они не различаются, что противоречит их разновременности. У половины сосудов толщина стенок на 0,1–0,4 см толще венчика, а у второй наоборот. Из 12 плоских днищ одно имеет узор, а один обломок был частью очень крупного сосуда, для укрепления которого потребовался дополнительный технологический элемент. Несколько придонных частей и днищ имеют толщину 1,9 и 2,2 см, а один обломок венчика – 2,0 см (рис. 4, 13). Из 32 сосудов верхние части 13 экземпляров – профилированные с отогнутым наружу венчиком (рис. 3, 1, 9, 10, 12, 13; 4, 1, 6, 12; 5, 5; 6, 1–2), 14 прямостенные (рис. 3, 5, 8, 11, 14; 4, 8, 9, 10, 14, 16; 5, 3, 6; 6, 3) и 4 прикрытой формы (рис. 3, 6, 15; 5, 1). Их распределение по пластам залегания идентично. Срезы 17 венчиков округлые (рис. 3, 1, 5, 9, 12; 4, 6, 10, 11, 14, 16; 5, 3, 5, 6; 6, 1–3) и 4 плоские (рис. 3, 11; 4, 8). По срезу 11 экземпляров нанесены насечки (рис. 1, 5, 8, 11, 12; 4, 6, 9, 11, 14; 5, 3, 5; 6, 1; 7, 1). В верхних пластах жилища обнаружено 6 венчиков от 4 сосудов, на внутренней стороне которых расположено утолщение округлой формы (наплыв) с орнаментом (рис. 3, 6, 7, 15) или без него (рис. 3, 8). Ещё два найдены в нижних (7 и 9) пластах и они (рис. 5, 1, 8) принадлежат сосуду из 3 пласта (рис. 1, 7). Кроме вышеописанных, в слое 4, обнаружено 5 сосудов, которые удалось почти полностью восстановить. Первый из них профилированный, тонкостенный, высотой около 17 см и диаметром около 15 см, украшен сдвоенными наколами в виде сочетания горизонтальных и наклонных рядов, разделённых волнистыми линиями (рис. 6, 1). Следующий сосуд средней толщины, диаметром 30 см, с овальными ямчатыми вдавлениями на внутренней части венчика, несёт композицию из горизонтальных рядов вертикального зигзага, разделённых прямоугольными фигурами, заполненными разреженными подовальными наколами, весь узор подчёркнут двойным горизонтальным рядом отдельных вдавлений (рис. 6, 3). Третий экземпляр высотой 13,5 см и диаметром 16 см, средней толщины, имеющий узор и на днище, представлен узором из двух рядов ямчатых вдавлений по бордюрной зоне, а ниже – тройные горизонтальные ряды наколов, внутри которых отдельные вдавления и вся композиция подчёркнута зигзагом (рис. 7, 1). Ещё один сосуд представляет невысокую (9,5 см) миску подовальной формы (27 на 20 см) и украшена двойным горизонтальным зигзагом, а в преддонной части – рядами коротких наколов овальной формы (рис. 7, 2). Последний сосуд средней толщины, низких пропорций (11 см), овальной формы (28 на 20 см), по бордюрной зоне украшен двойным горизонтальным зигзагом, схож по этим параметрам с предыдущим, а орнаментальная композиция представлена меандрами (рис. 7, 3). Сосуд подобной формы и орнаментом обнаружен и на стоянке Тентексор [1, с. 19, рис. 10, 2]. Посуда чашевидной формы известна и в материалах поселения Джангар в Северо-Западном

Прикаспии [7, с. 122, рис. 34, 1]. В этой связи следует отметить и наличие наплывов на внутренней стороне сосудов джангарской керамики позднего этапа [7, с. 102, с. 104, рис. 26, 7–9].

На остальных сосудах орнамент располагался преимущественно в верхней (рис. 3, 5, 10, 13; 4, 1, 7, 13, 14; 6, 2) и средней (рис. 3, 9; 4, 6; 5, 5, 6) частях, но есть единичные случаи его распространения по всей поверхности (рис. 4, 15; 5, 1) и на дне сосуда. Лишь один тонкостенный профилированный экземпляр не имеет орнамента кроме насечек по срезу венчика (рис. 3, 12). По способам нанесения узоров преобладает накольчатая техника в отступающей манере, а раздельное накалывание применено лишь на 6 сосудах (рис. 3, 8, 9; 4, 13; 6, 2, 3; 7, 1) как второстепенное дополнение. Сходное место занимают и ямчатые вдавления (рис. 3, 2; 4, 11; 7, 1). Единично встречены ямочные оттиски под срезом венчика (рис. 3, 4; 4, 8). Аналогичные присутствуют на посуде стоянки Тентексор [8, с. 129, рис. 2, 2; с. 130, рис. 3, 1, 4; с. 131, рис. 5, 5, 6; с. 132, рис. 6, 2]. На двух сосудах зафиксированы сквозные круглые отверстия, которые могли появиться с целью ремонта (рис. 4, 11; 7, 3). Доминирующие отступающие наколы подквадратной или подпрямоугольной формы не различаются принципиально (рис. 3, 6, 7, 9, 10, 14; 4, 1, 2, 5; 6, 2; 7, 3). По всей видимости, это зависело от степени протяжённости работы орнаментиром. Такую же по количеству группу составляют вдавления подовальных очертаний (рис. 3, 2, 5, 11; 4, 6, 9, 10, 11, 14; 7, 1). Менее распространены треугольные (рис. 3, 15; 4, 3, 8, 13; 5, 2, 5, 6, 7). Своеобразны двоянные отступающие наколы (рис. 3, 1, 13; 4, 15, 16; 6, 1), нанесённые оригинальным инструментом. Последние не встречены на сосудах других памятников тентексорского типа за исключением единичного на стоянке Тентексор [1, с. 14, рис. 5, 2]. Орнаментальные композиции восстанавливаются только по крупным венчикам и стенкам. Наиболее простые представлены горизонтальными рядами зигзагов (рис. 4, 6, 13, 14; 7, 2), горизонтальными рядами наклонных, отступающих наколов (рис. 3, 13, 14; 4, 2, 3), в ряде случаев разделённых горизонтальным (рис. 5, 2, 7) или вертикальным (рис. 3, 13) зигзагом. Более сложные узоры состоят из сочетания горизонтальных зигзагов с меандрами (рис. 3, 1, 5; 5, 5; 7, 3), косой решёткой (рис. 3, 10; 4, 1, 9), взаимопроникающими треугольниками (рис. 3, 15), «плетёнкой» (рис. 5, 1, 6, 8), меандрами (рис. 1, 9), треугольниками из ямчатых вдавлений, обрамлённых диагональными рядами наколов (рис. 4, 11). Часть композиций, включая сложные меандры, аналогична схемам орнамента на посуде позднего неолита Северного Прикаспия тентексорского типа [1, с. 14, рис. 5, 3, с. 18, рис. 9, 9; 7, с. 132, рис. 6, 3, с. 133, рис. 8, 2; 9, с. 7, рис. 2, 1; 10, с. 10, рис. 6, 1, с. 12, рис. 8, 1]. Именно в заключительной фазе неолита фиксируется как усложнение композиций, так и большой процент наплывов с орнаментом на внутренней стороне и на керамике орловской культуры степного Поволжья [11, с. 49–56].

Каменный и костяной инвентарь

В раскопе 2025 г. обнаружено 124 кремнёвых изделия и 8 артефактов из мелкозернистого песчаника. Первая группа представлена матовым халцедоном серого цвета, иногда с белыми включениями. Лишь 6 предметов изготовлены из мелового полупрозрачного кремня тёмно-серого цвета (рис. 8, 30; 9, 21, 22, 39; 10, 5). Ещё 3 изделия из матового кремня светло-коричневого цвета. Нуклеусы или нуклеидные обломки отсутствуют, но найдены 1 продольный и 1 поперечный сколы, 4 аморфных куска и 4 осколка. Кроме того, обнаружено 16 отщепов мелких и средних размеров (4 из них с коркой), 2 пластинчатых отщепа и 12 пластин (1 с коркой) без ретуши. Пластины по ширине распределяются на две группы: 1,4–1,5 см (толщина 0,2–0,3 см) (рис. 9, 4, 13, 17) и 1,8–2,1 см (толщина 0,4–0,6 см) (рис. 8, 4, 36). Ещё 6 отщепов и 10 пластин имеют мелкую краевую ретушь по одной или обоим продольным граням (рис. 8, 12, 14, 24; 9, 20, 21, 22, 27, 32).

В напольной части жилища (слой 4) (пласты 7–9) в категории орудий доминируют скребки – 25 экземпляров против 20 во всех (1–6) оставшихся пластах. 18 орудий из них изготовлены на отщепах толщиной от 0,4 до 1,1 см (рис. 8, 1, 5, 16, 18, 20, 21, 33), на пластинах (рис. 8, 6, 8, 9, 27) и 2 на пластинчатых отщепах (рис. 8, 2, 3). Примечательно, что в пластах 2–6 скребков на пластинах не найдено. Лишь в первом выделено 3 экземпляра (рис. 9, 7, 8). Шесть скребков на пластинчатых отщепах представлено с 1 по 6 пласт (рис. 9, 12, 24, 25, 34). Для одного концевой скребка из пласта 2 заготовкой послужил обломок шлифованного изделия. Что касается типологии этой категории изделий, то преобладают

(20 экз.) концевые с округлым (рис. 8, 1, 5, 15, 17; 9, 3, 7, 8, 16, 19, 23; 10, 4, 5), скошенным (рис. 8, 2, 3, 9) – 5 экз. и прямым (рис. 8, 27; 9, 12) рабочим краем. Серия скребков, обработанных по всему периметру, имеет подокруглую (рис. 8, 16, 20, 28) форму – 3 экз. Стрельчатого типа 3 экземпляра (рис. 8, 25, 34; 9, 18); дублированных 2 (рис. 9, 24, 25) и 1 с выступом (рис. 8, 7). У половины скребков по одной (рис. 8, 1, 2, 3, 8, 25; 9, 3, 19, 26, 33; 10, 1, 7) или обеим (рис. 8, 7, 18, 26, 27; 9, 7, 8, 12, 23, 24, 25, 37; 10, 4, 6) продольным граням расположена крутая или пологая ретушь. Длина скребков на целых отщепах распределяется по размеру на три группы: 1,5–1,8 см – 7 экз., 1,9–2,1 см – 11 экз.; 2,2–2,6 см – 9 экз. Столь невысокий верхний предел может объясняться форматом галек или валунов, которые использовались в качестве материала для изготовления орудий. Не менее важны данные о толщине скребков – от 0,4 до 1,1 см, с преобладанием от 0,6 до 0,8 см. Таким образом, в материалах позднего неолита интересующего региона фиксируется увеличение толщины заготовки.

Вторая категория орудий представлена перфораторами – 13 экземпляров. Они обнаружены только в нижних (6, 8, 9) и в верхних (1, 2) пластах. Заготовками служили пластины (7 экз.) (рис. 8, 23, 30; 9, 1, 2, 10, 11; 10, 3) и отщепы (рис. 8, 19, 37; 9, 14, 28, 29). Они делятся на симметричные (рис. 8, 23, 31; 9, 1, 10, 28; 10, 3) и скошенные (рис. 8, 37; 9, 2, 11, 14). Единичны острия с плечиками (рис. 9, 1). Рабочая часть оформлена мелкой краевой (рис. 9, 1; 10, 3) или среднефасеточной полукрутой ретушью (рис. 8, 23; 9, 10, 14, 28). К этой категории орудий допустимо отнести ещё одно изделие (рис. 9, 9), обработанное по всему периметру. Оно аналогично артефакту со стоянки Тентексор I [1, с. 22, рис. 11, 14].

Третью группу составляют геометрические микролиты, обнаруженные в пластах 1, 3, 6, 7, 8 и яме. Все 9 артефактов представлены трапециями со струганной спинкой (рис. 8, 29, 35; 9, 5, 6, 15, 31, 35; 10, 2, 8). Они изготовлены из пластин параметрами: высота – от 1,5 до 2,1 см, ширина – от 1,7 до 2,3 см, толщина – 0,3 см. Из мелового полупрозрачного кремня предметы не обнаружены. По боковым сторонам спинки ретушь не фиксируется. На брюшке она нанесена по одной (рис. 8, 29, 35; 9, 5; 10, 2) или обеим граням (рис. 9, 6).

Двумя экземплярами представлены комбинированные орудия – скребок-остриё (рис. 8, 31, 32). Аналогичные изделия присутствуют в материалах стоянки Тентексор [1, с. 22, рис. 11, 13]. В пласте 9 найден резец на углу сломанной пластины, а вторая продольная грань несёт на спинке мелкую краевую ретушь. Этот артефакт не является инородным: резцы на пластинах встречаются на позднем этапе джангарской культуры [7, с. 98, рис. 23, 10–15].

В нижних пластах (7–9) жилища обнаружено 8 артефактов из полимиктового мелкозернистого песчаника, сцементированного на карбонатном цементе (определения А.Н. Коновалова), часть из которых имеют следы обработки или использования и, по предварительному анализу К.А. Степановой, могли служить тёрочником и пестом. Этим предметам будет посвящена отдельная публикация. Кремневые изделия, обнаруженные вне контуров жилища не имеют отличий от артефактов в сооружении как по сырью, так и по типам (рис. 10, 1–8). Три костяных орудия, обнаруженных в заполнении постройки, можно определить как перфораторы.

Около 1,5 тысяч фаунистических остатков, предварительно определимые Н.В. Росляковой, принадлежат только диким видам животных: сайга, тур, кулан, тарпан и др.

Датировки

По материалам раскопов предыдущих лет было получено 6 радиоуглеродных дат от 6635 до 6128 лет ВР [4, с. 55]. Попытки выявить морфологические признаки как в керамическом, так и каменном инвентаре материалов стоянки не дали результатов: комплекс представляется гомогенным. В данном случае следует учитывать, что у дат порядка 6600 и 6500 лет ВР поправки составляют от 200 до 125 лет, а на УМС – 33 и 45 лет. При сравнении всех дат в калиброванных значениях при 2 сигме они имеют совпадающий интервал от 5213 до 5078 лет. Что касается даты 5757 ± 47 лет ВР (2σ 4717–4493), то она выбивалась из общего контекста и соответствует хронологическим рамкам хвалынской энеолитической культуры. Раскопки 2025 г. позволили найти этому объяснение. В средних и нижних пластах внутри жилища были прослежены следы от корней джугзуна, которые проникали даже в материк. Поэтому нельзя было исключать, что какие-то кости животных или артефакты более позднего времени могли

оказаться на определённой глубине в результате произрастания куста с мощной корневой системой на площадке памятника. В пласте 7 был обнаружен обломок ножа на широкой (3,4 см) пластине, изготовленной из полупрозрачного мелового кремня чёрного цвета (рис. 9, 39). Изделия таких параметров нехарактерны для каменного инвентаря памятников позднего неолита Северного Прикаспия [1, с. 22, рис. 11; 7, с. 10, рис. 3; с. 11, рис. 4], а присущи именно хвалынской культуре [12]. По результатам исследования этого сезона была получена дата по костям кулана (коллагену) из ямы внутри жилища – 6227 ± 110 BP (2σ 5471–4854 calBC) (SPb_4443). Она хорошо соотносится с датой, полученной методом УМС: 6164 ± 33 (2σ 5212–5011 BC). Таким образом, устанавливается интервал существования жилищного сооружения на стоянке Таскудук.

Выводы

В результате раскопок 2025 г. стоянки Таскудук было исследовано жилище, которое по форме и размерам соответствует постройкам позднего неолита Северного Прикаспия. Керамика изготовлена по характерным рецептам посуды тентексорского типа. По толщине сосуды подразделяются на три группы. Оригинальными формами являются приземистые чаши, присущие финалу неолита, включая материалы джангарской и орловской культур. На внутренней стороне 10% венчиков расположен наплыв, что является признаком позднего неолита как Северного Прикаспия, так и степного Поволжья. Горизонтальный ряд ямочных вдавлений под срезом венчика отличает сосуды позднего неолита интересующей территории от керамики джангарской и орловской культур. Помимо наколов подовальной и подтреугольной формы представлены своеобразные сдвоенные вдавления, что придаёт специфику данному комплексу. Орнаментальные композиции на сосудах из жилища не повторяют друг друга. Каменный инвентарь как по сырью, так и технике раскалывания составляет единый комплекс. При доминанте орудий на отщепах часть скребков, перфораторов и все трапеции изготовлены на пластинах. Последние только со струганной спинкой, что также отражает позднюю фазу неолита. Подтверждено вхождение в поздненеолитический ассортимент изделий дублированного и стрельчатого типов скребков, комбинированных орудий, микроскребков, скошенных остриев. Обнаружение артефакта на шлифованном орудии подтверждает наличие данной техники только на заключительной фазе позднекаменного века Северного Прикаспия. Особенностью комплекса каменных изделий стали находки в жилище артефактов из мелкозернистого песчаника. По серии радиоуглеродных дат, полученных по костям животных, включая методом УМС, время функционирования жилища устанавливается в рамках 5471–4854 лет BC. В эти хронологические рамки domesticiрованных видов животных не обнаружено.

Благодарность. Авторы выражают большую благодарность Васильевой И.Н., Коновалову А.Н., Кульковой М.А., Росляковой Н.В. и Степановой К.А. за проведённые анализы материалов памятника.

Acknowledgements. The authors express their sincere gratitude to I.N. Vasilyeva, A.N. Konovalov, M.A. Kulkova, N.V. Roslyakova, and K.A. Stepanova for conducting the analyses of the site materials.

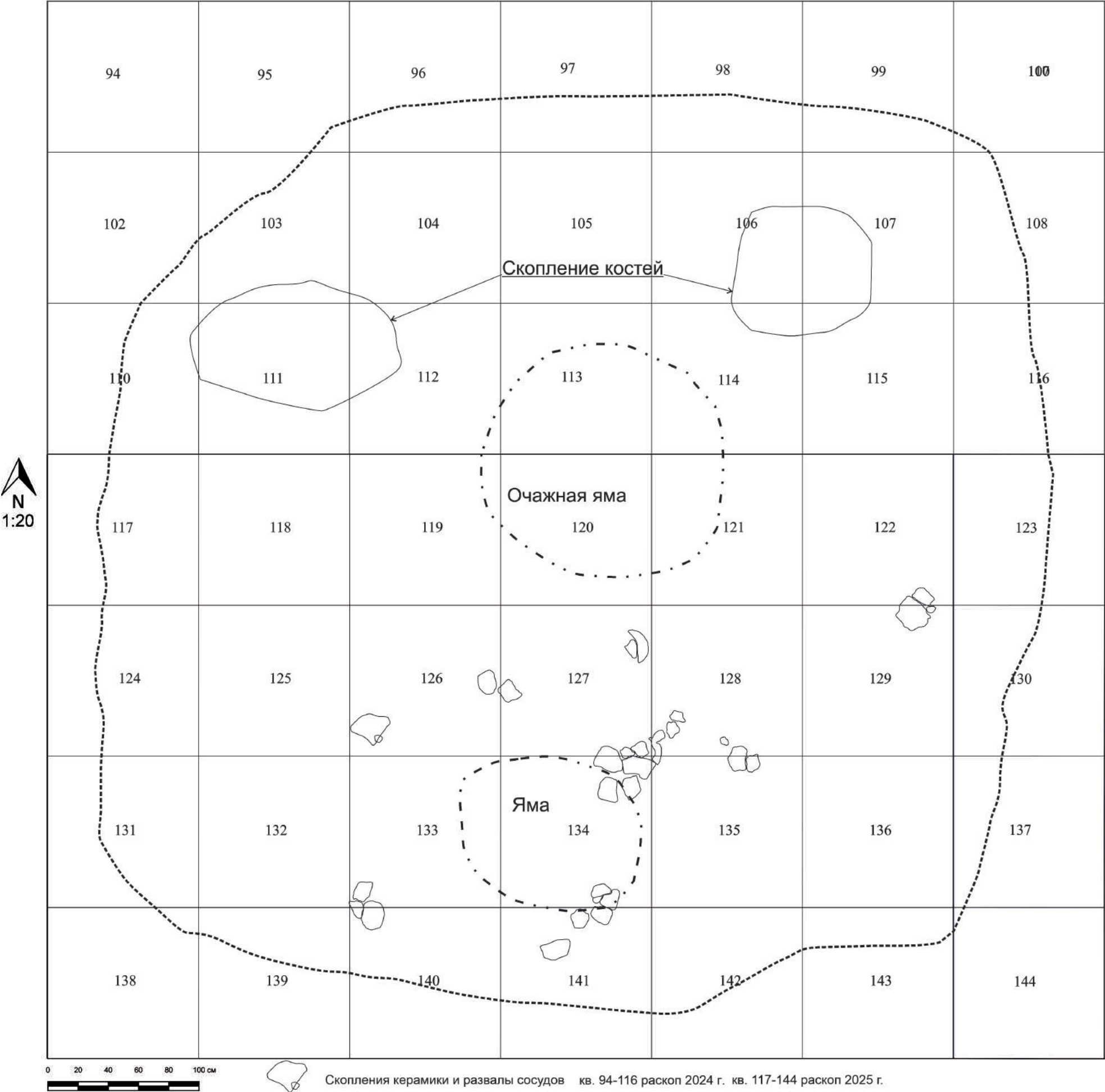


Рис. 1. План раскопа стоянки Таскудук

Fig. 1. Excavation plan for the Taskuduk site

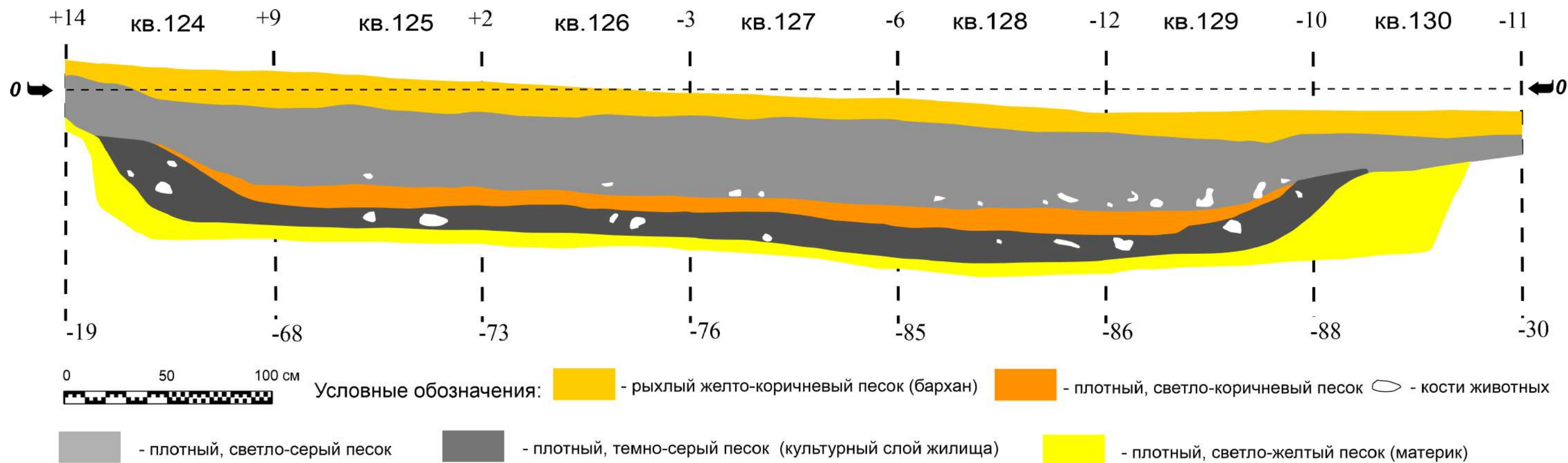


Рис. 2. Стратиграфия раскопа стоянки Таскудук

Fig. 2. The stratigraphy of Taskuduk site

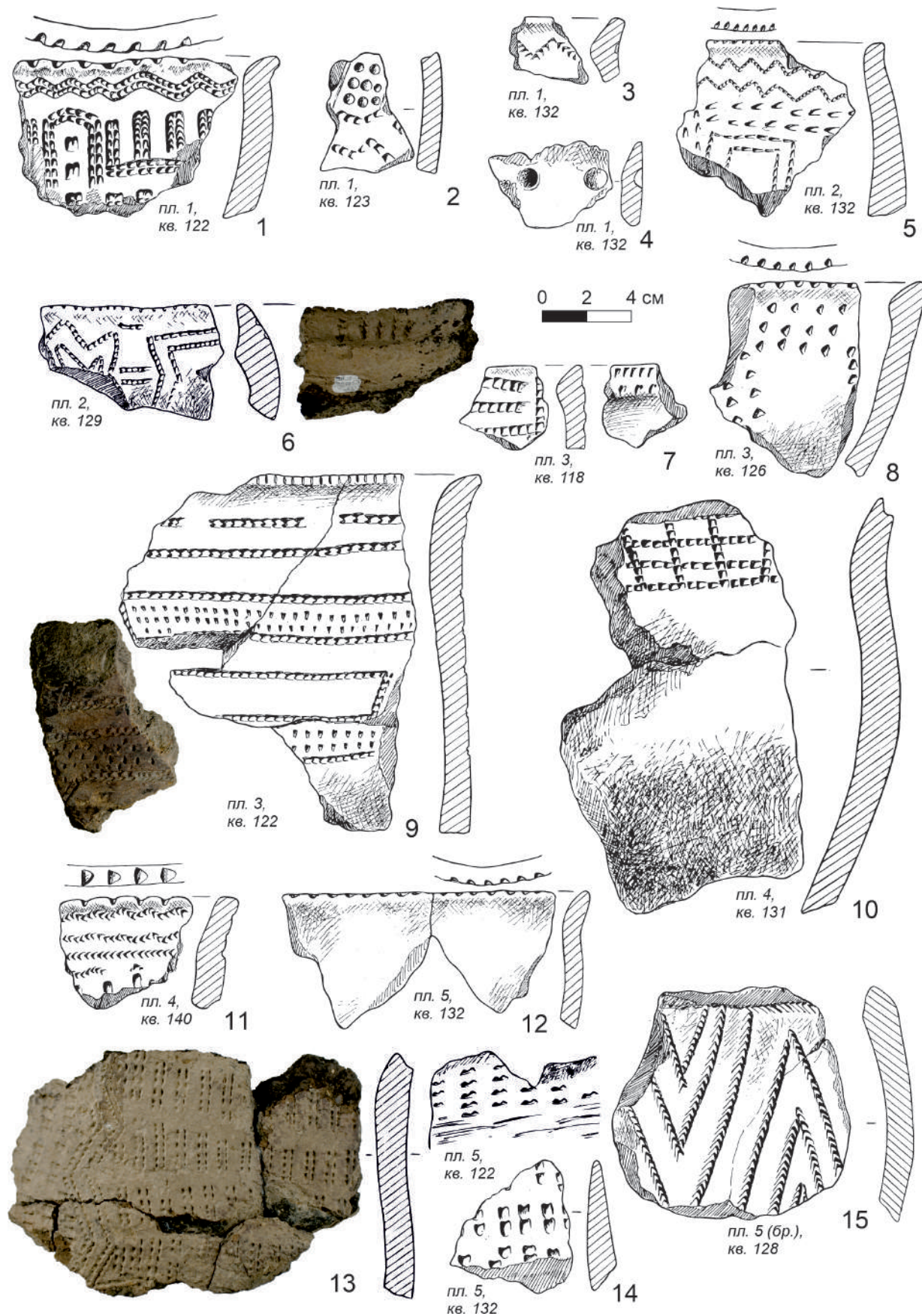


Рис. 3. Керамика стоянки Таскудук: пласты 1–5

Fig. 3 Ceramics of the Taskuduk site: layers 1–5

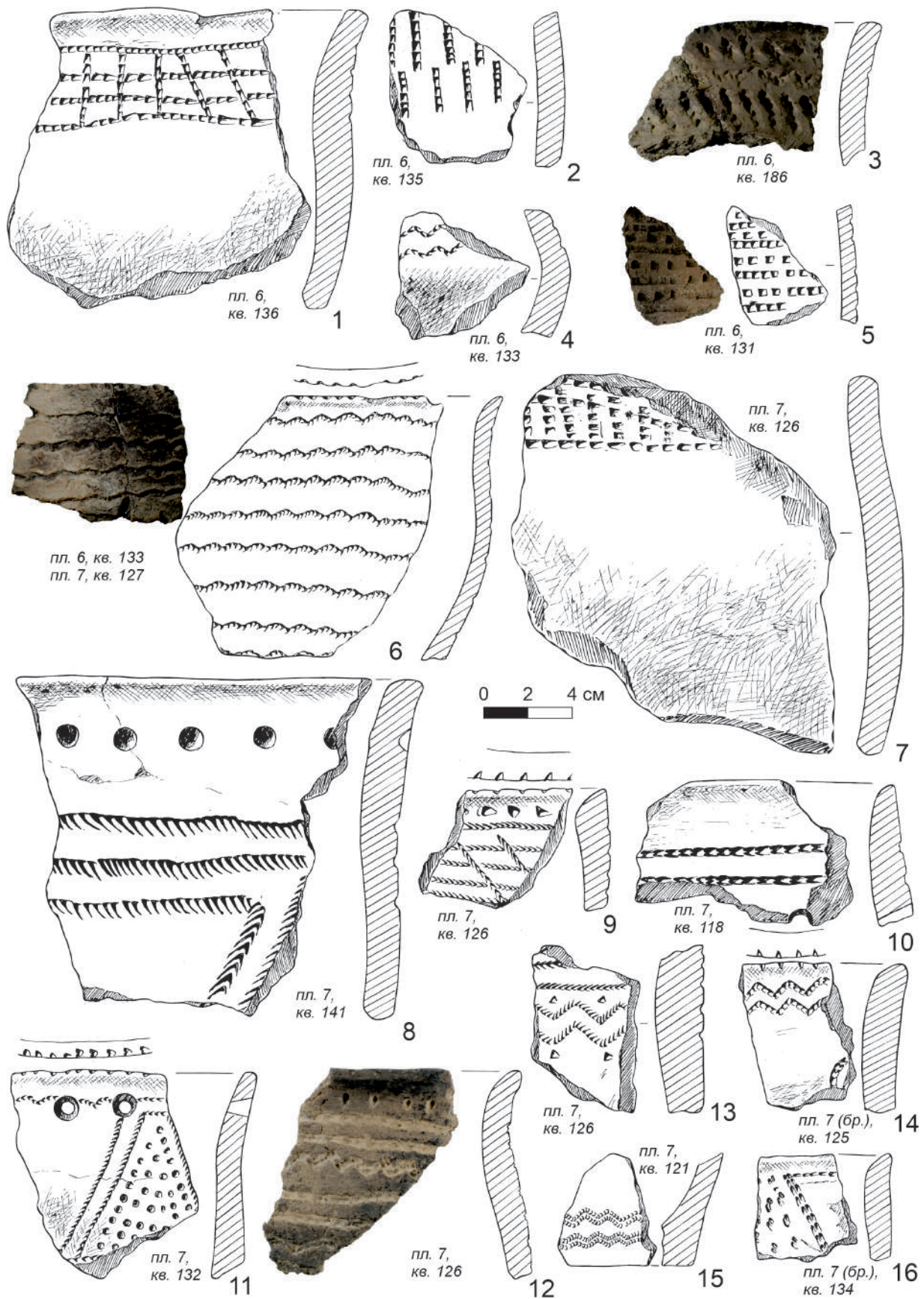


Рис. 4. Керамика стоянки Таскудук: пласти 6–7

Fig. 4. Ceramics of the Taskuduk site: layers 6–7

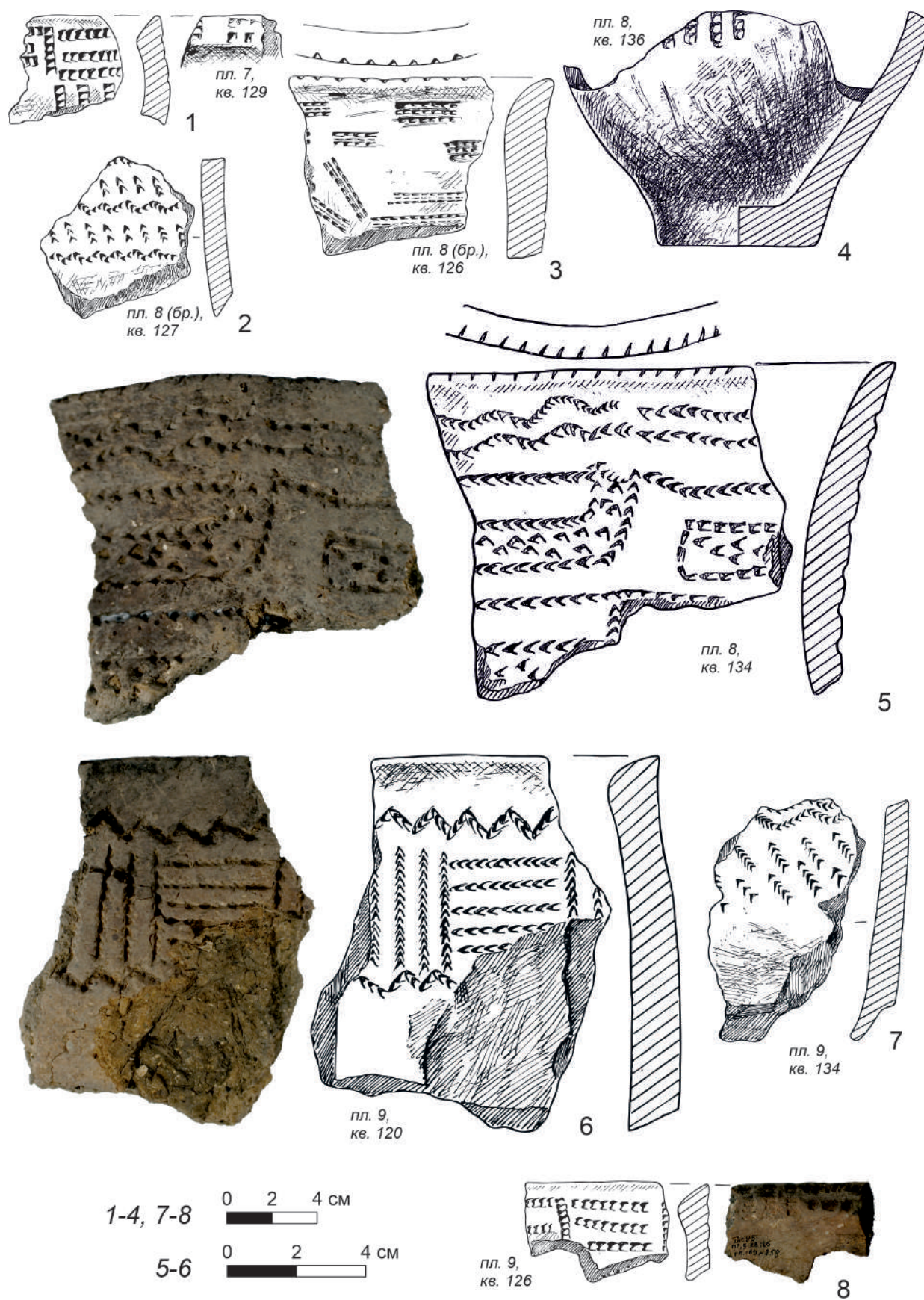


Рис. 5. Керамика стоянки Таскудук : пласты 7–9

Fig. 5. Ceramics of the Taskuduk site: layers 7–9

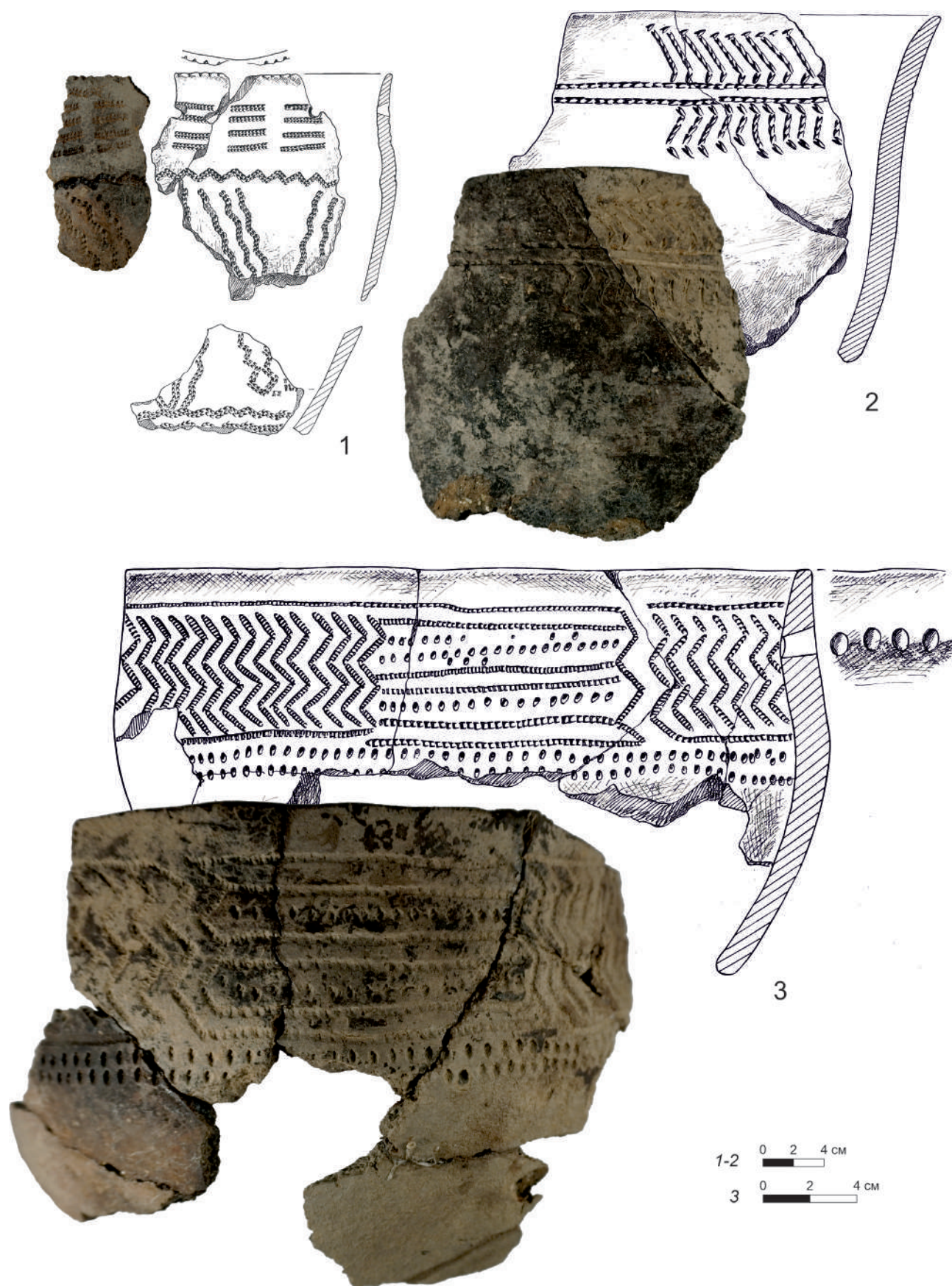


Рис. 6. Керамика стоянки Таскудук из жилища

Fig. 6. Ceramics from the Taskuduk site dwelling



Рис. 7. Керамика стоянки Таскудук из жилища

Fig. 7. Ceramics from the Taskuduk site dwelling

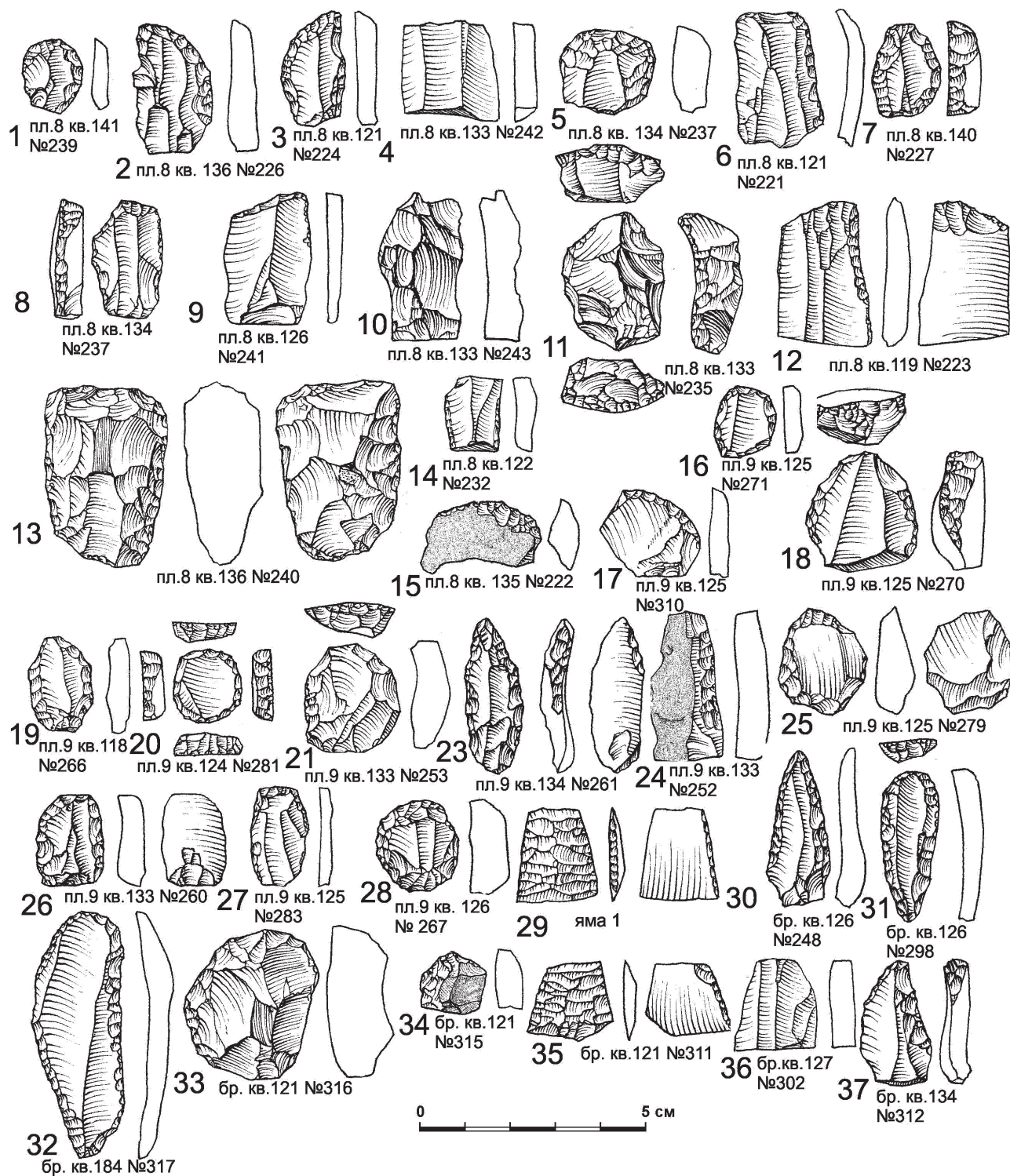


Рис. 8. Каменный инвентарь стоянки Таскудук: пласты 8–9

Fig. 8. The stone inventory of the Taskuduk site: layers 8–9

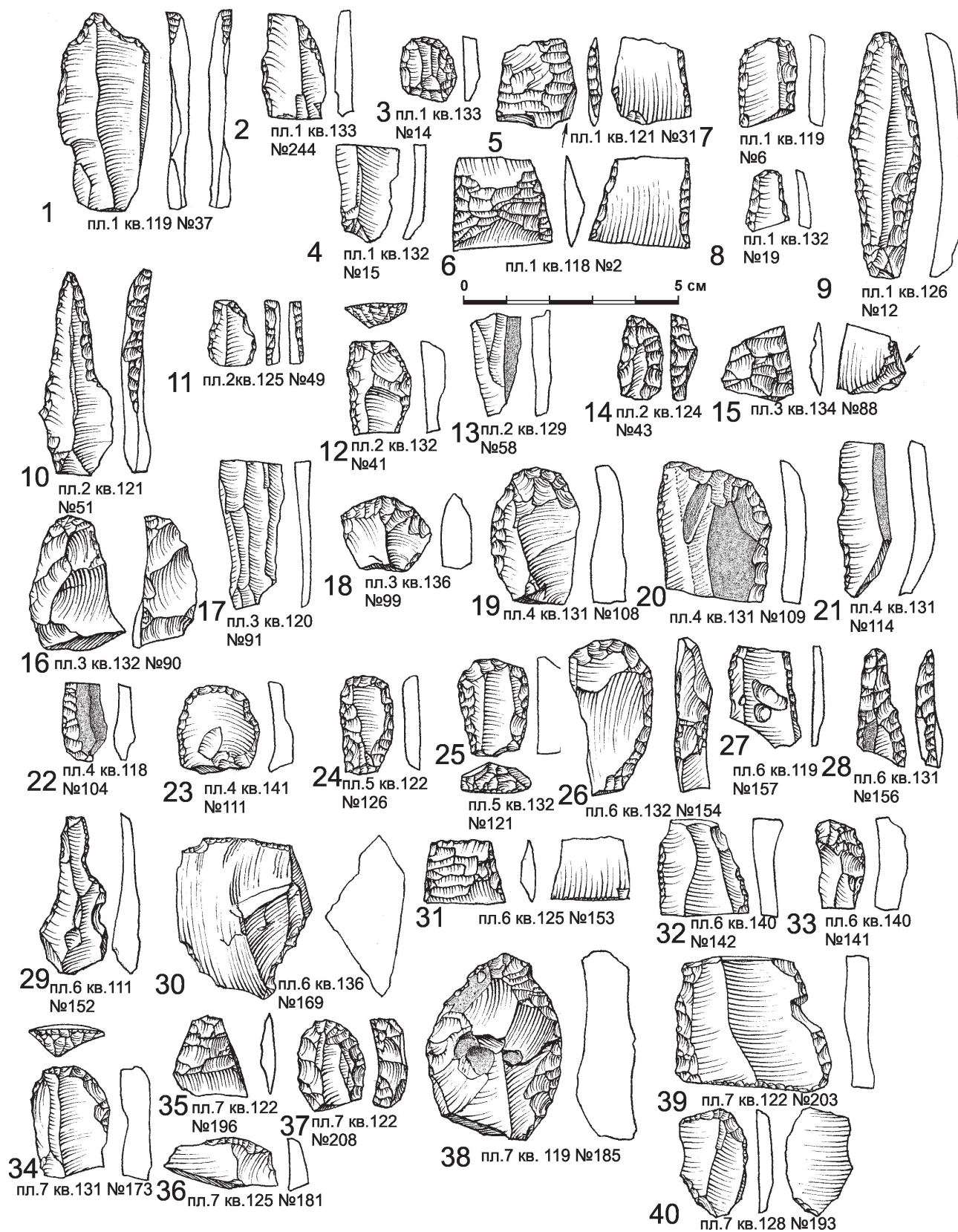


Рис. 9. Каменный инвентарь стоянки Таскудук: пластины 1–7

Fig. 9. The stone inventory of the Taskuduk site: layers 1–7

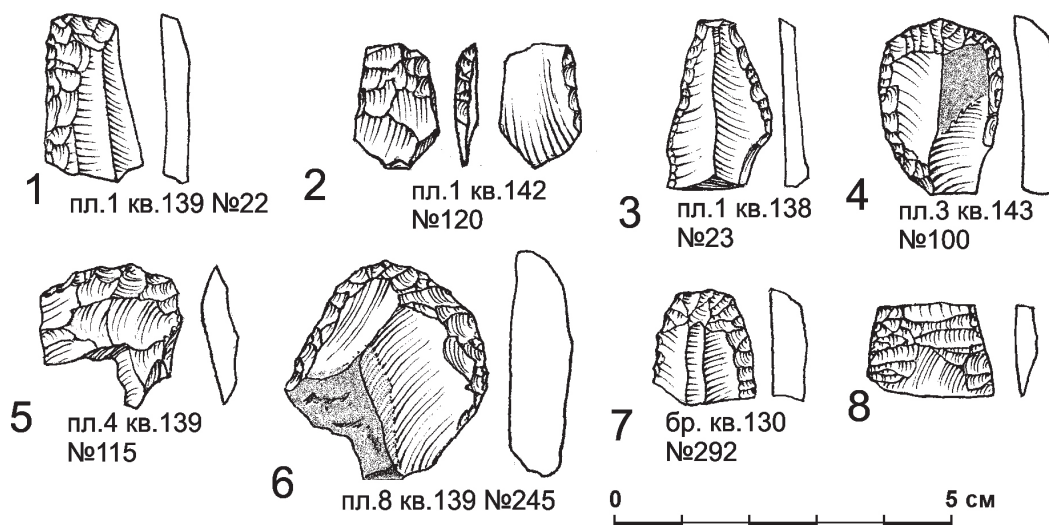


Рис. 10. Каменный инвентарь из внежилищного пространства
Fig. 10. The stone inventory not from the dwelling

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

REFERENCES

1. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В. Поздненеолитическая стоянка Тентексор в Северном Прикаспии // Древние культуры Северного Прикаспия. Сборник научных трудов. Куйбышев: КГПИ, 1986: 6–31.
2. Дога Н.С., Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф., Сомов А.В., Гречкина Т.Ю. Новый памятник неолита в Северном Прикаспии // Поволжская археология. 2023. №3. С. 25–37.
3. Дога Н.С., Выборнов А.А., Кулькова М.А., Васильева И.Н., Рослякова Н.В., Гречкина Т.Ю. Стоянка Таскудук в Северном Прикаспии (Предварительные итоги исследования) // Поволжская археология. 2024. № 3. С. 203–216.
4. Дога Н.С., Выборнов А.А., Пархомчук Е.В., Кулькова М.А., Сомов А.В. Результаты исследования стоянки позднего неолита Таскудук в 2024 году // Археология евразийских степей. 2025. №4. С. 46–57.
5. Гречкина Т.Ю., Выборнов А.А., Лебедев Ю.С. Жилище ранне-неолитической стоянки Байбек в Северном Прикаспии // Краткие сообщения Института археологии. 2021. Вып. 262. С. 141–154.
6. Выборнов А.А., Васильева И.Н., Лактаева Э.М., Фролов И.К. Керамика из жилищ неолитической стоянки Кайршак III в Северном Прикаспии // Самарский научный вестник. 2022. № 2. С. 145–163.
7. Кольцов П.М. Мезолит и неолит Северо-Западного Прикаспия. М.: «Воскресенье», 2005. – 352 с.
8. Выборнов А.А., Лактаева Э.М., Фролов И.К. Керамика жилищ памятника Тентексор I // Самарский научный вестник. 2023. №2. С. 127–139.
9. Выборнов А.А., Васильева И.Н., Гилязов Ф.Ф. Новые данные о стоянке Же-калган I в Северном Прикаспии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2025. №1. С. 5–16.
10. Гречкина Т.Ю., Выборнов А.А. Новая неолитическая стоянка Приозёрная в Нижнем Поволжье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. 2023. № 34. С. 6–16.
11. Юдин А.И. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. Саратов: СГУ. 2004. 200 с.
12. Дога Н.С. Энеолитизация Нижнего Поволжья. Автореф. дисс... канд. ист. наук. Казань. 2024. 25 с.

1. Vasiliev IB., Vybornov AA., Kozin EV. Late Neolithic site Tenteksor in the Northern Caspian region. *Ancient cultures of the Northern Caspian region. Collection of scientific papers*. Kuibyshev: KSPI, 1986: 6–31. (In Russ)
2. Doga NS., Vybornov AA., Gilyazov FF., Somov AV., Grechkina T.Yu. A new Neolithic site in the Northern Caspian region. *The Volga River Region Archaeology*. 2023; (3): 25–37. (In Russ)
3. Doga NS., Vybornov AA., Kulkova MA., Vasilieva IN., Roslyakova NV., Grechkina TYu. Taskuduk site in the Northern Caspian region (preliminary results of the study). *The Volga River Region Archaeology*. 2024; (3): 203–216. (In Russ)
4. Doga NS., Vybornov AA., Parkhomchuk EV., Kulkova MA., Somov AV. Results of the study of the Late Neolithic site Taskuduk in 2024. *Archaeology of the Eurasian Steppes*. 2025; (4): 46–57. (In Russ)
5. Grechkina TYu., Vybornov AA., Lebedev YuS. Dwelling of the Early Neolithic site Baybek in the Northern Caspian region. *Brief Communications of the Institute of Archaeology*. 2021; (262): 141–154. (In Russ)
6. Vybornov AA., Vasilieva IN., Laktaeva EM., Frolov IK. Ceramics from dwellings of the Neolithic site Kairshak III in the Northern Caspian region. *Samara Journal of Science*. 2022; 11(2): 145–163. (In Russ)
7. Koltsov PM. *Mesolithic and Neolithic of the North-Western Caspian region*. Moscow: Voskresenye, 2005. (In Russ)
8. Vybornov AA., Laktaeva EM., Frolov IK. Ceramics of the dwellings of the Tenteksor I site. *Samara Journal of Science*. 2023; 12(2): 127–139. (In Russ)
9. Vybornov AA., Vasilieva IN., Gilyazov FF. New data on the Zhe-kalgan I site in the Northern Caspian region. *Vestnik Arkheologii, Antropologii i Etnografii*. 2025; (1): 5–16. (In Russ)
10. Grechkina TYu., Vybornov AA. A new Neolithic site Priozernaya in the Lower Volga region. *Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*. 2023; 28(34): 6–16. (In Russ)
11. Yudin AI. *Varfolomeevka site and the Neolithic of the steppe Volga region*. Saratov: SSU, 2004. (In Russ)
12. Doga NS. *Eneolithization of the Lower Volga region*. Abstract of PhD dissertation in History. Kazan, 2024. (In Russ)

Поступила в редакцию 08.02.2026 г.
Принята в печать 16.03.2026 г.
Опубликована 30.09.2026 г.

Received 08.02.2026
Accepted 16.03.2026
Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223547-568>

Research paper

Lola A. Huseynova
Senior Research Fellow
Institute of Archaeology and Anthropology
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
lola.l1987@mail.ru

THE LATE BRONZE – EARLY IRON AGE CERAMICS FROM CHOVDAR NECROPOLIS IN AZERBAIJAN: OVERVIEW AND CHRONOLOGY

Abstract. The present study aims to provide a systematic analysis of the ceramic complex from the Chovdar necropolis in order to determine its chronological position and to clarify its place within the developmental framework of the Khojaly-Gadabay culture of the Late Bronze–Early Iron Age in Azerbaijan. The research is based on the results of archaeological excavations conducted in 2019 in the north-western region of the country, at the site of Chovdar village in the Dashkasan district, situated at an altitude of 1,733 m above sea level. Field investigations were carried out under the direction of Dr. S. Ashurov and Dr. B. Jalilov. During the excavation season, 156 burials were examined, resulting in the recovery of 662 ceramic vessels. Of these, 171 vessels were preserved intact, 69 were partially preserved, and 422 were reconstructed for analytical study. The methodological framework includes typological and morphological classification, comparative analysis with synchronous archaeological assemblages, elements of statistical evaluation, and laboratory-based technological analysis. The results demonstrate that the Chovdar ceramic complex is characterized by considerable morphological and functional diversity and corresponds to the developed stage of the Khojaly-Gadabay culture. The ceramic repertoire comprises storage vessels, cooking pots, jars, bowls, basins, jugs, cups, and churn-like vessels. Comparative and radiocarbon analyses confirm that the necropolis dates to the 13th–8th centuries BCE. Technological features and decorative elements indicate a high level of ceramic production during the late 2nd – early 1st millennium BCE. Overall, the materials from the Chovdar necropolis make a significant contribution to refining the chronology of the Late Bronze–Early Iron Age in Azerbaijan and enhance our understanding of the socio-economic, cultural, and technological processes in the South Caucasus during this period.

Keywords: Caucasus; Late Bronze Age; Early Iron Age; Khojaly-Gedabey culture; Chovdar necropolis; ceramics; radiocarbon dating

For citation: Huseynova L.A. The Late Bronze – Early Iron Age Ceramics from Chovdar Necropolis in Azerbaijan: Overview and Chronology *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 547-568. doi.org/10.32653/CH223547-568

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223547-568>

Исследовательская статья

Хусейнова Лола Акбер
старший научный сотрудник
Институт археологии и антропологии
Национальная академия наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
lola.l1987@mail.ru

КЕРАМИКА НЕКРОПОЛЯ ЧОВДАР ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ – РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР И ХРОНОЛОГИЯ

Аннотация. Целью настоящего исследования является системный анализ керамического комплекса Човдарского некрополя с целью определения его хронологического положения и уточнения места в структуре развития ходжалы-кедабекской культуры эпохи поздней бронзы – раннего железа в Азербайджане. Материальную основу работы составляют результаты археологических раскопок 2019 г., проведённых в северо-западном регионе страны, на территории села Човдар Дашкесенского района, на высоте 1733 м над уровнем моря. Полевые исследования осуществлялись под руководством д-ра С. Ашурова и д-ра Б. Джалилова. В ходе сезона было исследовано 156 погребений и восстановлено 662 керамических сосуда, из которых 171 экземпляр сохранился полностью, 69 – частично, 422 сосуда были реконструированы для аналитического изучения. Методологическая база исследования включает типологическую и морфологическую классификацию, сравнительно-аналитический метод, элементы статистической обработки данных, а также лабораторно-технологический анализ. Основные результаты показывают, что керамический комплекс Човдара характеризуется значительным морфологическим и функциональным разнообразием и соответствует развитому этапу ходжалы-кедабекской культуры. Керамический репертуар представлен тарными сосудами, горшками, банками, мисками, тазами, кувшинами, чашками и маслбойками. Сравнительный и радиоуглеродный анализ подтверждают датировку некрополя XIII–VIII вв. до н. э. Технологические особенности изготовления и элементы декора свидетельствуют о высоком уровне развития гончарного производства в конце II – начале I тыс. до н. э. В целом материалы Човдарского некрополя вносят существенный вклад в уточнение хронологии позднебронзового – раннежелезного периода Азербайджана и способствуют более глубокому пониманию социально-экономических и технологических процессов в Закавказье указанной эпохи.

Ключевые слова: Кавказ; ходжалы-кедабекская культура; поздний бронзовый век; ранний железный век; некрополь Човдар; керамика; радиоуглеродное датирование

Для цитирования: Хусейнова Л.А. Керамика некрополя Човдар эпохи поздней бронзы – раннего железа в Азербайджане: общий обзор и хронология // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 547-568. doi.org/10.32653/CH223547-568

Introduction

The Khojaly-Gedabey culture represents the most widespread cultural phenomenon in Azerbaijan during the Late Bronze and Early Iron Ages. This culture has been studied in three chronological phases and grouped into three regional variants. The archaeological sites of the Late Bronze–Early Iron Age in the western regions of Azerbaijan belong to the Gedabey group of the Khojaly-Gedabey culture. From its earliest historical stage, this cultural complex began to spread throughout the region. The Late Bronze – Early Iron Age in western Azerbaijan has primarily been investigated through burial monuments, which have yielded important results. The comprehensive study of these funerary sites has been particularly valuable for reconstructing the settlement landscape of the period and addressing a range of research questions. Among these sites, the necropolis of Zeyemchay, Tovuzchay, and Chovdar have been the focus of intensive investigations in recent years, allowing scholars to reconstruct a detailed picture of the Late Bronze – Early Iron Age in Western Azerbaijan.

The Chovdar Necropolis

The Chovdar necropolis, investigated since 2019, is situated in Western Azerbaijan, nearby the village of Chovdar, Dashkesan district, Azerbaijan Republic (40°33'49.4N, 46°16'18.3E) and consists mainly of rectangular stone-box tombs covered with large, flat stone slabs [3]. The gaps between these slabs were filled with smaller stones. In all undisturbed burial chambers, the entrance door is clearly visible. After the side and upper stones of the chamber were placed and the burial was completed, the entrance was sealed with a stone slab, reinforced on the exterior with a layer of smaller stones. In some cases, a thin layer of soil was deposited beneath the entrance stone [14]. The entrance slab, often higher than the side or even the top stones, stands out architecturally. In several cases, the protruding ends of entrance stones visible on the ground surface suggest that the tombs were looted in antiquity (Fig 1) [1, 2, 3].

Although the tomb chambers exhibit structural uniformity, their dimensions vary. Among the 156 graves excavated in 2019 near the mountain slope, the largest chamber (grave No. 18) measured 345 cm in length, while the smallest (grave No. 95) measured 110 cm [3, p. 94, p. 378].

Orientation of the Graves

The graves at Chovdar do not conform to a single orientation principle. A total of 79 graves are aligned north-south, 65 – east-west, 43 – northeast-southwest, and 27 – northwest-southeast. Initially, the diversity of orientations suggested a lack of planning in the placement of the graves. However, the consistent relationship between each orientation and its corresponding entrance direction indicates a deliberate ritual system rooted in a shared belief. Specifically, the north-south-oriented graves have entrances facing south; the east-west-oriented graves face west; the northwest–southeast ones face southeast; and the northeast–southwest graves face southwest.

In our view, these variations are connected to the position of the sun at different times of the year – namely, sunrise and sunset during seasonal transitions. Graves belonging to the same group and aligned in the same direction likely represent family burials. This interpretation is supported by the fact that the spatial organization of the necropolis – possibly corresponding to a settlement area – was not disrupted during the burial process.

For example, graves Nos. 56, 57, and 58 – constructed side by side and oriented north-south – contained the remains of three children aged between six and twelve. Similarly, graves Nos. 62 and 63, oriented northeast-southwest, contained a child and an adult woman, respectively. Graves Nos. 116–119, aligned north-south, contained two children, an adult man, and an adult woman. It is possible that these individuals were members of the same family and may have perished simultaneously, perhaps as a result of a catastrophic event.

The reverence for the sun evident in these burial orientations reflects a deeply rooted religious belief that can be traced back to the Early Bronze Age [8, p. 28; 18, p. 96; 19, p. 175]. A similar pattern is observed at the Tavatapa site, which encompasses all stages of the Late Bronze – Early Iron Age [25, p.70]. Serving both as a sanctuary and a burial area, the entrance of this monument is oriented toward the sunrise. This interpretation

aligns with the observations of Skinder, who conducted excavations at Chovdar in the early twentieth century. He noted that the deceased were interred according to the direction of the sun's rise and set, with grave goods placed around them so that they would "accompany the dead from sunrise to sunset" [32].

Likewise, Iranian archaeologists have interpreted similar burial orientations as expressions of solar worship, linking the direction of burials to the time of day when interment occurred [20, p. 112; 26, p. 109]. The organization of graves in clusters without disturbing adjacent burials further supports the notion that each group belonged to a close-knit social or familial community [4, p. 310].

Burial Customs and Grave Goods

Most of the graves excavated at the Chovdar necropolis contain single burials, although graves Nos. 23, 25, and 153 include multiple interments. However, radiocarbon analyses have confirmed that the secondary burial in Grave No. 23 was conducted approximately two centuries later than the others. According to anthropologist V. Gasanov, individuals were buried in a flexed position, resting on either the right or left shoulder, with hands directed toward the face and legs bent at the knees – either partially or fully. Similar burial practices have been documented at other regional sites such as Tovuzchay, Zeyemchay, Gedebe, Dashkesen, and Muncuqlutepe, suggesting a shared funerary ideology across the region during the Late Bronze – Early Iron Age [9, 20, 22, 26, 29].

In several cases, only partial skeletal remains were found, indicating that some tombs had been plundered. Grave goods – placed around the bodies – include decorative and utilitarian objects. The material culture of the Khojaly-Gedebe culture is represented by artifacts made of ceramic, metal (bronze and iron), bone, and stone (obsidian, flint, agate, and cowrie shells).

Material and methods

During the field survey, several graves were identified with partially visible upper stones. These graves were prioritized for inclusion in the excavation program due to their accessibility. The upper surfaces of the stones were first cleaned, photographed, and documented. In cases where the removal of the cover stone was possible, the slab was carefully lifted, and the burial chamber was cleared of soil and debris. Measuring instruments were placed inside accessible chambers, followed by detailed photography. A plan of each grave was drawn, and a descriptive record was prepared. All discovered materials were numbered, catalogued, and collected for further study.

Thousands of artifacts uncovered from the Chovdar necropolis were transferred to the Scientific Exhibition Department of the Institute of Archaeology and Anthropology of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), where they are currently preserved and curated. Human remains, ceramic artifacts, metal objects, and beads obtained from the necropolis were analyzed and studied using various analytical methods in laboratories in Turkey, Italy, Japan, and France.

The author of this paper personally participated in the Chovdar excavations, contributing to the documentation and analysis of the archaeological materials. All graphic drawings of the ceramic artifacts presented in this study were prepared by the author based on the original excavation materials.

Results

Various types and forms of ceramic vessels were discovered among the burial monuments. These include jars, bowls, pots, pitchers, mugs, jugs, cups, as well as vessels of the churn and basin types [13, p.736]. According to their manufacturing technology, the ceramics are divided into two groups: hand-made and wheel-made vessels. Among the hand-made vessels, bowls and cauldron-type pots are predominant. Most of these vessels were used for everyday domestic purposes.

The thickness of the ceramic walls ranges from 0.4 cm to 1.1 cm. Hand-made vessels are generally thicker-walled, while wheel-made examples have thinner walls. The thin-walled vessels are more delicately crafted and often decorated with incised or polished patterns. Their surfaces were burnished to a shine, and the motifs – engraved using the burnishing technique – display a variety of ornamental designs [15, p. 27]. Such vessels were not intended for daily use but likely served as household ornaments or grave offerings. The thin-walled examples demonstrate a high level of craftsmanship, as producing them requires considerable technical skill. The thick-walled vessels, by contrast, were utilitarian in nature, many showing soot marks on their bases, indicating frequent use for cooking. Hand-made thick-walled ceramics were coarsely fashioned, with the clay tempered with gravel or small stones, whereas thin-walled examples contain fewer micro-inclusions [13, p. 737].

In terms of color, the vessels vary widely – black, gray, reddish, and brown – with brown and light-black hues being the most common. A noticeable change in color is observed in ceramics recovered from tombs located along the slope toward the mountain base, where reddish and light-brown vessels increase in number. This variation is likely related to differences in manufacturing technology, clay preparation, or firing temperature, and may reflect developments in pottery production techniques over the centuries. Ongoing laboratory analyses of ceramic samples from Chovdar, currently being conducted in several laboratories in Turkey, are expected to clarify the technological reasons behind these distinctions.

Alongside plain pottery, the Chovdar necropolis yielded a significant number of finely decorated vessels. The ceramic assemblage exhibits geometric, floral, and zoomorphic motifs, as well as swastikas, crosses, goats, and meander patterns. These decorations were executed using various techniques, including burnishing, incision, carving, modeling, and scratching [15, p. 28]. On hand-made vessels, the ornamentation was mostly achieved through incision and carving. Similar coarse, poorly fired, and deeply incised pottery has been identified in the Bayan tombs, located near the Chovdar necropolis [4, p. 233]. Hand-made vessels also dominate at the Khachbulag site, dated to the 13th–12th centuries BCE [22].

In her typological study of the Late Bronze – Early Iron Age ceramics, M. Huseynova likewise identifies hand-made, coarse-textured pottery with surface decorations [12]. Some vessels from the Chovdar necropolis display multiple symbols at once (fig. 4, 1), possibly representing the artisan's interpretation of specific themes, events, or beliefs. Similar decorated ceramics are widespread at sites in the Ganjachay region [12].

The forms and decorative motifs of the Chovdar ceramics remain consistent across the Late Bronze and Early Iron Age burials [11, p. 41, 43, 46, 48], suggesting the existence of centralized production traditions and possibly unified workshops [2].

Most of the polished and patterned vessels from the necropolis were wheel-made, with geometric and astral motifs predominantly applied by burnishing. Such patterns are found on jars, cups, jugs, basins, as well as certain bowls and plates. Serpent and ram figures, created through modeling, appear on jar and cup-shaped vessels. In the 2019 excavation season, 14 zoomorphic-patterned vessels were recovered from 12 tombs, with modeled decorative motifs being the most frequent.

Many of the vessels from the necropolis exhibit small perforations, measuring 1.0–3.5 cm in diameter, typically located on the body or base; this feature is especially common among jar and cup-shaped vessels.

No uniform rule was observed for the placement of ceramic vessels within the burial chambers. The vessels were generally arranged around the skeleton, most often on the side opposite the chamber entrance. In some tombs, vessels were found placed upside down—a practice believed to be intentional rather than accidental, as similar arrangements have been observed in other sites across the region [4]. The Chovdar ceramics demonstrate remarkable diversity of form and function.

Large pots (storage vessels). Among the vessels, pots are the most numerous, typically characterized by round bodies and short necks. Many pots lack a neck entirely, with the rim expanding directly into the body. The rims of such jars often feature incised, carved, or burnished decorations.

Some pots (*küp*) have necks up to 4 cm long and are frequently handleless. Others possess mushroom-shaped, looped, single, double, or – more rarely – triple handles, attached either to the rim or the body. Mushroom-shaped handles are the most common type. In several cases, vessels with three handles arranged in a circular pattern on the body or rim were identified. Thin-walled, fully decorated vessels were most likely intended as funerary offerings (fig. 2, 1–7).

The small pots (*küpe*) resemble larger pots in form but differ in size. They have a smaller capacity and are generally more compact (tab. I, 8–12). Such jars and small vessels have been found in various sites, including

Tovuzchay [29, p. 241–316], Zeyemchay [26, p. 255, 269, 286, 319, 326, 330, 366, 375, 391], the 5th burial mound of Khocalı [12, p. 97, 99, 101], Khanlarda [12, p. 112; 11 p. 14, 54], Xachbulag [22, p.119], Quschuda [12, p. 118], Gedabekh [17, p. 68–69,27], İlanlıtepe [9, p. 97], Zeylik stone boxes [10], and other analogous sites from the same period.

Bowls. Among the pottery from the Chovdar necropolis, bowls constitute the second largest group in terms of quantity. These bowls are primarily hand-formed and vary in shape, including round-bodied, triangular, protruding-edge, ewer-like, and pitcher-like forms. Even within a single group, there are variations, particularly in terms of size, rim shape, and base form. Regardless of their body shape, the bowls either lack a rim or have the rim turned outward (wide and thin) (fig. 3, 1–16).

Incised patterns are most commonly observed on the bowls from the Chovdar necropolis. Additionally, the bowls often feature burnished decorations extending from the base toward the body, with motifs symbolizing a cross or the sun. In the Khocalı-Gedabey cultures, bowls were among the primary utilitarian and accessible household items. This is evident not only in the numerical dominance of bowls at Chovdar but also in other sites associated with the same culture. These bowls are found not only in burial sites but also in settlements. For example, recent studies on the Tava Tepe settlement in the Ağstafa region of western Azerbaijan, which is considered a sanctuary, show that representatives of the Khocalı-Gadabay culture performed rituals in a circular space of a building, placing hundreds of ceramic vessels, including pots, basins, and bowls, in the area [21]. Bowls of all sizes are represented, with some containing food residues. It is noteworthy that a portion of the recovered vessels does not correspond to local production. This circumstance suggests, rather than large-scale trade activity, that visitors brought with them ordinary, inexpensive, and widely available ceramic vessels from their home regions for everyday use.

The bowls found at Tava Tepe are primarily standardized in form and vary in size. Each of them is burnished and framed with incised or deeply incised patterns. However, the bowls from the Chovdar necropolis are sharply differentiated from each other in terms of their shape, ceramic color, and decorative motifs. If we consider that the bowls taken from cists are burial offerings, it suggests a high level of reverence and belief in the afterlife. The bowls and other vessels placed around the deceased were likely specially selected, perhaps as expensive items acquired by the family, to be placed in the tomb.

Interestingly, the bowls from the Chovdar necropolis are, in terms of form, size, and decoration, scaled-down versions of other vessels found in the same necropolis. These similar vessels likely originated from a single artisan's workshop. The analogues of the bowls from the Chovdar necropolis can be found at various sites, including Zeyemchay [26, p. 244], Xanlar [12, p. 98, 112–114], the Gencechay Valley [12, p. 99–102; 17, p. 77; 32, p. 140], Kilikdagh [12, p. 103, 110], Qarabulaq burial mound [12, p. 106], the 2nd burial mound at Boyuk Xanlar [12, p. 108–109; 11, p. 14, 23, 28], Gedabekh [22, p. 121], and Goygol [9, p. 100].

Large bowls or basins. Other vessels found in the cists at the Chovdar necropolis are *khayeras* (large bowls or basins). These *khayeras* were found in 40 out of 156 graves. The preservation of these vessels is generally poor, with almost 90% of them recovered in fragmentary form. The colors of the *khayeras* are uniform, mainly ranging from light black to brown and reddish-brown. These vessels can be categorized based on their shape, size, intended use, and the presence or absence of handles. What is particularly interesting is that, although the shapes of the *khayeras* are similar, their decorative patterns do not repeat. The *khayeras* were used for various domestic purposes, including the storage of dairy products. It is likely that liquid items were kept in *khayeras* with inwardly turned rims, as these vessels have thick walls (fig. 3, 17–22) [13].

Overall, *khayeras* (big and deep bowls) hold significant importance among the pottery of the Khocalı-Gadabey culture [13, p. 740]. They are most commonly found in burial chambers, while they appear in fewer numbers in settlements from the Late Bronze and Early Iron Ages. For example, only a small number of *khayeras* have been found in the Tava Tepe settlement, where approximately 1000 pottery items have been accounted for. Particularly, in the burial sites of the Gedebe group from the 2nd–1st millennium BCE [30, p.19], various types of *khayeras* have been discovered. The *khayeras* found in the Chovdar necropolis are indicative of the pottery used by the Khocalı-Gadabey communities over a period of 300 years [13].

Similar *khayeras* have been found at several other sites, including Zeyemchay [26, 27, 28] Tovuzchay necropolises [29, p. 241–316], Qazaxbeyli [24], Qushchu, Mingachevir [4; 12], Sarıtepe site [33], Xanlar [11, p. 14, 23], and the stone boxes excavated by Davud Sharifov at Chovdar [34].

The necropolis also contains about ten miniature vessels. These miniatures are scaled-down versions of larger vessels and include types such as jars, small jars, bowls, and pitchers. Similar miniature vessels have

been found at Zəyəmchay [26, p. 268, 285] and at sites in the Seyfeli village of Shamxor [17, p. 60, 68].

Churns. Four churns (*nehre*) (fig. 4, 1–4) were discovered at the Chovdar necropolis. These vessels were predominantly found in female graves. All four *churns* share the same form, with a handle placed vertically along the body near the upper section, and a protruding hole beside the handle. The *churns* found in Grave 50 is decorated with geometric patterns that cover the entire surface, created using a burnishing technique (tab 4). This type of decoration is characteristic of *churns* from the Khocalı-Gadabay culture. Similar *churns* have been found at other sites, including Zeyemchay [26, p. 249, 262, 268, 270, 325, 358], the Agdam region [5, p. 91], and the İlanlıtepe burial mound [9, p. 97].

Jars. The finely decorated vessels from the necropolis also include *kuzes* (jars) (fig. 4, 5–12). *Kuzes* are divided into two main groups based on their shape. The first group consists of *kuzes* with long, thin necks, while the second group includes those with short, wide necks. Some of these vessels feature raised patterns on the necks, created by rotating the clay during the shaping process. A few *kuzes* have paired holes on the neck, indicating that they were designed to be suspended. Most of the *kuzes* with burnished decorations feature stamped patterns. These patterns can also be observed on a small number of the *kups* found in the necropolis. Similar *kuzes* have been discovered at Tovuzchay [29, p. 241–316], Zeyemchay [26, p. 272, 285], Gencechay [12, p. 101], Xanlar [12, p. 107], and the Seyfeli village site [17, p. 58].

Jugs. The jugs (*bardag*) found at the Chovdar necropolis vary in size and are primarily decorated with burnished patterns (fig. 5). These vessels typically have short, wide necks, and each features a loop-shaped handle that extends from the rim and curves down to the body. Some *jugs* have twisted patterns on their handles. The bodies of the vessels are generally spherical or wide in shape. Jugs were primarily used for holding liquid products. Analogues of these vessels have been found at Tovuzchay [29, p. 241–316], Zeyemchay [26, p. 249, 253, 259, 265, 348, 357–358], Axmaxı mounds, and at Qushchu and Xanlar mounds [12, p. 106, 118–119].

Mugs. The mugs (*dolchas*) at the Çovdar necropolis are mostly standardized in shape, but their details vary. In one case, the rim of the vessel is turned outward, while the loop-like handles are placed at the rim, extending either to the middle or lower part of the body (fig. 6, 1–10). The bodies of the cups decorated with burnishing techniques feature raised patterns that curve outward, forming evenly spaced ornamental motifs. Two mugs resembling cups, but with wider bodies and shorter handles, were found at the necropolis (graves No. 34 and 155) (fig. 6, 9, 10). Identical vessels have also been found at Zeyemchay and Xanlar mounds [11, p. 14]. Both the cups and mugs were primarily hand-crafted.

Pitchers. Other types of vessels found in the necropolis in small quantities are narrow tall pitchers or *dopuls* (fig. 6, 11, 12). Two examples were discovered in 2019. These jugs are almost entirely hand-crafted and are colored in light brown (orange) and dark brown hues. The brown-colored *dopuls* are poorly fired, while the dark brown ones are burnished and have incised and burnished patterns on their necks. These jugs have loop-shaped handles that connect the rim to the neck. Identical *dopuls* were also found during excavations at Chovdar in 2021 and at the Tovuzchay necropolis [29, p. 241–316].

Pots. Another type of vessel occurring with higher frequency is the pot (cauldron). The rim of each pot opens outward, and in some cases, the rim is turned outward (fig. 7). They have very short necks and seem to consist primarily of the body. Compared to *küp* (large pots), these pots are of medium size. These vessels are poorly fired, with only a small portion of them burnished and decorated. The decoration consists of geometric patterns created by burnishing and incision techniques. Some pots have suspension holes near the rim [24]. The handles of the pots are identical to those of the jugs. The pot found in Grave 94, taken from a cist, is similar to the hundreds of pots discovered at the Tava Tepe site. Similar to our discussion of bowls, the same observations can be made for pots, supported by the variety of pots discovered at Chovdar. Analogous pots have been found at Tovuzchay [29, p. 243, 249, 262, 264, 267–269, 278, 280, 289, 312], Zeyemchay [26, p. 242, 246, 316], and at the Seyfeli village site [17, p. 58].

The necropolis also yielded vessels that do not have analogies in other burial sites. One example is the jar-like vessel found in grave 71 (fig. 6, 13). The base of this vessel is circular, with the rim folded outward and a circular indentation on the upper part of the body. At first glance, the vessel resembles a jar. The bowl discovered in the same grave is also of a “pot-type”, differing from other bowls. Another unique find is the trapezoidal vessel found in the stone box of grave 63, which we have referred to as a *cam* (pots). It has a base

that is perfectly parallel to the surface, with straight walls that slant outward (fig. 6, 14). The vessel is made of rough, brown-colored pottery with a thickness of 1.1 cm. The other vessels found in this grave include a *pot* and *pitcher* (small jars). This grave belonged to a woman aged 30–50.

In general, the sizes of the bases of the vessels from the Chovdar necropolis vary between 3.5 cm and 12.7 cm. Based on their shape, the bases can be classified as convex (outward bulging), concave (inward curved), or flat. In some cases, the imprint of the potter's wheel is clearly visible on the base. Vessels made on the potter's wheel feature bases decorated with burnished patterns, while handmade vessels have bases decorated with incised and carved designs.

The date of pottery was determined by radiocarbon analyses, conducted on several skeletal remains recovered from the Chovdar necropolis. The C-14 dating was carried out at the University of Tokyo, Japan. According to the results, the studied site dates to the 13th–9th centuries BC. The research was based on skeletal samples obtained from eight burials. These findings made it partially possible to determine the chronological framework of Chovdar ceramics, although not all pottery types were represented in these graves.

The precisely dated ceramic assemblage includes jugs, pitchers, jars, cups, bowls, pots, churns, and storage vessels. Among these, the most recent pottery was found in grave No. 50 (fig. 8), which is dated to the 10th–9th centuries BC (1000–890 BC). This cist grave belonged to a young female aged approximately 18 years. The burial inventory comprised a bracelet, earrings, faience, agate and paste beads, bronze hair rings, and head discs [3, p. 221].

Considering that faience production in Azerbaijan dates to the medieval period, these faience beads were likely imported from neighboring regions. This suggests that the mountain communities of the area maintained cultural and trade connections with distant lands. Among the diagnostic pottery of the period are a churn (previously discussed above), a jug, and a medium-sized basin vessel.

Several of the chronologically identified ceramic vessels were recovered from grave No. 12 (fig. 9, 1–6). This burial, dated to the 12th–11th centuries BC (1150–1010 BC), belonged to a male individual. A bronze dagger was also discovered within the burial chamber. A comparable grave of a similar date is grave No. 137, dating to 1130–1010 BC. This grave contained the remains of a woman buried on her left side, whose skeleton was remarkably well preserved. The burial inventory included ceramic vessels (fig. 9, 9–11) numerous agate and paste beads, a pinhead, and bronze bracelets [3, p. 72].

It is noteworthy that pinheads are consistently associated with left-sided burials at the Chovdar necropolis, regardless of age. Such items have been found beside individuals ranging from children to adults up to approximately 50 years old.

Another contemporaneous burial is grave No. 14, dated to the 13th–11th centuries BC (1210–1020 BC). The grave, oriented along a north–south axis, belonged to a woman aged 25–30 years. Excavations of the burial chamber revealed fragments of five ceramic vessels (fig. 9, 7, 8), six pendants, parts of a diadem, three large agate beads, five shell ornaments (possibly cowrie shells), and beads made from bird claws. The diadem fragments were found beneath the skull. It should be noted that diadems, have generally been discovered in graves belonging to young women [3, p. 80].

Graves No. 53 and No. 68, recorded approximately 50–60 years apart, date to the 13th–11th centuries BC (grave No. 53: 1220–1050 BC; grave No. 68: 1260–1000 BC).

Grave No. 53 (fig. 10, 1) is a cist burial, the eastern wall of which was completely destroyed, while one stone from both the northern and southern walls had collapsed. The human skeleton was uncovered in the central part of the chamber; however, the bones were severely decomposed. Only several elements of the lower and upper extremities were relatively well preserved. It was inferred that the individual had been interred in a flexed position, facing west.

This grave stands out for the richness of its burial assemblage. A considerable number of bronze adornments were recovered from the burial chamber, which belonged to a child buried on the left side in a flexed position. Since sex determination for subadult individuals was not feasible, the burial orientation and associated artifacts suggest – albeit tentatively – that the remains may have belonged to a young girl [3, p. 233].

The skeletal remains recovered from the contemporaneous grave No. 68, a cist burial, were found in their original anatomical position, with no evidence of post-depositional disturbance. The deceased was positioned facing south-west, with the arms bent at the elbows and the legs flexed at the knees. A single bronze bracelet was recovered from the arm and leg bones. The funerary offerings had been placed in front of the body.

The burial chamber yielded five ceramic vessels (fig. 11), one bronze dagger with a lattice-patterned hilt, five bronze buttons, two bracelets, one bronze pendant, one large garment ornament, one crescent-shaped pendant, numerous agate beads, five large white beads, and one cylindrical white bead. Among the ceramic assemblage, two vessels are bowls, while the others include a jug, a basin (handled pot), and a jar.

The grave belonged to a male individual aged approximately 30-50 years, who had been interred on his right side in a flexed position [3, p. 297].

Discussion

In archaeological literature, the period known as the “Khojaly-Gedabey culture” encompasses the territories of Central and Western Transcaucasia [31, p.109]. This culture, covering the Late Bronze and Early Iron Ages, has been interpreted in various ways by researchers in terms of its chronological stages. Since the late nineteenth century, the culture has been extensively excavated and studied.

N.V. Minkevich-Mustafayeva, who conducted comprehensive research on this period, divided the Khojaly-Gedabey culture into three chronological phases:

- 1) 13th–11th centuries BC;
- 2) 11th–9th centuries BC;
- 3) 9th–8th centuries BC.

She also classified the culture into three groups based on the specific characteristics of the archaeological materials and included the Chovdar necropolis in the Gedabey group [30, p. 19].

Minkevich-Mustafayeva dated the kurgans and stone-cist graves in the Çovdar area to the 13th–9th centuries BC. Particularly, D. Sharifov's excavations in Çovdar revealed stone-cist graves that were attributed to the middle phase of the Khojaly-Gedabey culture [34]. Minkevich-Mustafayeva notes that bronze weapons are absent in the earliest phase of the Gedabey group, while incriminated pottery belongs to the later two stages. Interestingly, no such decorated ceramics were found at the Chovdar necropolis; instead, bronze weaponry predominates among the artifacts.

According to the author, the use of bronze weapons increased during the developed phase of the culture. A total of 11 bronze knives, used both as weapons and as domestic tools, were discovered, represented in three distinct forms. Except for the specimens from chambers No. 105 and 133, which have pointed tips, the others feature oval-shaped, upward-curving blades. Such knives were mainly used for domestic purposes—particularly for skinning animals without damaging the hides. One knife was found in stone-cist No. 2, two in No. 26, and another in No. 66.

Minkevich-Mustafayeva classified these upward-curved knives as belonging to the first phase of the Karabakh group and the second phase of the Gedabey group within the Khojaly-Gedabey culture [31, p. 114]. Chronologically, they correspond to the 11th–9th centuries BC. The researcher also dated meander-decorated pottery to the 13th–11th centuries BC. At Chovdar, such bowls were uncovered in graves Nos. 65 and 132, corresponding to the early stage of the second phase of the culture.

Minkevich-Mustafayeva further associated bird – and spoon-shaped bronze ornaments with the second phase. Except for those from cist No. 29, the bird figurines were found in pairs connected by chains. Although similar in form, their surface decorations vary. Each figurine has a small bronze loop on its back for attachment to a chain. Figurines Nos. 19 and 136 were found with their chains intact, while two bird figures from cist No. 53 had rings in their beaks with elongated conical pendants attached. Additional decorated bird figurines were discovered in graves Nos. 25 and 111.

In total, 13 spiral-decorated bronze rings were discovered in eight graves of the necropolis, typical of Late Bronze – Early Iron Age burials. Among the head ornaments, only those from graves Nos. 52 and 75 were found intact. These circular cross-section rings do not meet at their ends; instead, one side continues as a spiral, coiling at the opposite end. Fragments of similar rings were unearthed in chamber No. 60, while deformed examples were found in graves Nos. 103, 111, 131, 132, and 136. The author attributed these items to the middle and late phases of the Khojaly-Gedabey culture.

Based on the excavations conducted by D. Sharifov, pottery uncovered from burial groups Nos. 9 (graves 186–204) and 19 (graves 294–316) (MATM, Inventory Book No. 1) was dated by M. Huseynova to the 14th-13th centuries BC in her study on pottery from the Late Bronze and Early Iron Ages [12, p. 201].

The Zeyemchay necropolis, which displays the characteristic features of the Khojaly-Gedabey culture, contains earthen graves dating from the 14th to 8th centuries BC, with the majority belonging to the 13th–11th centuries BC [26, p. 98]. Chronological analyses indicate that embossed, leaf-shaped bronze spearheads represent the developed stage of the culture.

At the Çovdar necropolis, bronze spearheads are represented by three types. The earliest type has a leaf-shaped blade and an incompletely tubular socket. These socketed spearheads, often with perforations at the base, were manufactured by hammering technique and were found in graves Nos. 15, 20, 35, 45, 80, and 111 [26, fig. 128, grave 117]. Dagger fragments with lattice-patterned hilts were dated to the 12th–11th centuries BC, and numerous examples of this type were also found at Chovdar.

Parallels between the Chovdar, Zeyemchay, and Tovuzchay necropolises indicate shared burial traditions. In all three sites, the orientation of the burials correlates with the sex of the deceased: right-side burials accompanied by weapons belong to males, while left-side burials with head ornaments correspond to females. Anthropological studies confirm that diadems were found in the graves of women aged approximately 25–30 years. In each of the mentioned necropolises, diadems occur exclusively in left-side (female) burials.

Radiocarbon analyses of samples from the Zeyemchay and Tovuzchay sites date the burials to between the 13th and 9th centuries BC, consistent with the chronological range of the Chovdar necropolis.

Based on the analytical results of the samples taken from grave No. 185 excavated during the 2021 archaeological investigations at the Chovdar necropolis, the burial has been dated to the 13th–12th centuries BCE [20]. It should be noted that the artifacts from this grave display analogies with the materials obtained from the chamber tomb excavated and studied in 2019. Furthermore, the radiocarbon (C14) analyses of the Emirvar kurgan, which shares typological and cultural similarities with the Chovdar necropolis, indicate a date corresponding to the early 9th–10th centuries BCE [6]. The materials from the Xoshbulaq settlement, excavated by B. Jalilov in 2020, also fall within the same chronological framework of the 9th–10th centuries BCE [7]. All of these archaeological sites are attributed to the Khojaly-Gedabey culture.

Conclusion

Considering both radiocarbon results and comparative analyses of metal artifacts and ornaments, it has been determined that burial practices in Chovdar took place between the 13th and 8th centuries BC [16]. This evidence suggests that the potters – bearers of the Khojaly-Gedabey cultural tradition – maintained a continuous settlement and stable ceramic-production tradition, with only minor stylistic variations over several centuries.

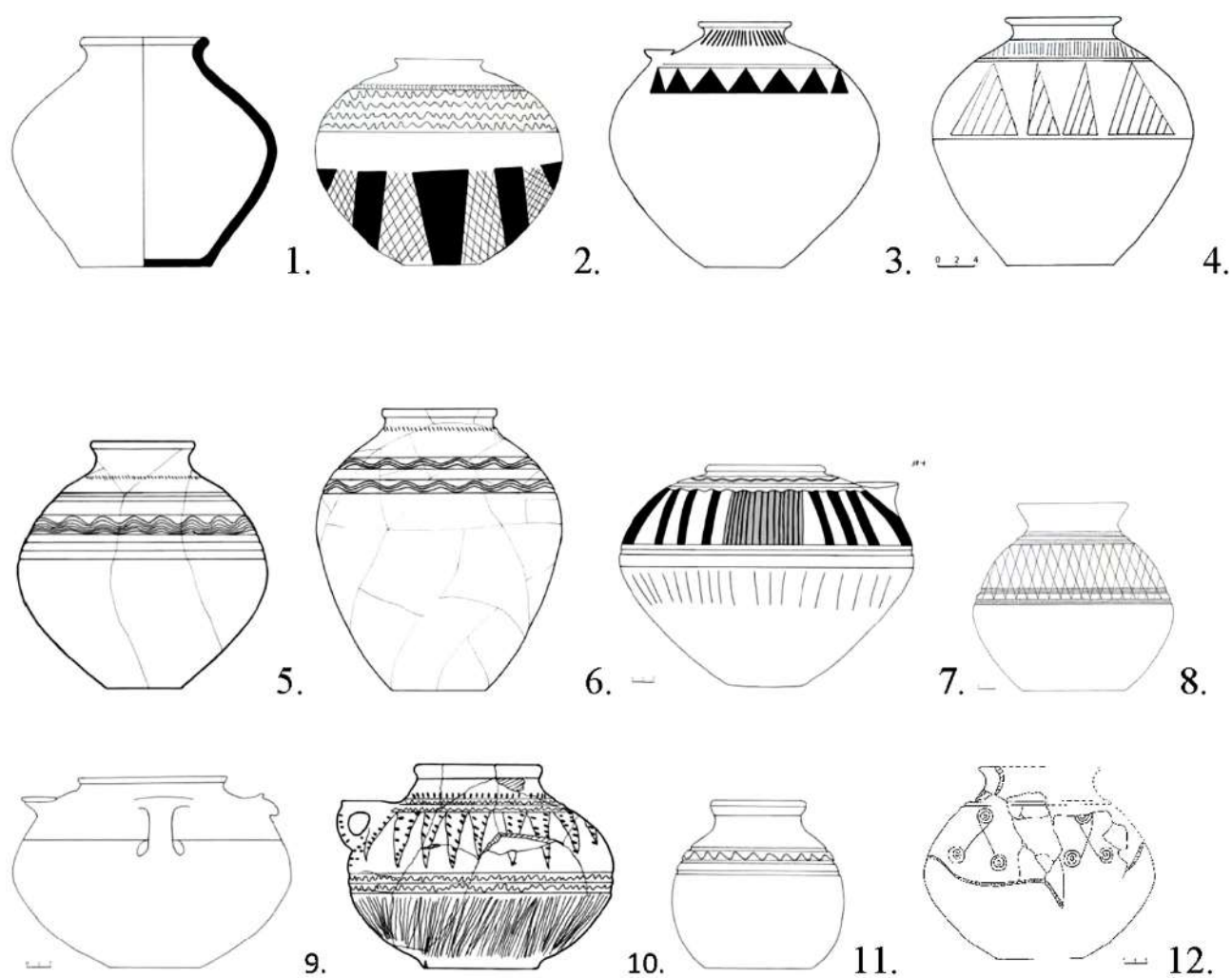
Acknowledgments: I would like to express my gratitude to the expedition leaders at the Chovdar Necropolis, Associate Professors Bakhtiyar Jalilov, Safar Ashurov, Muzaffar Huseynov, and the leading anthropologist Vusal Gasanova, as well as to the prominent researchers Fidan Aliyeva, Sevinj Huseynova and research assistant İlahe Nehmatova, Afig Abdullayev and Associate Professor Natiq Alishov for their invaluable contributions.

Благодарности. Я хотела бы выразить признательность руководителям экспедиции в некрополе Човдар — доцентам Бахтияру Джалилову, Сафару Ашурову и Музаффару Гусейнову, а также ведущему антропологу Вусал Гасановой, выдающимся исследователям Фидан Алиевой и Севиндж Гусейновой, научным сотрудникам Илахе Нехматовой и Афигу Абдуллаеву и доценту Натику Алишову за их неоценимый вклад.



Fig. 1. The Chovdar necropolis. Structure of the cist graves: burials on the left (a) and right (b) side

Рис 1. Некрополь Човдар. Структура каменных ящиков-гробниц некрополя Човдар. Погребения на левом (a) и правом (b) боку

Fig. 2. Chovdar necropolis. Storage vessels. *Küps* (1–7), pots (8–12)Рис. 2. Некрополь Човдар. Тарные сосуды. *Кюпы* (1–7), горшки (8–12)

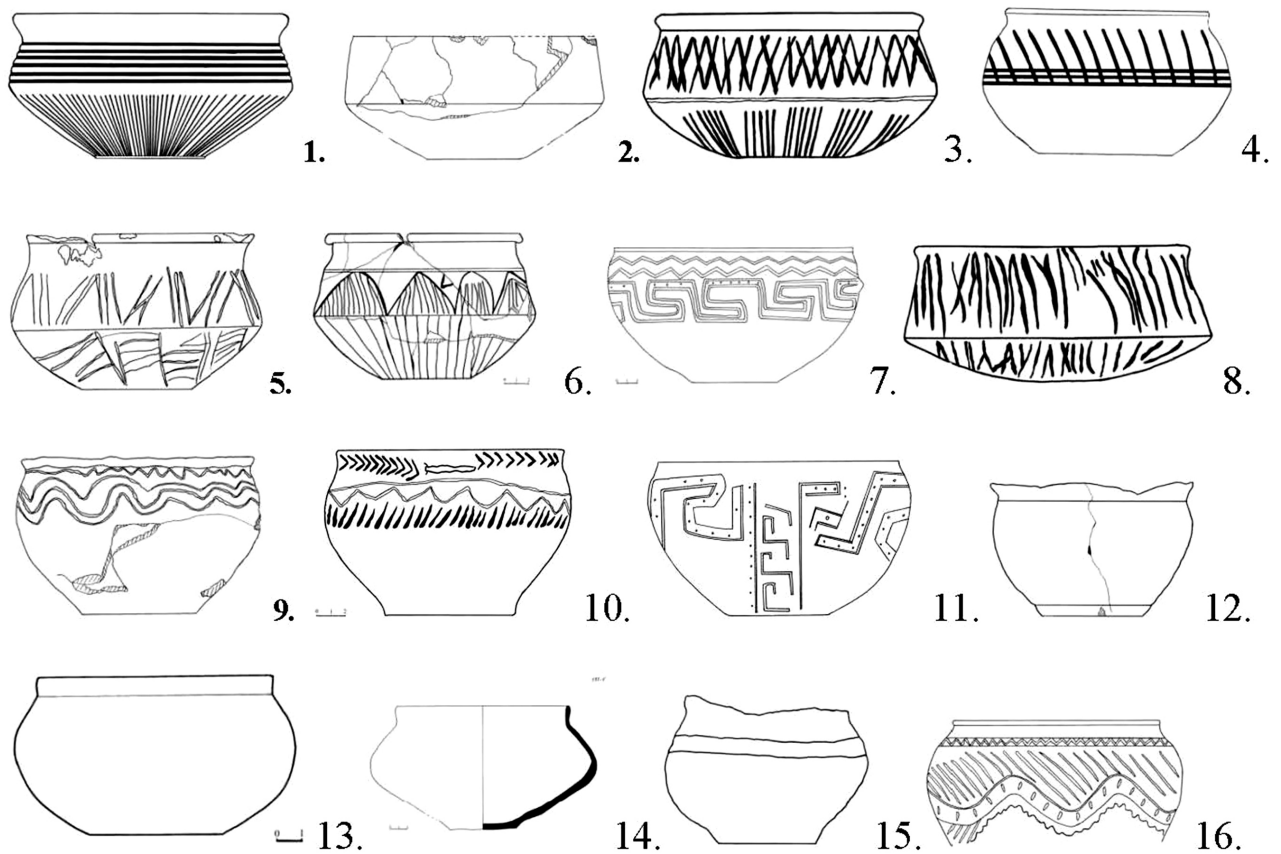


Fig. 3. Chovdar necropolis. Bowls (1-6) and basins (large bows) (17-22)

Рис. 3. Некрополь Човдар. Миски (1-16) и тазы (17-22)

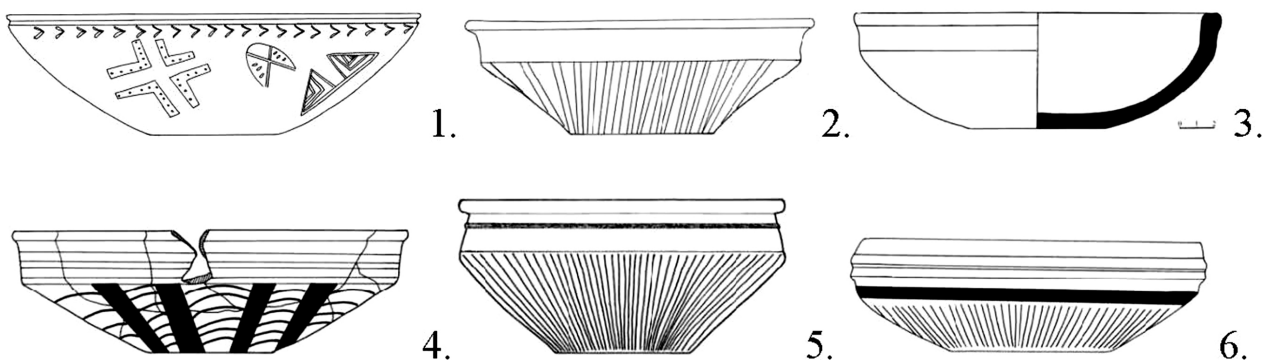


Fig. 4. Chovdar necropolis. Churns (1-4) and jars-kuzes (5-12)

Рис. 4. Некрополь Човдар. Маслобойки (1-4) и баночные сосуды-кузе (5-12)

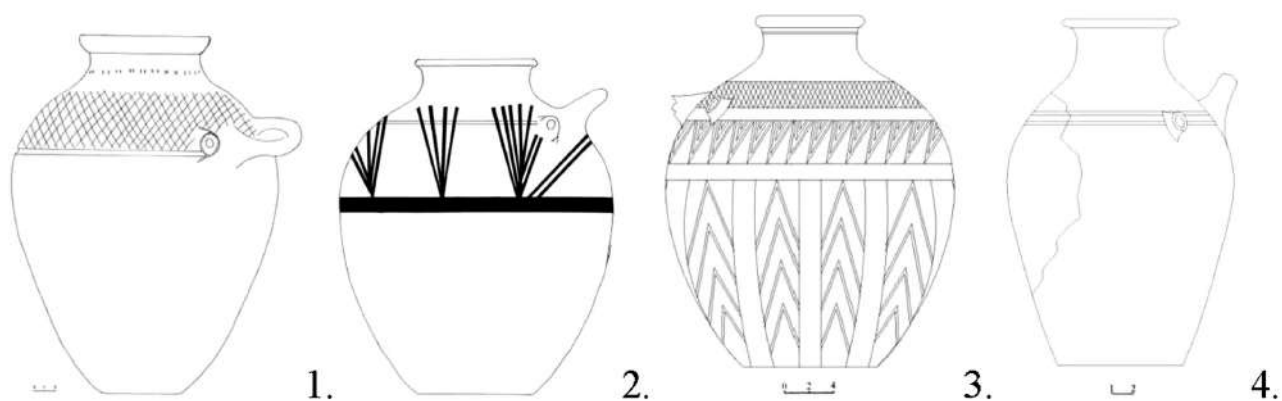


Fig. 5. Chovdar necropolis. Jugs-bardags

Рис. 5. Некрополь Човдар. Кувшины-бардаг

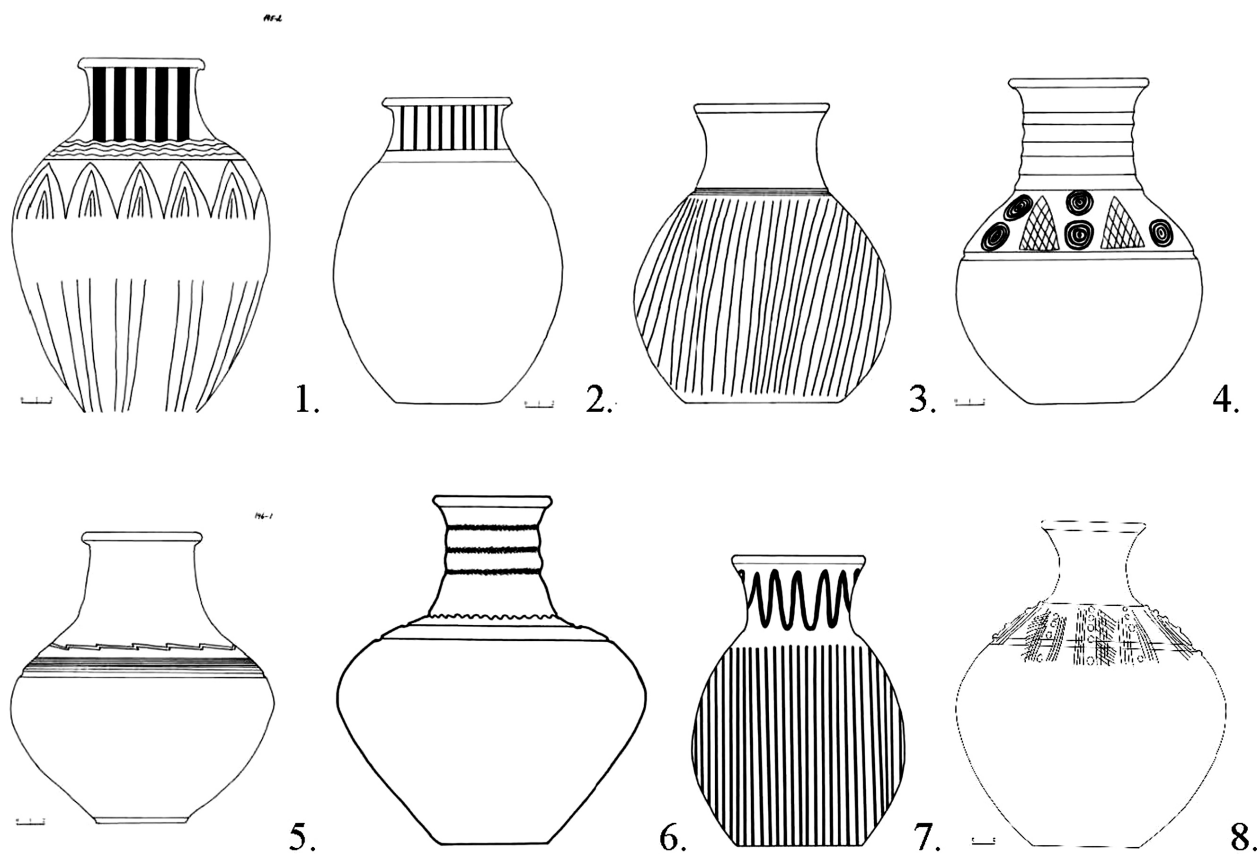


Fig. 6. The Chovdar necropolis: dolcha mugs (1–10), dopul pitchers (11, 12), and vessels without parallels (13, 14)

Рис. 6. Некрополь Човдар. Кружки-дольчи (1–10), кувшины-допулы (11, 12), сосуды без аналогий (13, 14)

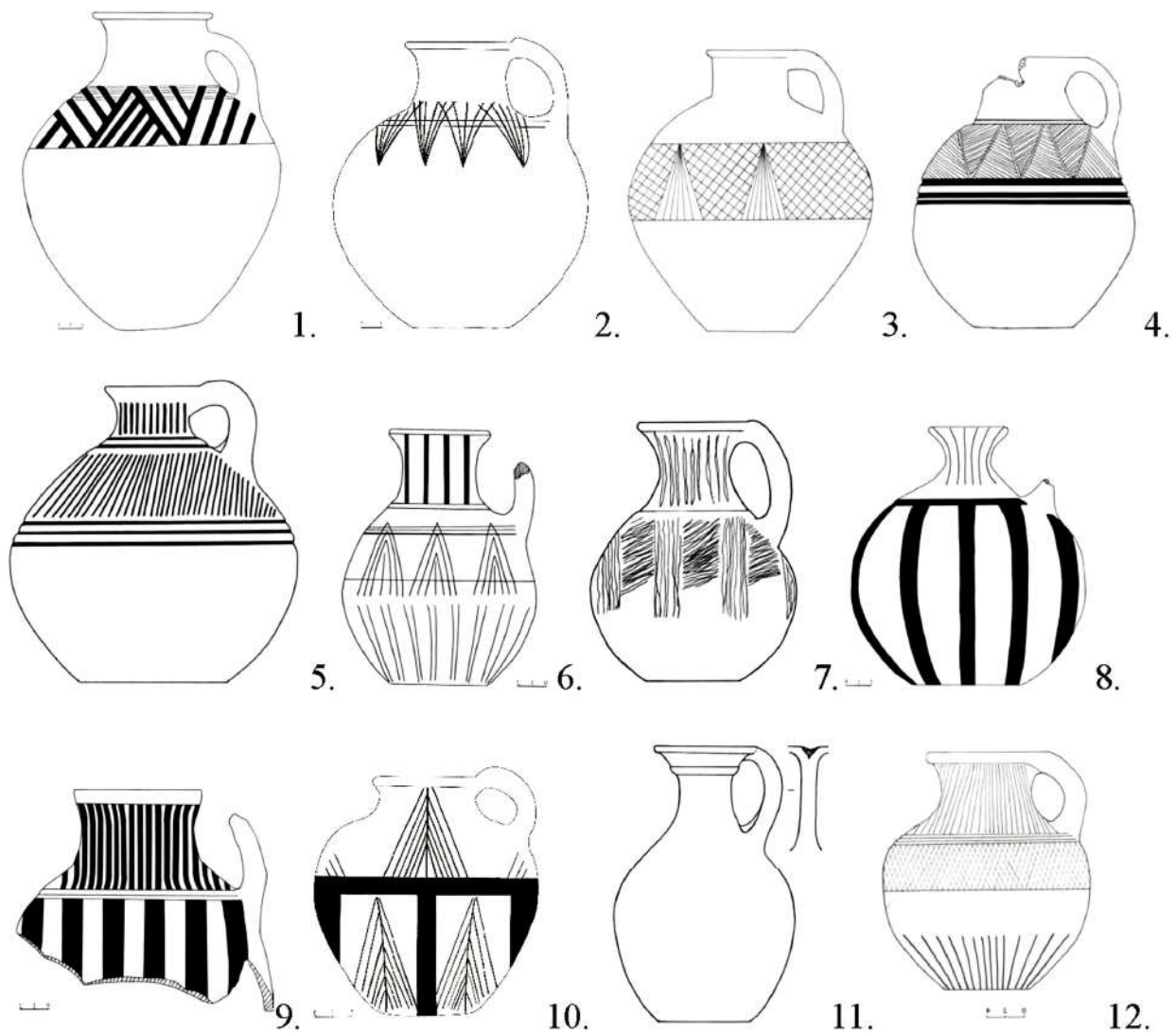


Fig. 7. Chovdar necropolis. Pots

Рис. 7. Некрополь Човдар. Горшки

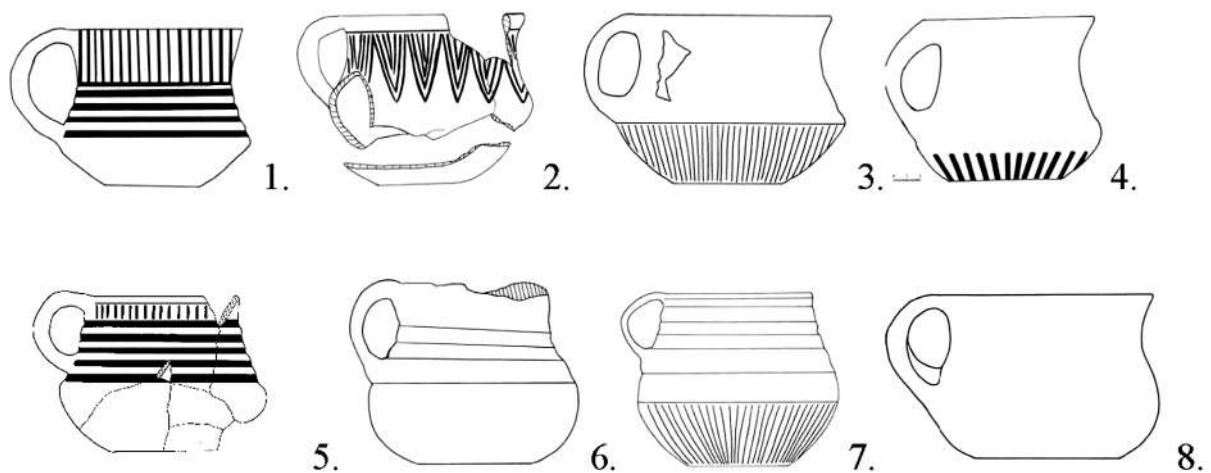


Fig. 8. Chovdar necropolis. Cist grave No. 50. Ceramic vessels

Рис. 8. Некрополь Човдар. Могила № 50. Керамические сосуды

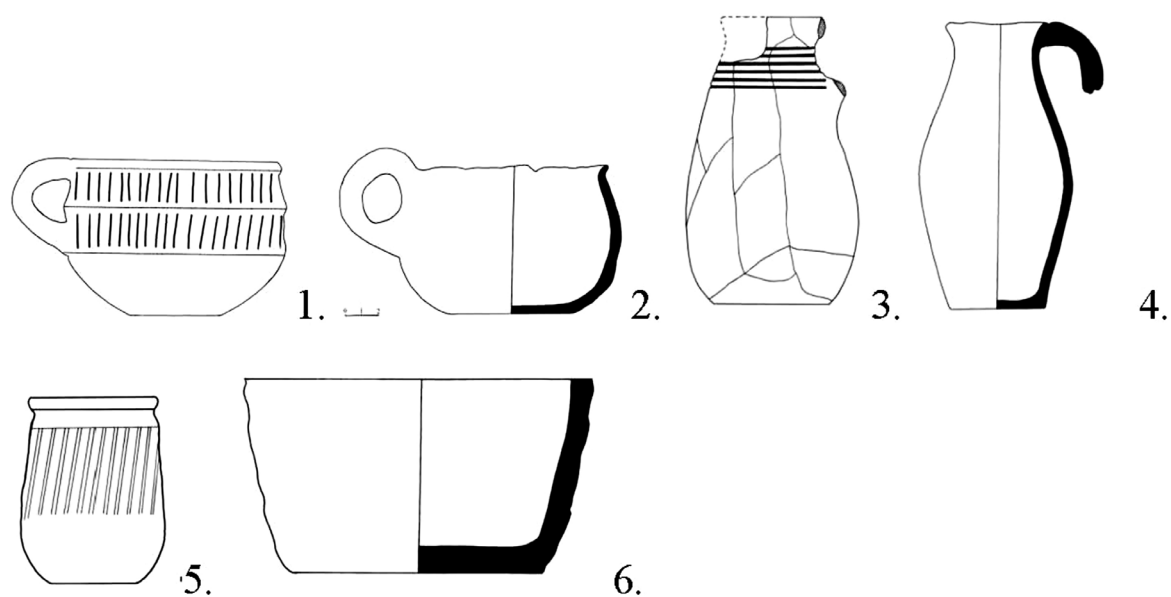


Fig. 9. Chovdar necropolis. Ceramic vessels from the cist graves No. 12 (1-6), 14 (7, 8), 137 (9-11)

Рис. 9. Некрополь Човдар. Керамические сосуды из могил №№ 12 (1-6), 14 (7, 8), 137 (9-11)

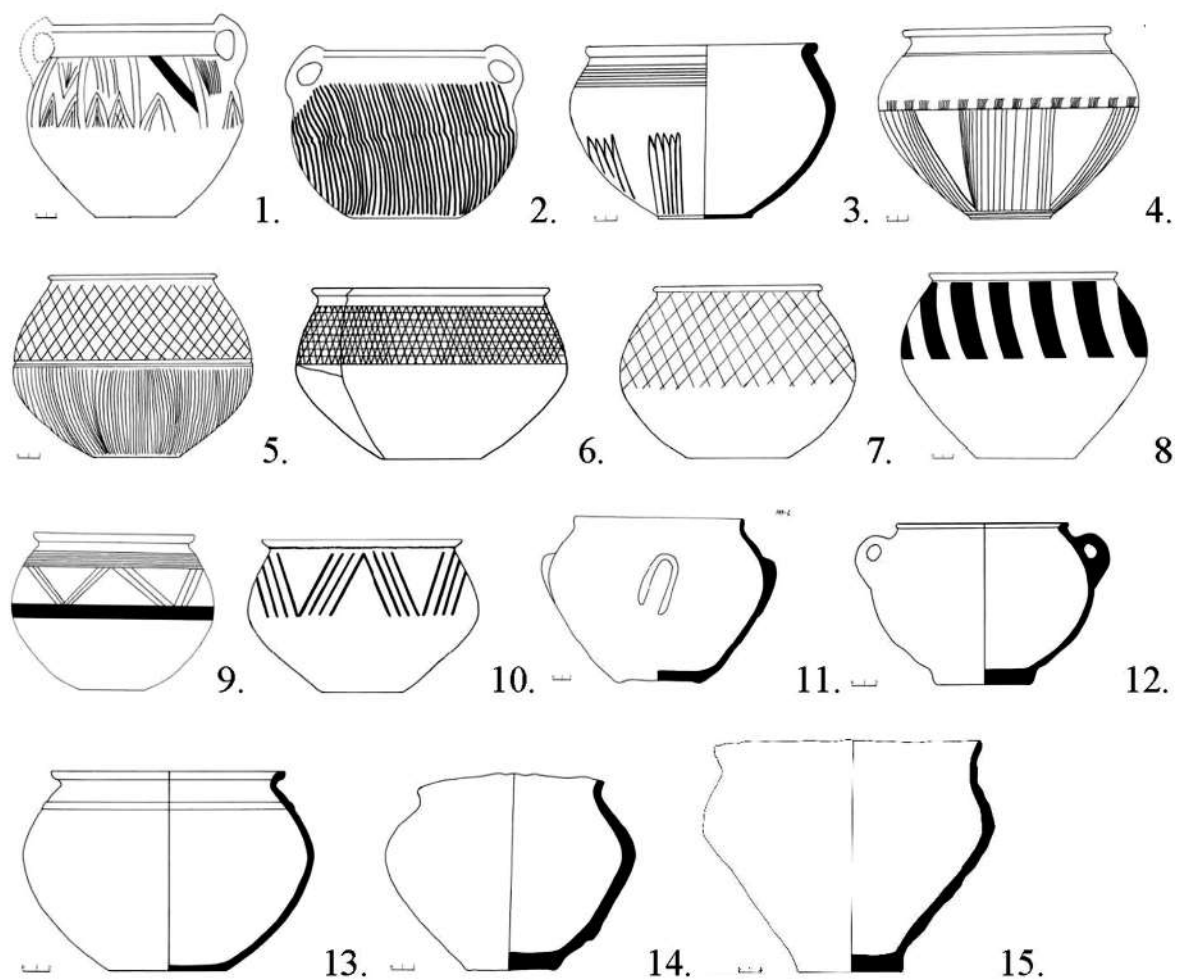


Fig. 10. Chovdar necropolis. Cist grave No. 53. General view (1) and ceramic vessels (2-4)

Рис. 10. Некрополь Човдар. Могила № 53. Общий вид (1) и керамические сосуды (2-4)



Fig. 11. Chovdar necropolis. Cist grave No. 68. Ceramic vessels

Рис. 11. Некрополь Човдар. Могила № 68. Керамические сосуды



Grave No.12



Fig. 12. Chovdar necropolis. Ceramic vessels from the stone-box graves No. 12 (1-6), 14 (7, 8), 137 (9-11)

Рис. 12. Некрополь Човдар. Керамические сосуды из могил №№ 12 (1-6), 14 (7, 8), 137 (9-11)



Grave No. 53



Fig. 13. Chovdar necropolis.
Stone-box grave No. 53. General view (1)
and ceramic vessels (2-4)

Рис. 13. Некрополь Човдар.
Могила № 53. Общий вид (1)
и керамические сосуды (2-4)



Fig. 14. Chovdar necropolis. Stone-Box grave No. 68. Ceramic vessels.

Рис. 114 Некрополь Човдар. Могила № 68. Керамические сосуды

REFERENCES

1. Ashurov SH., and Jalilov, BM. *Bir Khojaly–Gadabey madani abidesi – Chovdar necropolis*. “Shusha–270”: Tezises of the Republican Scientific Conference on Archaeology, History, Ethnography and Anthropology. Baku, February 18, 2022: 14. (in Azerbaijani)
2. Ashurov SH., and Jalilov, BM. *Chovdar necropolis. Heydar Aliyev–100: Proceedings of the Republican Scientific Conference on Priority Issues of Archaeology, Ethnography and Anthropology Sciences in Azerbaijan*. Baku, 2023: 310–318. (in Azerbaijani)
3. Ashurov SH., Jalilov BM., Huseynova L.Ə., and Xelifova Əliyeva F. *Chovdar Nekropolu*. Baku: Parlaq İmzalar Publishing House, 2025. 224 p. (in Azerbaijani)
4. Berzelius-Nalchagarov S.L. Excavations in the vicinity of the village of Bayan, Ganja Uyezd (summer 1925). *Izvestiya Azkomstara*. 1929; 4(2): 233. (In Russ)
5. Jafarov H., Jafarova D., and Aliyev N. *Field research of the Karabakh archaeological expedition in 2009 (Aghdam region)*. *Azerbaijan Archaeological Research*. Baku, 2009: 91. (in Azerbaijani)
6. Jalilov B. *Daskasan rayonu Amirvar kəndində kurganlarda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə dair hesabat*. Institute of Archaeology and Anthropology of ANAS, Scientific Archive Department, 2017; 654: 33. (in Azerbaijani)
7. Jalilov B. *Daskasan rayonu Khoshbulaq kəndində kurganlarda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə dair hesabat*. Institute of Archaeology and Anthropology of ANAS, Scientific Archive Department. 2020; 853: 33. (in Azerbaijani)
8. Jalilov B. *Erken Tunc dövrü tayfalarının defin adətləri: kurganlar*. *Archaeology and Ethnography of Azerbaijan*. 2013; 2: 28. (in Azerbaijani)
9. Jalilov BM., and Alasgarov AS. *Results of archaeological research conducted in the Ganja–Goranboy regions*. *Azerbaijan Archaeological Research*. Baku, 2009: 97. (in Azerbaijani)
10. Jalilov BM., Akhundova NA., and Mirzoyeva TA. *Uzun Rama and Zaylik kurgans: archaeological research*. *Azerbaijan Archaeological Research 2015–2016*. Baku, 2017: 137. (in Azerbaijani)
11. Hummel J. *Archaeological essays*. Baku, 1940.
12. Huseynova M. *Ceramics of Eastern Transcaucasia in the Late Bronze and Early Iron Age (14th–9th centuries BC)*. Baku, 1989.
13. Huseynova L. *Basins of the Chovdar Necropolis (based on 2019 excavations)*. 7th International Baskent Congress on Physical, Social and Health Sciences, 2019: 736–747.
14. Huseynova L. *The Late Bronze–Early Iron Age monument in the high mountain area of the Little Caucasus: Chovdar Necropolis*. *Global Journal of Archaeology and Anthropology*, Vol.13, Issue 1, March 2023.
15. Huseynova L. *Qarabağda Chovdar keramika ornamentlərinin analoqları*. “Shusha–270”: Tezises of the Republican Scientific Conference on Archaeology, History, Ethnography and Anthropology. Baku, February 18, 2022: 27–28. (in Azerbaijani)
16. Huseynova, L. *Chovdar nekropolunda aşkar edilmiş keramika nümunələrindən biri*. *Actual Issues of Research, History and Theory of Archaeological Heritage in Azerbaijan: Collection of Articles Dedicated to the 70th Anniversary of Bahlul Ibrahimli*. Baku, 2023: 201. (in Azerbaijani)
17. Khalilov JA. *Archaeological monuments of Western Azerbaijan belonging to the Bronze Age and the beginning of the Iron Age*. Baku, 1959. (in Azerbaijani)
18. Jalilov, B. *The Collective Burial Kurgan of Uzun Rama*. TUBA–AR, Ankara, 2018.
19. Jalilov B. *New Burial Traditions and Early Kurgan Cultures in Late Chalcolithic and Early Bronze Age Azerbaijan*. *The Caucasus Conference*, Frankfurt am Main, 2018, p. 175.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aşurov S.H., və Cəlilov B.M. *Bir Xocalı–Gədəbəy mədəni abidəsi – Çovdar nekropolu*. “Şuşa–270”: Arxeologiya, Tarix, Etnoqrafiya və Antropologiya üzrə Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı, 18 fevral 2022, s. 14.
2. Aşurov S.H., və Cəlilov B.M. *Çovdar nekropolu*. Heydər Əliyev–100: Azərbaycan Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya Elmlərinin Prioritet Məsələləri üzrə Respublika Elmi Konfransının Məqalələr Topluğu. Bakı, 2023, s. 310–318.
3. Aşurov S.H., Cəlilov B.M., Huseynova L.Ə., and Xəlifova Əliyeva F. *Çovdar Nekropolu*. Baku: Parlaq İmzalar Publishing House, 2025. 224 p.
4. Берцелиус-Налчагаров С.Л. Раскопки в окрестностях селения Баян, Ганджинского уезда (лето 1925 г.). *Известия Азкомстариса*, выпуск №4, тетрадь 2. Баку, 1929.
5. Cəfərov H., Cəfərova D., və Əliyev N. 2009-cu ildə Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının (Ağdam rayonu) sahə tədqiqatları. *Azərbaycan Arxeoloji Tədqiqatları*. Bakı, 2009.
6. Cəlilov Bəxtiyar. Daşkəsən rayonu Əmirvar kəndi yaxınlığında kurganlarda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə dair hesabat. *AMEA Arxeologiya və Antropologiya şöbəsi, Elmi Arxiv şöbəsi*, 2017, №654. S. 33.
7. Cəlilov Bəxtiyar. Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kəndi yaxınlığında kurganlarda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə dair hesabat. *AMEA Arxeologiya və Antropologiya şöbəsi, Elmi Arxiv şöbəsi*, 2020, №853.
8. Cəlilov B. Erkən Tunc dövrü tayfalarının dəfn adətləri: kurganlar. *Azərbaycanın Arxeologiyası və Etnoqrafiyası*, №2, 2013.
9. Cəlilov B.M., və Ələsgərov A.S. Gəncə–Goranboy bölgələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatların nəticələri. *Azərbaycan Arxeoloji Tədqiqatları*. Bakı, 2009.
10. Cəlilov B.M., Əxundova N.A., və Mirzəyeva T.A. Uzun Rama və Zəylik kurganlarında aparılmış arxeoloji tədqiqatlar. *Azərbaycan Arxeoloji Tədqiqatları 2015–2016*. Bakı, 2017. S. 137.
11. Гуммель Я. Археологические очерки. Баку, 1940.
12. Гусейнова М. Керамика Восточного Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа XIV–IX вв. до н.э. Баку, 1989, табл. XII–XX.
13. Huseynova L. *Basins of the Chovdar Necropolis (based on 2019 excavations)*. 7th International Baskent Congress on Physical, Social and Health Sciences, 2019. Pp. 736–747.
14. Huseynova L. *The Late Bronze–Early Iron Age monument in the high mountain area of the Little Caucasus: Chovdar Necropolis*. *Global Journal of Archaeology and Anthropology*, Vol. 13, Issue 1, March 2023.
15. Hüseynova L. *Qarabağda Çovdar keramika ornamentlərinin analoqları*. “Şuşa–270”: Arxeologiya, Tarix, Etnoqrafiya və Antropologiya üzrə Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı, 18 fevral 2022. S. 27–28.
16. Hüseynova L. *Çovdar nekropolunda aşkar edilmiş keramika nümunələrindən biri*. *Azərbaycan Arxeoloji İrsinin Tədqiqi, Tarixi və Nəzəri Məsələləri: Bəhlul İbrahimlinin 70 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu*. Bakı, 2023. S. 201.
17. Xəlilov C.A. Qərbi Azərbaycanda Tunc dövrü və Dəmir dövrünün başlanğıcına aid arxeoloji abidələr. Bakı, 1959, 171 s.
18. Jalilov B. *The Collective Burial Kurgan of Uzun Rama*. TUBA–AR, Ankara, 2018. P. 96.
19. Jalilov B. *New Burial Traditions and Early Kurgan Cultures in Late Chalcolithic and Early Bronze Age Azerbaijan*. *The Caucasus Conference*, Frankfurt am Main, 2018. P. 175.
20. Jalilov B., Huseynov M.M., & Huseynova L. *Research conducted in Chovdar in 2021*. XVI International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium / Art Activity, 11–13 July 2022, Romania. Pp. 111–121.
21. Jalilov B., Laneri N., Huseynova L., Mendola A., Mamma-na R., Cardini V., Axundova N., & Mustafayeva N. *Archaeological*

20. Jalilov B., Huseynov MM., and Huseynova L. *Research conducted in Chovdar in 2021. XVI International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium / Art Activity*, July 11–13, 2022, Romania, pp. 111–121.
21. Jalilov B., Laneri N., Huseynova L., Mendola A., Mammana R., Cardini V., Akhundova N., and Mustafayeva N. *Archaeological research conducted by the Azerbaijani–Italian international expedition in 2023 at the Tava Tepe Late Bronze–Early Iron Age monument. Abstracts of the Scientific Session Dedicated to the Results of Archaeological Excavations Conducted in Azerbaijan in 2023*. Baku, 2023.
22. Kesamanly GP. Khachbulag kurgan with mass burial. *Material Culture of Azerbaijan. Vol. VIII*. Baku: Elm, 1976.
23. Gaziyeu S.M. *Mingachevir erazisinde arxeoloji abideler*. AMM, Vol. I, 1949. S. 71–86.
24. Gaziyeu S.M. *Qazakh ve Aghstafa rayonlarinda arxeoloji ve tarixi abideler (1957)*. AMM. 1962; 4: 140–170.
25. Laneri N., Jalilov B., Valentini S., Cardini V., Mammana R.C., and Mendola A. *A ritualized landscape in the Southern Caucasus: preliminary results (2021–23) of the Azerbaijani–Italian archaeological excavation at Tava Tepe (Western Azerbaijan)*. *Anatolica*. 2024; 50: 67–100.
26. Museyibli N. and Najafov Sh. *Zayamchay necropolis*. *Science and Education*. Baku, 2019.
27. Museyibli NA. and Agayev GH. *Scientific report of archaeological excavations conducted in 2003 by BTC and SCP archaeological expedition in Zayamchay necropolis*. 141 p.
28. Museyibli NA. *Archaeological excavations in the Zayamchay necropolis*. *Azerbaijani Archaeology and Ethnography*, No.2, 2004: 58–74.
29. Museyibli NA., Najafov Sh., and Huseynov M. *Tovuzchay necropolis*. *Science and Education*. Baku, 2021.
30. Minkevich-Mustafayeva NV. *Khabaly–Gedabek archaeological culture*. Author's abstract of PhD thesis. Baku, 1961.
31. Minkevich-Mustafayeva N.V. On the dating and chronological stages of some monuments of Azerbaijan of the Late Bronze and Early Iron Age. *Material Culture of Azerbaijan. Vol. 4*. Baku: Publishing House of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, 1962: 109.
32. Narimanov I. *Archaeological monuments of the Ganjachay region*. Publishing House of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR. Baku, 1958.
33. Narimanov IH. and Khalilov JA. *Saritepe archaeological excavations (1956)*. AMM. Vol. 1962; 4: 6–67.
34. Sharifov DM. Excavations near the village of Chovdar, Ganja Uyezd. *Izvestiya Azkomstarisa*. 1929; 4(2): 239–260.
35. Nakel W., and Yeva Sh. *Galakand*. Baku: Diplomat Publishing House, 1999.
- research conducted by the Azerbaijani–Italian international expedition in 2023 at the Tava Tepe Late Bronze–Early Iron Age monument. Abstracts of the Scientific Session Dedicated to the Results of Archaeological Excavations Conducted in Azerbaijan in 2023. Baku, 2023. P. 42.
22. Кесаманли Г.П. Хачбулагский курган с массовым захоронением. Материальная культура Азербайджана, Том VIII. Баку: Издательство «Эльм», 1976.
23. Qaziyeu S.M. Mingachevir erazisinde arxeoloji abideler. AMM, Cild I, 1949. S. 71–86.
24. Qaziyeu S.M. Qazax və Ağstafa rayonlarında arxeoloji və tarixi abidələr (1957-ci il). AMM, Cild IV, 1962. S. 140–170.
25. Laneri N., Jalilov B., Valentini S., Cardini V., Mammana R.C., & Mendola A. A ritualized landscape in the southern Caucasus: preliminary results (2021–23) of the Azerbaijani–Italian archaeological excavation at Tava Tepe (Western Azerbaijan). *Anatolica*. 2024. №50. Pp. 67–100.
26. Müseyibli N., və Nəcəfov Ş. Zəyəmçay nekropolu. Elm və Təhsil. Bakı, 2019.
27. Müseyibli N.A., və Ağayev Q.H. 2003-cü ildə BTC və SCP arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən Zəyəmçay nekropolunda aparılmış arxeoloji qazıntıların elmi hesabatı. 141 s.
28. Müseyibli N.A. Zəyəmçay nekropolunda aparılmış arxeoloji qazıntılar. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №2, 2004, s. 58–74.
29. Müseyibli N.A., Nəcəfov Ş., və Hüseynov M. Tovuzçay nekropolu. Elm və Təhsil. Bakı, 2021.
30. Минкевич-Мустафаева Н.В. Ходжалы–Кедабекская археологическая культура: Автореферат. Баку, 1961.
31. Минкевич-Мустафаева Н.В. О датировке и хронологических этапах некоторых памятников Азербайджана эпохи поздней бронзы и раннего железа. Материальная культура Азербайджана. Том 4. Баку: Издательство Академии Наук АзССР, 1962.
32. Nərimanov İ. Gəncəçay bölgəsinin arxeoloji abidələri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1958.
33. Nərimanov İ.H., və Xəlilov C.A. Sarıtepe arxeoloji qazıntıları (1956). AMM, Cild IV, 1962. S. 6–67.
34. Шарифов Д.М. Раскопки близ с. Човдар Ганджинского уезда. Известия Азкомстариса о-ва обследования и изучения Азербайджана. Вып. 4. Тетрадь 2. Баку, 1929. С. 239–260.
35. Nakel V., Yeva Ş. Qalakənd. Bakı: “Diplomat” Nəşriyyatı, 1999, s. 225.

Поступила в редакцию 17.11.2025 г.

Принята в печать 11.02.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 17.11.2025

Accepted 11.02.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223569-580>

Исследовательская статья

Яворская Лилия Вячеславовна
к.и.н., старший научный сотрудник
Институт археологии РАН, Москва, Россия
lv.yavorskaya@gmail.com

Юрков Владлен Глебович
лаборант
Институт археологии РАН, Москва, Россия;
студент биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
vladlen.yurkov.v@mail.ru

Требелева Галина Викторовна
к.и.н., научный сотрудник
Институт археологии РАН, Москва, Россия
trgv@mail.ru

РАСКОП «ПИФОСЫ» МАРКУЛЬСКОГО ГОРОДИЩА: КОСТНЫЕ ОСТАТКИ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ И ПИФОСОВ

Аннотация. В работе представлено исследование, проведенное на Маркульском городище, расположенном в Очамчирском районе Республики Абхазия, недалеко от античного полиса Гюэнос, на левом берегу реки Моква, в 10 км от берега моря. Городище относится к многослойным памятникам, в 2021 г. на его юго-западном склоне обнаружен могильник римского времени, над которым располагался склад пифосов III–VII вв. Проведенные позднее исследования показали, что на данном участке под слоем могильника расположены слои позднеэллинистического и эллинистического времени. В работе рассматриваются два комплекса костей животных: «кухонные остатки» из слоев и кости из заполнения пифосов. Исследование коллекции костных остатков животных проводилось по методической схеме, разработанной в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН. «Кухонные» костные остатки рассмотрены из культурных напластований по трем хронологическим горизонтам – ранневизантийско-римскому, позднеэллинистическому и эллинистическому. Таким образом удалось установить особенности экономической жизни города в разные эпохи. Во всех трех исследованных горизонтах культурных напластований наибольшее количество составляют остатки домашних копытных. В остеологическом спектре «мясных» домашних животных преобладают кости свиней, далее следуют кости крупного рогатого скота, остатки мелкого рогатого скота и в небольшом объеме лошадей. В мясной диете населения памятника римско-ранневизантийского периода свинина (47,2%) и говядина (45%) имеют почти одинаковый вес. Изучение костных остатков из заполнения пифосов также отражает хозяйственную жизнь памятника. Выявление и определение костей грызунов и насекомых животных из заполнения сосудов позволило уточнить, что в пифосах, функционировавших в ранневизантийский период, хранилось зерно. Склад на Маркульском городище погиб в момент землетрясения середины VII в. и не восстанавливался. Уцелевший большой пифос вместил в себя остатки жертвенного козленка, тушка которого была разделана, но почти полностью сохранна. Эту находку можно связать с ритуальными практиками позднейшего населения городища.

Ключевые слова: Колхида; Маркульское городище; античность; византийский период; пифосы; археозоология; остеологические спектры; мясное потребление

Для цитирования: Яворская Л.В., Юрков В.Г., Требелева Г.В. Раскоп «пифосы» Маркульского городища: костные остатки животных из заполнения культурных слоев и пифосов // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 569-580. doi.org/10.32653/CH223569-580

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223569-580>

Research paper

Liliya V. Yavorskaya
Cand. Sci., Senior Researcher
Institute of Archaeology of the RAS, Moscow, Russia
lv.yavorskaya@gmail.com

Vladlen G. Yurkov
Laboratory Assistant
Institute of Archaeology of the RAS, Moscow, Russia;
Student at the Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
vladlen.yurkov.v@mail.ru

Galina V. Trebeleva
Cand. Sci., Researcher
Institute of Archaeology of the RAS, Moscow, Russia
trgv@mail.ru

THE “PITHOI” EXCAVATION AT THE MARKUL SETTLEMENT: ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF ANIMAL BONES FROM CULTURAL LAYERS AND VESSEL FILLS

Abstract. The Markul settlement is a multi-layered archaeological monument situated on the left bank of the Mokva River in the Ochamchira district of the Republic of Abkhazia, 10 km from the ancient coastal polis of Gyuenos. Excavations conducted on the southwestern slope in 2021 exposed the structural remains of a 3rd–7th century AD pithos warehouse alongside a Roman-period cemetery, beneath which lay stratified cultural deposits dating to the Late Hellenistic and Hellenistic eras. This study presents a comprehensive archaeozoological analysis of two distinct bone assemblages: microfaunal and macrofaunal remains recovered from the interior fill of storage pithoi, and animal bones collected as dietary refuse across three chronological horizons: Hellenistic, Late Hellenistic, and Roman–Early Byzantine. Osteological identifications were carried out according to the standardized methodological protocol established by the Laboratory of Natural Science Methods at the Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences. The faunal remains indicate that domestic ungulates served as the primary source of animal protein throughout all three chronological phases. The meat-consumption profile across all layers was consistently dominated by domestic pig, followed by cattle, whereas small livestock and horse remains occurred in markedly lower proportions. During the Roman–Early Byzantine period, dietary patterns shifted noticeably relative to earlier epochs, with pork accounting for the largest share (47.2%) alongside a substantial representation of beef (45.0%). Concurrently, the identification of rodent and insectivore bones within the pithos matrix confirms that these large ceramic vessels were deployed during the Early Byzantine period for bulk grain storage. Stratigraphic evidence demonstrates that the storage facility was destroyed by an earthquake in the mid-7th century AD and never restored. Notably, one surviving large pithos contained the butchered yet nearly complete skeleton of a sacrificial goat, pointing to the ritual practices of the site’s later inhabitants.

Keywords: Markul settlement; Abkhazia; archaeozoology; osteological analysis; pithos warehouse; livestock economy; Roman–Early Byzantine period; grain storage; ritual practices

For citation: Yavorskaya L.V., Yurkov V.G., Trebeleva G.V. The “pithoi” excavation at the Markul settlement: archaeozoological analysis of animal bones from cultural layers and vessel fills. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 569-580. doi.org/10.32653/CH223569-580

Введение

Маркульское городище расположено в Очамчирском районе Республики Абхазия, недалеко от античного полиса Гюэнос, в 10 км от берега моря на левом берегу р. Моква. Городище относится к многослойным памятникам. Оно открыто в 2013 г. международной Российско-Абхазской археологической экспедицией Института археологии РАН (ИА РАН) и Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа АНА (АБИГИ АНА) под руководством к.и.н. Г.В. Требелевой. С 2014 г. на памятнике ведутся регулярные раскопки небольшими площадями. Большая часть раскопок была приурочена к архитектурным остаткам: храм, башни, фрагменты оборонительных стен. Но постепенно площадь исследований расширилась, охватив пространства и между архитектурными объектами. Культурные напластования на раскопах архитектурных объектов ограничиваются хронологически периодом от позднеримского до Нового времени, но на участках между этими раскопами удалось выявить слои, датируемые более ранним временем – эпохой эллинизма. Одним из таких участков оказался участок «Пифосы».

Остатки продовольственного склада были обнаружены при раскопках в 2021 г. По типу найденных там пифосов и сопутствующему материалу он был датирован цебельдинским временем (вторая пол. III – первая пол. VII в.), т.е. ранневизантийским периодом. Склад располагался между первой и второй линиями обороны на склоне, скорее всего в то время террасированном. Раскоп на месте склада введен в научный оборот под названием «Пифосы» и за пять полевых сезонов (2021–2025 гг.) исследовался на трех участках, которые получили названия: «Пифосы-центр», «Пифосы-ЮВ» (юго-восточный участок) и «Пифосы-СЗ» (северо-западный участок). Пифосы были впущены в культурный слой ранневизантийского времени и частично прорезали собой слой римского периода, а частично – оказались впущены в погребения того же периода. Все пифосы врезались в культурный слой в специально сделанные для них углубления, таким образом перемешивая слои римского и ранневизантийского времени. Еще ниже оказался впущен пифос-гигант. Тем не менее, на этом раскопе экспедиции удалось проследить культурные напластования разных эпох функционирования городища: ранневизантийского и римского, которые не удалось разделить, а также позднеэллинистического и эллинистического периодов, которые хорошо отделяются друг от друга.

Материалы и методы

Раскопки на памятнике ведутся по отработанной методике [1]: съемка каждого слоя (штыка) с помощью фотограмметрии, фиксация глубин залегания слоев с указанием в метрах по Балтийской шкале высот, включение всех слоев в геоинформационную систему памятника. Это позволяет иметь единую систему высот для всех участков на городище, а значит, и сопоставлять разные уровни залегания тех или иных хронологических периодов, в перспективе, провести реконструкцию ландшафта по эпохам. Все массовые находки, включая кости животных, фиксировались по глубинам в четкой привязке к археологическим объектам.

В результате археологических исследований в разработке оказалось три группы костных остатков животных. Первая группа – костные остатки из культурного слоя, вторая – кости из погребений, разложенные в соответствии с ритуалом, третья группа – костные остатки из заполнения пифосов. Костные остатки из погребений мы уже детально разобрали в предыдущей статье [2]. Целью данной работы является представление и интерпретация костных остатков из культурных напластований разных периодов и из заполнения пифосов, которые во многом также отражают систему хозяйства. Исследование основной коллекции костных остатков животных проводилось по методической схеме, разработанной в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН [3] с.н.с. Л.В. Яворской. Костные остатки мелких животных из пифосов были определены студентом биофака МГУ В.Г. Юрковым.

Результаты

Заполнение культурного слоя.

Костные остатки из культурных слоев разделены на три условных горизонта:

– *горизонт А*. Заполнение возле пифосов на глубине до -108,22 м, которое представляет собой перемешанный культурный слой ранневизантийского (III–VII вв.) и римского (I–II вв. н.э.) периодов (табл. 1, 2);

– *горизонт Б*. Заполнение культурного слоя на глубинах 108,22–107,8 м представляет позднеэллинистический хронологический этап (III–I вв. до н.э.);

– *горизонт В*. Заполнение культурного слоя до 107,8–106,7 м, а также слой забутовки между стеной и северным бортом песчаниковой скалы датируются эллинистическим периодом (IV–III вв. до н.э.). Заполнения горизонтов Б и В представляют собой культурный слой ниже уровня дна погребальных ям римского времени.

Таблица 1. Маркульское городище. Раскоп «Пифосы» 2021–2025.

Table 1. Markul settlement. “Pithoi” section (2021–2025 excavations): general overview of the animal bone collection from the cultural layer by cultural-chronological horizons.

Общие сведения о коллекции костных остатков животных из культурного слоя по культурно-хронологическим горизонтам.

Локация, глубина (в метрах)	Млекопитающие					Птицы	Всего	ИР*	Сохран- ность по 5-балльной шкале
	Неопределен- ные		Домашние		Дикие				
	круп- ные	сред- ние	копыт- ные	помощ- ники					
Горизонт А. Римско-византийский период									
Пифосы-центр, 110.8–110.5 м			3				3	30.0	3–4
Пифосы-центр, 110.5–110.32 м	1	4	4				9	90.0	4
Пифосы-центр, 110.32–110.12 м	1	1	3	1			6	50.0	4
Пифосы-центр, 110.12–109.85 м			3				3	30.0	4
Пифосы-центр, 109.85–109.57 м	10	55	40	11			116	48.3	3–4
Пифосы-центр, 109.57–109.27 м	2		5				7	17.5	4
Пифосы-центр, 109.27–108.97 м	2	2	3	1			8	23.5	4
Пифосы-центр, 108.97–108.7 м	12	6	12				30	50.0	4
Пифосы-центр, 108.7–108.4 м	4		7	2			13	43.3	4
Пифосы-центр, 108.4–108.1 м			6				6	30.0	4
Пифосы-ЮВ, 110.75–110.83 м		2	6				8	40.0	3–4
Пифосы-ЮВ, 109.85–109.60 м	5	3	20				28	46.7	4
Пифосы-ЮВ, 109.7 м	2	5	1				8	40.0	4
Пифосы-ЮВ, 109.2 м	4	8	3				15	37.5	4
Пифосы-ЮВ, 109.40–109.3	4	3	2				9	30.0	4
Пифосы-ЮВ, 109.4–108.9 м	11	7	10				28	40.0	3–4
Пифосы-ЮВ, 108.7–108.5 м	2	3	4			1	10	25.0	4
Пифосы-ЮВ, 108.5 м	23	33	17		1	1	75	50.0	4
Пифосы-ЮВ, 108.4–108.3 м	38	43	50	1	1		133	44.3	4
Пифосы-ЮВ, 108.3–108.2 м	5	21	14		7		47	47.0	4
Пифосы-СЗ, 109.7–109.5 м		1	1				2	20.0	4

Пифосы-СЗ, 109.4 м			4	2	1		7	35.0	4
Пифосы-СЗ, 109.3 м	2	3					5	25.0	4
Пифосы-СЗ, 109.2 м			2				2	20.0	4
Пифосы-СЗ, 108.2 м			2		2		4	20.0	4
Всего по горизонту А	128	200	222	18	12	2	582		
% по горизонту А	22.0	34.4	38.1	3.1	2.1	0.3	100.0		
Горизонт Б. Поздний эллинизм									
Пифосы-центр, 108.10–107.8 м	3		3				6	30.0	3–4
Пифосы-ЮВ, 108.05–108.10 м	5	31	58	3	2		99	39.6	3–4
Пифосы-ЮВ, 107.9 м	8	23	24	3	1	3	62	47.7	3–4
Всего по горизонту Б	16	54	85	6	3	3	167	42.8	
% по горизонту Б	9.6	32.3	50.9	3.6	1.8	1.8	100.0		
Горизонт В. Эллинизм									
Пифосы-центр, 107.55–107.25 м	4		3				7	35.0	4
Пифосы-центр, 106.95–106.72 м			3				3	30.0	4
Пифосы-ЮВ, 107.85–107.6 м	7	17	22	3		2	51	25.5	4
Пифосы-ЮВ, 107.5–107.7 м	5		4	1			10	25.0	4
Пифосы-ЮВ, 107.6–107.4 м	4		8	2			14	28.0	4
Пифосы-ЮВ, 107.4–107.3 м	9		9	1	1		20	28.6	4
Пифосы-ЮВ, 107.2–107.1 м	4		3				7	23.3	4
Пифосы-ЮВ, 107.1–107.0 м	1	3	6.0		1		11	36.7	4
Пифосы-ЮВ, 106.7–106.6 м	4	1	10		1		16	32.0	4
Всего по горизонту В	38	21	68	7	3	2	139		
% по горизонту В	27.3	15.1	48.9	5.0	2.2	1.4	100.0		

*ИР – Индекс раздробленности. Рассчитывается по количеству костных фрагментов из данной группы, которые могли бы наполнить объем в 1 куб. дм.

Археозоологическую коллекцию составили 888 костных фрагментов. Она включает в себя кости, обнаруженные в культурном слое вокруг пифосов и ниже уровня их дна. По 5-балльной шкале большая часть остатков может быть оценена в 4 балла, но встречаются костные остатки, сохранность которых оценивается в 3 балла (табл. 1).

Индексы раздробленности костей по выборкам из разных глубин варьируют от 25 до 50 фрагментов в 1 куб. дм (табл. 1). Эти индексы укладываются в рамки «кухонной» раздробленности – на большей части коллекции костных остатков хорошо идентифицируются следы разделки. Вероятно, именно вследствие высокой раздробленности от 42% до 56% остатков крупных и средних млекопитающих в каждой выборке оказались неопределимыми до вида (табл. 1).

В коллекции из культурного слоя присутствуют кости птиц и млекопитающих, как домашних, так и диких; кости рыб не обнаружены (табл. 1). Среди млекопитающих поддаются определению от 38% до 50% остатков из разных выборок. Остатки других классов животных принадлежат исключительно птицам. Возможно, неопределимые до вида фрагменты от крупных и средних млекопитающих относятся к домашним копытным животным (табл. 1).

Отсутствие костей рыб выглядит странно для поселения, расположенного в приморской зоне и вблизи реки. Наиболее вероятна версия специфики сохранности остатков, в условиях влажного субтропического климата и хорошо аэрированных кислотных почв. Сложно представить себе, что местное население, находящееся в тесном контакте с античными центрами, не использовало в пищу морскую и речную рыбу. Тем более, что в культурных слоях эллинистического времени встречен особый вид

керамической посуды – «рыбные» блюда. В частности, два венчика от таких блюд были найдены именно на участке «Пифосы». По этнографическим данным, рыба активно использовалась в пищу местным населением, и в тот период она должна была встречаться в большем изобилии, нежели сейчас. Так, сейчас полностью отсутствуют рыбы осетровых пород, тогда как еще в советское время черноморско-азовский осетр (*Acipenser güldenstädti colchicus*) и севрюга (*Acipenser stellatus*) активно заходили в местные реки [4, с. 49–51, 55–57].

Кости домашних «помощников» составляют в выборках 3–5%. Преимущественно это разрозненные остатки собак (*Canis familiaris*) и одна кость принадлежит домашней кошке (*Felis catus*) (Пифосы-ЮВ, шт. 7). Все собаки имели средние размеры, вероятно, местная породная группа. Доля диких видов в исследуемых выборках разных эпох невелика – около 2% (табл. 1), они представлены костными останками оленя (*Cervus elaphus*), косули (*Capreolus capreolus*) и одной костью зайца (*Lepus sp.*) (табл. 1).

Таблица 2. Маркульское городище. Раскоп «Пифосы» 2021–2025.

Table 2. Markul settlement. “Pithoi” section (2021–2025 excavations): species composition, osteological profiles of domestic ungulate remains from the cultural layer adjacent to the pithoi (nisp and %), and meat consumption shares (%).

Видовой состав, остеологические спектры остатков домашних копытных из культурного слоя возле пифосов (количество фрагментов и %) и мясное потребление (%).

Видовой состав/ горизонт	КРС	Лошадь	МРС	Свинья	Всего
Количество и остеологические спектры					
Горизонт А	46	5	10	161	222
% по горизонту А	20.7	2.3	4.5	72.5	100.0
Горизонт Б	22	2	4	57	85
% по горизонту Б	25.9	2.4	4.7	67.1	100.0
Горизонт В	22		1	45	68
% по горизонту В	32.4		1.5	66.2	100.0
Мясное потребление					
	Говядина	Конина	Баранина / козлятина	Свинина	Всего
По горизонту А	45.0	2.0	5.9	47.2	100.0
По горизонту Б	52.0	1.9	5.7	40.4	100.0
По горизонту В	61.6		0.6	37.8	100.0

Иерархия видов домашних копытных животных, согласно остеологическому спектру, по всем горизонтам сохраняется, при этом было отмечено, что внутри горизонтов значения для разных видов немного отличаются. Из анализа данных остеологического спектра следует, что наиболее часто встречаются остатки свиньи – от 66% до 72% (табл. 2). Согласно визуальной оценке установлено, что обнаруженные кости принадлежат крупной форме домашней свиньи (*Sus scrofa domesticus*) или дикому кабану (*Sus scrofa ferus*). Высокая численность остатков этого вида в коллекции и малое количество остатков других видов диких копытных (порядка 2%) позволяет предположить принадлежность костей домашней свинье. В Абхазии домашние свиньи до сих пор содержатся на свободном выпасе, легко скрещиваются с дикими сородичами и часто имеют крупный размер. Остатки крупного рогатого скота (*Bos taurus*) занимают второе место по распространенности – от 20% до 32%. В отличие от свиней, размеры животных этой популяции являются мелкими и средними. Третью позицию в остеологическом спектре занимают остатки мелкого рогатого скота (овцы (*Ovis aries*) и козы (*Capra hircus*)). Их доля по выборкам составляет от 1,5% до 4,7%. Завершают остеологический спектр остатки лошади (*Equus caballus*) – около 2% и это все «кухонные» остатки.

Расчет мясной диеты жителей Маркульского городища проведен по традиционной методике, применяемой в Лаборатории естественнонаучных методов [5], с учетом коэффициентов кратности веса мясных туш разных видов. За эталон принимается вес одной туши мелкого рогатого скота – приблизительно 25 кг. На Маркульском городище среди костей крупного рогатого скота встречены остатки двух его «породных» групп – более крупной (равнинной) и небольшой грацильной (горной). Для крупной формы следовало бы использовать коэффициент 6, а для грацильной – скорее 4–4,5. Мы остановились на среднем значении коэффициента 5, для лошади – 6. Свинья на данном памятнике употреблялась в пищу преимущественно во взрослом состоянии, поросят зафиксировано очень мало. К весу одной туши овцы использован коэффициент 1,5 (рис. 1).

Укажем, что выборки эллинистического и позднеэллинистического периода весьма невелики, общая численность костных остатков домашних «мясных» копытных составляет в них меньше сотни костных фрагментов. Соответственно рассчитанное потребление мясных продуктов в эти периоды носит предположительный характер. В эллинистический и позднеэллинистический периоды функционирования этого укрепленного поселения основным мясным продуктом, вероятнее всего, была говядина, доля которой составляла 50–60%, далее следует свинина – около 40%, баранина и козлятина, а также конина не были важными продуктами. В римско-ранневизантийский период зафиксирована самая крупная выборка костных фрагментов, но мясные продукты здесь распределены иначе, чем в предыдущих: свинина выходит на первую позицию – 47,2%, говядина имеет очень близкую долю в мясных спектрах – 45%, баранина/козлятина и конина, по-прежнему, имеют очень невысокую долю. Необходимо отметить, что в синхронных и близких кавказских поселениях по данным остеологического анализа отмечается высокая роль в мясном потреблении крупного рогатого скота [6–8]. Ранее нами была установлена важная роль костных остатков свиньи в ритуальных памятниках населения Маркульского городища римского времени [2], сейчас впервые удалось выявить высокую долю свинины в мясном потреблении этого же римско-ранневизантийского периода. Предположим, что произошли некоторые климатические или политические изменения, которые осложнили выращивание в округе крупного рогатого скота. Соответственно, отсутствие запрета на свинину у христианского населения позволило уравнивать эти два мясных продукта в доставке и потреблении в исследуемом городе. Выборки на памятнике локальны и невелики, поэтому вопрос о причинах высокой доли остатков свиньи придется отложить до будущих исследований.

Костные остатки в пифосах

Склад пифосов ранневизантийского времени был открыт на Маркульском городище в 2021 г. В первый год исследования было открыто 5 пифосов *in situ*. Один из пифосов сохранился только в нижней своей части, до середины, четыре – на полную высоту. Два из них имеют уникальную сохранность – без единой трещины. В 2022 г. в юго-восточной прирезке к раскопу 2021 г. был открыт шестой, археологически целый (верхняя часть его вдавлена, по телу проходят трещины) пифос, и два донца от пифосов, расположенных *in situ* в прорубленных для их установки в песчаниковых плитах выемках. Обнаруженный здесь археологически целый пифос имеет объем 500 л и является самым большим. Ему присвоен № 8.

Северо-западный участок был вскрыт в 2023 г. Здесь было обнаружено четыре пифоса, один из которых был археологически целым, ему был присвоен № 6, поскольку его контуры просматривались ещё в 2022 г.

Так как целые и археологически целые пифосы (№№ 1–3, 5, 6, 8) были заполнены грунтом, попавшем туда во время обвала от землетрясения, разрушившего этот склад [9], в них оказались остатки того, что могло в них храниться, а также то, что попало вместе с грунтом с вершины плато, как во время землетрясения, так и позднее.

Внутри пифоса-гиганта № 8 под слоем земли находились замотанные в шкуру разделанные остатки одного молодого (*juvenis*) козленка (*Capra hircus*). Результат анализа костных остатков показал присутствие практически всех костей скелета. Однако, небольшая часть отсутствующих фрагментов тела, не просто не сохранилась, а была, очевидно, изъята целенаправленно. Отсутствовали висцеральная

(лицевая) часть черепа, верхняя и нижняя челюсти; первый и второй шейный позвонок (атланта и эпистрофей). Набор фаланг также не полный – имеется всего одна фаланга-I. Нет правой лопатки, правой плюсны, правых пяточной и таранной костей. Все остальные длинные и тазовые кости обеих сторон тела животного присутствуют в остатках. Изучение этих костей показало, что три части тазовых костей срослись не полностью, все эпифизы пяточной и длинных костей не приросли, также не прирос коракоид лопаточной кости, приросли только нижние эпифизы-блоки плечевых костей (последние кости были обрублены, но их обломки сохранились в исследуемом костном наборе). От черепа сохранены остатки небольших рогов и затылочной кости. Остатков других животных в пифосе № 8 обнаружено не было. Сохранность комплекса оценивается в 4 балла по 5-балльной шкале.

Нижняя челюсть животного и морда, вероятно, были изъяты целенаправленно. Правая лопатка, пяточная кость, астрагал, плюсна правой стороны, некоторые позвонки и рёбра не сохранились из-за хрупкости костей молодого животного. Присутствие в костных останках обрубленных едва приросших нижних блоков плечевых костей позволяет выдвинуть предположение, что весь набор костей козленка, несмотря на разделку, планировали сохранить. Возможно, что наблюдаемое захоронение остатков животного – отголосок дохристианских охотничьих верований кавказских народов. Ритуал заключался в необходимости сохранения шкуры и костей животных, добытых на охоте, и их погребении для последующего его «возрождения». Такие ритуальные остатки описаны в литературе [10], и в этих же комплексах наблюдалось отсутствие не крупной кости до полного скелетного набора одного животного.

В пифосе № 3 обнаружена одна плохо сохранившаяся нижняя челюсть мелкого грызуна (ближе не идентифицируется) и одна нижняя челюсть ласки (*Mustela nivalis*).

Интересный набор костных останков был зафиксирован в пифосе № 6 (см.: [11]). Он был частично разрушен в своей верхней части обвалом крупных камней и венчик с остатками горла и части плеч были вдавлены внутрь сосуда. Разбор грунта из пифоса велся по слоям. Верхняя часть пифоса была заполнена крупными камнями и плотно спрессованным грунтом. Костные остатки располагались в нижней трети сосуда в рыхлом грунтовым заполнении. Они представлены костями млекопитающих и пресмыкающихся. Среди последних, по различию формы зубов, определено два вида ящериц (рис. 2: А–Б). Неполная сохранность остатков не позволяет сделать более точное определение. Выявлено 2 фрагмента верхнечелюстной кости, 3 фрагмента теменных и лобных костей и 5 фрагментов нижних челюстей с двумя вариантами зубной системы.

Среди костей млекопитающих можно выделить три группы: домашние копытные, грызуны (Rodentia) и насекомоядные (Eulipotyphla). Сильная фрагментация костей домашних копытных не позволяет определить их точнее. А вот грызунов и насекомоядных удалось установить при помощи соответствующей литературы [12–14]. Проведенный анализ костных остатков насекомоядных показал их принадлежность к двум разным родам представителей семейства землеройковых (Soricidae). Установлено, что в исследованных материалах присутствуют остатки не менее трех бурозубок. Три левых и одна правая нижнечелюстные кости относятся к останкам бурозубки (*Sorex* spp.), а осевой череп, предположительно – бурозубке Волнухина (*Sorex volnuchini*) (рис. 2: В).

Более широко представлены остатки второго рода землероек – белозубки (*Crocidura*). Количество их особей не менее 13. Они представлены набором нижних челюстей (13 – правой стороны и 12 – левых) и отдельными фрагментами верхних (1 – правая и 2 – левых). Сделано предположение, что костные останки двух особей принадлежат длиннохвостой белозубке (*Crocidura gueldenstaedtii*), что подтверждается анализом фрагментированного черепа (рис. 2: Г).

Выявлено, что среди костных остатков присутствуют характерные для грызунов кости, установлена их принадлежность представителям семейства мышинные (Muridae) (рис. 2: Ж) и хомяковые (Cricetidae), среди последних все относятся к подсемейству полёвочьих (Arvicolinae). Установлено, что остатки в данном комплексе принадлежат не менее, чем 12 особям. Остатки представлены нижнечелюстными костями 10 правых, 12 левых и двумя черепами, предположительно принадлежащими роду *Microtus* (рис. 2: Д, Е).

Обнаружено 3 фрагмента нижнечелюстных костей (2 – левой и 1 правая), которые принадлежит мышинным. Сделан вывод, что остатки мышинных принадлежат 3 разным особям, поскольку степень изношенности и размер нижнечелюстных костей разные.

Набор остатков мелких животных из пифосов № 3 и № 6 не случаен. Если предположить, что в пифосах хранилось зерно, то хорошо выстраивается пищевая цепочка этих животных. Здесь есть остатки

относительно крупных вредителей зерна (зерноядные). Остальные зверьки и пресмыкающиеся поедали более мелких зерновредителей (Insecta). Таким образом, анализ костных остатков из пифосов № 3 и № 6 подтверждает версию продовольственного склада и дает возможность убедиться в том, что в конкретных сосудах хранилось именно зерно.

Заключение

Исследование склада пифосов приобретает особое значение в свете сопутствующих природных и исторических событий. Склад с пифосами, по данным археологических находок, функционировал до сер. VII в. н.э., при этом Маркульское городище погибло в пожаре на рубеже XIV–XV вв. [15]. Прекращение функционирования склада ранее функционирования самого городища мы связываем с крупным землетрясением в регионе, в результате которого расположенный на террасированном склоне продовольственный склад оказался погребен камнями и грунтом. Наличие землетрясения именно в сер. VII в. н.э. подтверждается следами разрушений от сейсмического воздействия как на архитектурных объектах самого городища («Дальняя Башня (Замок)» и храм), так и на соседних памятниках – храм Джал-Акуаскиа и храм в Гюэнос. Последний также прекратил свое функционирование во второй пол. VII в. [16, с. 290]. Таким образом, заполнение пифосов отражает следы хозяйственной деятельности населения в конкретный хронологический период – ранневизантийский. Анализ заполнения 6 сохранившихся полностью или археологически целых пифосов позволил определить, что в 2 из них хранилось зерно. Это позволяет предположить, что в 4 оставшихся хранились иные продукты, а значит склад был полипродуктовым. Размещенный между двумя линиями обороны, он, скорее всего, предназначался для снабжения продуктами гарнизона.

Пока остается загадкой ритуальное захоронение козленка в пифосе № 8. Было ли оно совершено сразу после землетрясения в качестве жертвы в целях предотвращения подобных трагедий в дальнейшем? Эта версия находит себе аналогии в обнаруженных нами ранее ритуальных захоронениях костей животных в башнях городища. Причем, на Дальней башне (Замке) жертвоприношение было совершено как раз после землетрясения, в ходе восстановления башни. Но нельзя исключать и версию того, что кости козленка попали в пифос в более позднее время, как остатки охотничьих обычаев. В любом случае, данное захоронение отражает сохранение языческих ритуалов у христианизированного населения.

Исследование костных остатков животных из культурного слоя вокруг и ниже пифосов, позволило увидеть картину широкого хронологического диапазона: от эллинизма до византийского времени. В ходе анализа остеологического материала удалось установить отдельные особенности экономической жизни городища в разные эпохи. Впервые были выявлены тренды мясной диеты жителей и особая роль свиного мяса в римско-ранневизантийский период.

Благодарность: Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-18-00466-П, <https://rscf.ru/project/22-18-00466>.

Acknowledgements. This study was conducted with the financial support from the Russian Science Foundation, project No. 22-18-00466-P, <https://rscf.ru/project/22-18-00466>.

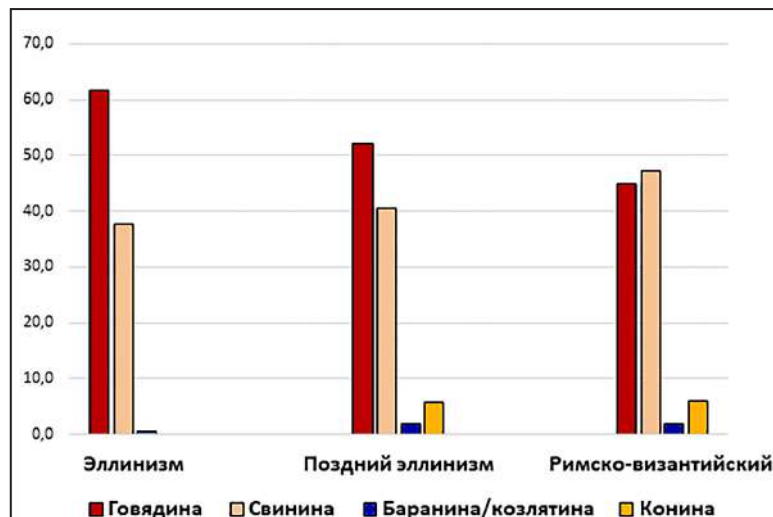


Рис. 1. Распределение мясного потребления жителей Маркульского городища разных исторических эпох по материалам раскопа «Пифосы» 2021–25 гг.

Fig. 1. Distribution of meat consumption shares among the inhabitants of the Markul settlement across historical periods, based on materials from the “Pithoi” Section (2021–2025 excavations)

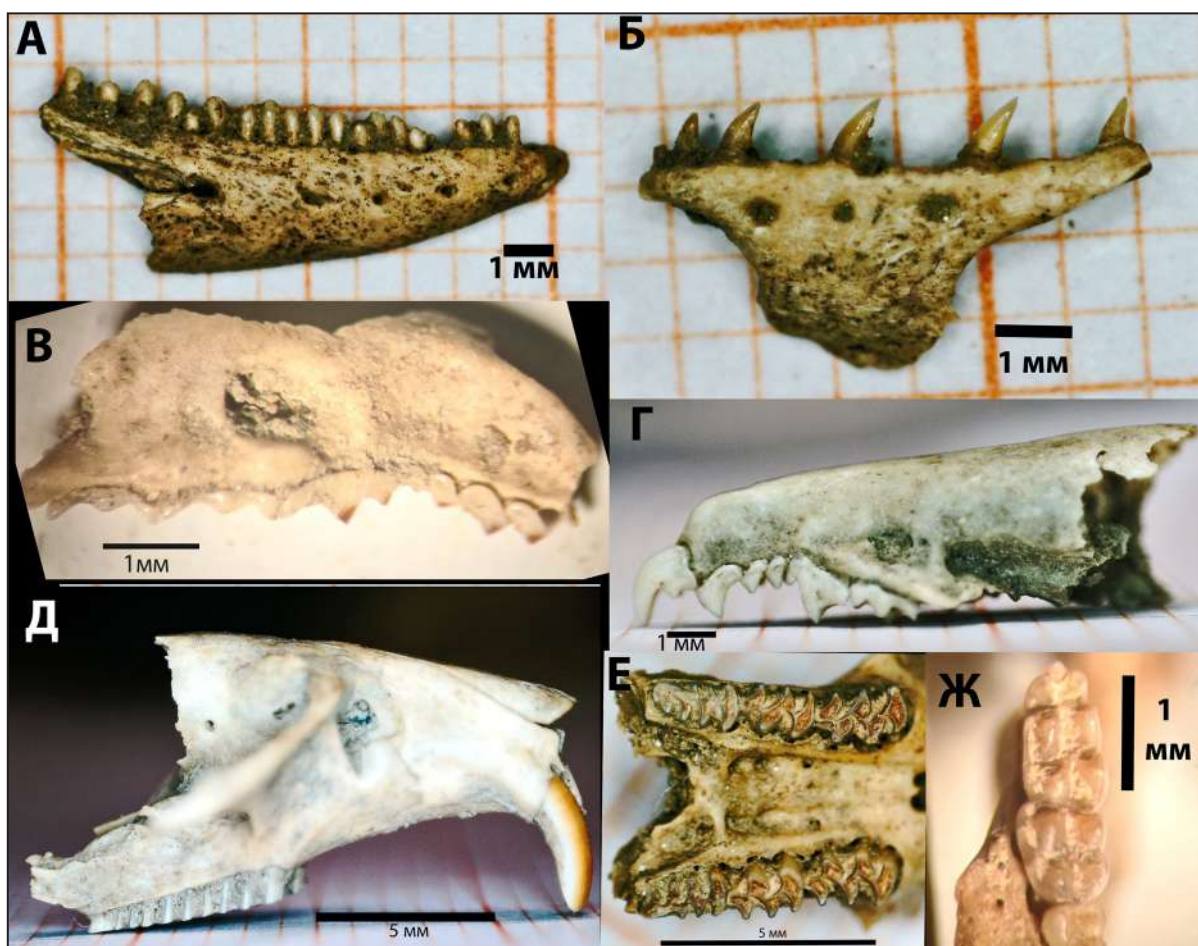


Рис. 2. Маркульское городище. Пифос № 6: А–Б – нижние челюсти представителей пресмыкающихся, В – череп *Sorex volnuchini*, Г – череп *Crocidura gueldenstaedtii*, Д – череп *Microtus* sp., Е – верхние щечные зубы *Microtus* sp. (п/сем. Arvicolinae), Ж – щечные зубы нижней челюсти представителя сем. Muridae

Fig. 2. Markul settlement, Pithos No. 6 microfaunal remains: А–Б – reptile mandibles; В – cranium of *Sorex volnuchini*; Д – cranium of *Crocidura gueldenstaedtii*; Е – cranium of *Microtus* sp.; F – upper cheek teeth of *Microtus* sp. (subfamily Arvicolinae); G – upper cheek teeth of family Muridae

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Юрков В.Г., Требелева Г.В. Цифровая форма представления данных археологического исследования Маркульского городища в Абхазии: цели, задачи и методы // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 49, спец. выпуск, ноябрь 2022 г. Материалы международной научной конференции «Историческая информатика как Historical Data Science» и XVIII Конференции Ассоциации «История и компьютер»: к 30-летию АИК и 10-летию журнала «Историческая информатика». Москва, 11–13 ноября 2022 г. М., 2022. С. 166–170.
2. Яворская Л.В., Требелева Г.В. «Продовольственный склад» на Маркульском городище в Абхазии: первые результаты археозоологического исследования материалов из раскопок 2021–2022 гг. // Западный Кавказ в контексте контактов культур, народов и цивилизаций: Материалы научно-практической конференции XI Анфимовские чтения, Анапа, 25–28 сентября 2023 г. Сб. статей. Отв. Ред. Б.А. Раев, Краснодар-М.: Традиция; Центр палеоэтнологических исследований, 2023. С. 245–252.
3. Антипина Е.Е. Археозоологические материалы (глава 7) // Каргалы. Т. III. Ред. и сост. Е.Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 182–239.
4. Световидов А.Н. Рыбы Черного моря. (Определители по фауне СССР, издаваемые ЗИН АН СССР. Вып. 86). М. – Л.: Наука, 1964. – 551 с.
5. Антипина Е.Е. Кости животных на античных памятниках полуострова Абрау: реконструкция мясной диеты // На юго-восточных рубежах Азиатского Боспора. Научно-популярный сборник, посвященный пятидесятилетию начала исследований Н.А. Онайко на Раевском городище. Сост. А.А. Малышев. М. – Новороссийск, 2005. С. 65–70.
6. Цалкин В.И. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху раннего железа // История скотоводства в Северном Причерноморье. Отв. ред. А.П. Смирнов. (МИА. № 53). М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 7–109.
7. Антипина Е.Е. Остеологические коллекции из археологических памятников Азиатского Боспора: возможности исследования животноводческой отрасли // ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. Отв. ред. А.А. Малышев. М.: ИА РАН, 2009. С. 169–180.
8. Яворская Л.В. Археозоологические материалы из поселений Веселое-1, Веселое-2 эпохи раннего железного века (Имеретинская низменность, Адлерский район, г. Сочи) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 3. М.: ИА РАН, 2013. С. 167–181.
9. Требелева Г.В., Шведчикова Т.Ю., Юрков В.Г., Яворская Л.В. Раскопки на Маркульском городище (2021–2022 гг.) // Hypanis: Труды отдела классической археологии ИА РАН. Глав. ред. В.Д. Кузнецов. Т. 5. М.: ИА РАН, 2023. С. 178–196.
10. Яворская Л.В. Жертвенные животные из крипты храма X века у с. Веселое: к вопросу о пережитках дохристианских верований у народов северо-восточного Причерноморья // Археология и этнография Кавказа и Крыма: тезисы научной конференции. Санкт-Петербург, 6–8 апреля 2017 г. Отв. ред. А.Г. Новожиллов. СПб., 2017. С. 65–67.
11. Юрков В.Г. Анализ костных останков животных из заполнения пифоса № 6 на Маркульском городище // Современные научные исследования и инновации. № 10. 2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2024/10/102634> (дата обращения: 11.03.2026).
12. Павлинов И.Я. Звери России: Справочник-определитель. Ч. 1, 2. М.: Т-во научных изданий КМК, 2019. – 702 с.
13. Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны // Определители по фауне России, издаваемые ЗИН РАН вып. 167. СПб.: ЗИН РАН, 1995. – 520 с.

REFERENCES

1. Yurkov VG., Trebeleva GV. Digital format of presenting archaeological research data from the Markul settlement in Abkhazia: goals, objectives, and methods. *Information Bulletin of the Association "History and Computer"*. November 2022; 49: 166–170. (In Russ)
2. Yavorskaya LV., Trebeleva GV. "Food storehouse" at the Markul settlement in Abkhazia: first results of archaeozoological study of materials from the 2021–2022 excavations. *The Western Caucasus in the context of contacts of cultures, peoples, and civilizations: Proceedings of the Scientific and Practical Conference XI Anfimov Readings, Anapa, September 25–28, 2023. Collection of articles*, ed. by B.A. Raev. Krasnodar-Moscow: Traditsiya; Center for Paleoethnological Research, 2023: 245–252. (In Russ)
3. Antipina EE. Archaeozoological materials (chapter 7). *Kargaly*. Vol. III. Ed. and comp. by E.N. Chernykh. Moscow: Yazyki Slavyanskoy Kultury, 2004: 182–239. (In Russ)
4. Svetovidov AN. *Fishes of the Black Sea*. Moscow – Leningrad: Nauka, 1964. (In Russ)
5. Antipina EE. Animal bones at ancient sites of the Abrau Peninsula: reconstruction of meat diet. *On the southeastern borders of the Asiatic Bosphorus. Popular science collection dedicated to the fiftieth anniversary of N.A. Onayko's research at the Raevskoye settlement*. Comp. by A.A. Malyshev. Moscow – Novorossiysk, 2005: 65–70. (In Russ)
6. Tsalkin VI. Domestic and wild animals of the Northern Black Sea region in the Early Iron Age. *History of animal husbandry in the Northern Black Sea region*. Ed. by A.P. Smirnov. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1960: 7–109. (In Russ)
7. Antipina EE. Osteological collections from archaeological sites of the Asiatic Bosphorus: possibilities of studying livestock farming branch. *ABRAU ANTIQUA. Results of comprehensive studies of antiquities of the Abrau Peninsula*. Ed. by A.A. Malyshev. Moscow: IA RAS, 2009: 169–180. (In Russ)
8. Yavorskaya LV. Archaeozoological materials from the Veseloye-1, Veseloye-2 settlements of the Early Iron Age (Imeretinskaya Lowland, Adler District, Sochi). *Analytical studies of the laboratory of natural science methods*. Vol. 3. Moscow: IA RAS, 2013: 167–181. (In Russ)
9. Trebeleva GV., Shvedchikova TYu., Yurkov VG., Yavorskaya LV. Excavations at the Markula hillfort (2021–2022). *Hypanis: Proceedings of the Department of Classical Archaeology of IA RAS*. Vol. 5. Moscow: IA RAS, 2023: 178–196. (In Russ)
10. Yavorskaya LV. Sacrificial animals from the crypt of a 10th-century church near the village of Veseloye: on the question of remnants of pre-Christian beliefs among the peoples of the northeastern Black Sea region. *Archaeology and ethnography of the Caucasus and Crimea: abstracts of the scientific conference*. St. Petersburg, April 6–8, 2017. Ed. by A.G. Novozhilov. St. Petersburg, 2017: 65–67. (In Russ)
11. Yurkov VG. Analysis of animal bone remains from the filling of pithos No. 6 at the Markula hillfort. *Modern Scientific Researches and Innovations*. 2024; (10). URL: <https://web.snauka.ru/issues/2024/10/102634> (accessed: 11.03.2026). (In Russ)
12. Pavlinov IYa. *Mammals of Russia: Identification guide*. Pts. 1, 2. Moscow: KMK Scientific Press, 2019. (In Russ)
13. Gromov IM., Erbaeva MA. *Mammals of the fauna of Russia and adjacent territories. Lagomorphs and rodents*. Saint Petersburg: ZIN RAS, 1995. (In Russ)
14. Zaitsev MV., Voita LL., Sheftel YuI. *Mammals of the fauna of Russia and adjacent territories. Insectivores*. Saint Petersburg: Nauka, 2014. (In Russ)
15. Trebeleva GV., Khondziya ZG., Yavorskaya LV., Yurkov VG. Results of excavations in the Alakhash-abaa tower of the Markula hillfort in 2018. *Problems of research of ancient and medieval settlements and burial grounds of the Western Cau-*

14. Зайцев М.В., Войта Л.Л., Шефтель Ю.И. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Насекомоядные // Определители по фауне России, издаваемые ЗИН РАН. Вып. 178. СПб.: Наука, 2014. – 391 с.

15. Требелева Г.В., Хондзия З.Г., Яворская Л.В., Юрков В.Г. Результаты раскопок в башне Алахаш-абаа Маркульского городища в 2018 г. // Проблемы исследования древних и средневековых поселений и могильников Западного Кавказа. К 110-летию со дня рождения Н.В. Анфимова. IX «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Материалы международной археологической конференции (г. Анапа, 29–31 мая 2019 г.). Отв. ред. Р.Б. Схатум, В.В. Улитин. Краснодар: ИП Смородин Е.В., 2019. С. 326–333.

16. Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–VII века). М.: Наука, 2002. – 500 с.

casus. To the 110th anniversary of the birth of N.V. Anfimov. IX "Anfimov Readings" on the archaeology of the Western Caucasus. Proceedings of the international archaeological conference (Anapa, May 29–31, 2019). Ed. by R.B. Skhatum, V.V. Ulitin. Krasnodar: IP Smorodin E.V., 2019: 326–333. (In Russ)

16. Khrushkova LG. *Early Christian monuments of the Eastern Black Sea region (4th–7th centuries)*. Moscow: Nauka, 2002. (In Russ)

Поступила в редакцию 30.12.2025 г.

Принята в печать 01.04.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 30.12.2025

Accepted 01.04.2026

Published 30.09.2026



Дунцов Алексей Николаевич
преподаватель
ИКВИА НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
научный сотрудник
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
bar.iereimias@gmail.com

К ПРОЧТЕНИЮ КУФИЧЕСКОЙ НАДПИСИ НА СТЕЛЕ 1 МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТОВОГО КОМПЛЕКСА X – НАЧ. XIII вв. В ДЕРБЕНТЕ

Аннотация. В ходе археологических исследований 2014 г. в Дербенте был изучен монументальный ритуальный комплекс X — нач. XIII вв., связанный с северным городским кладбищем Кырхляр и предназначенный для совершения ритуальных омовений. Важным структурным элементом комплекса являлась группа из пяти вертикально установленных стел XI–XII вв., четыре из которых содержали куфические надписи. Девятистрочная надпись на стеле 1 в силу плохой сохранности текста не была прочитана полностью. Результаты детального эпиграфического анализа показали, что надпись, выполненная в стиле «листовидного куфи», по своему содержанию относится к жанру эпитафии и представляет собой заупокойную молитву. Анализ особенностей структуры и содержания текста надписи в сравнении с аналогичными эпитафиями IX–XI вв. позволяет уточнить датировку стелы 1 и ограничить время ее создания рамками XI в. Ключевой особенностью надписи, отличающей ее от известных аналогичных эпитафий указанного периода, является использования глагола *jahhir* («очисти»), ранее не зафиксированного в подобных текстах. Этот глагол напрямую соотносится с функцией комплекса, предназначенного для ритуальных очищений. Археологический контекст свидетельствует о том, что стела 1, как и другие стелы группы, не являлась надгробным памятником, а использовалась в ином ритуальном контексте. Противоречие между содержанием текста, относящегося к жанру эпитафии, и археологическим контекстом разрешается предположением о вотивной природе памятника. Помимо декоративной и коммеморативной функций, стела 1 могла выполнять также функцию вотивного приношения (*naḡr-*), призванного повлиять на посмертную участь умершего. Широкое распространение практики вотивных приношений в культовых местах средневекового Дербента, вероятно, служит подтверждением этой гипотезе.

Ключевые слова: Дербент; кладбище Кырхляр; исламская эпиграфика; цветущий куфи; ритуальное омовение; вотивные стелы; эпиграфический анализ; средневековый Кавказ

Для цитирования: Дунцов А.Н. К прочтению куфической надписи на стеле 1 мусульманского культового комплекса X – нач. XIII вв. в Дербенте // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 581-593. doi.org/10.32653/CH223581-593

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223581-593>

Research paper

Aleksey N. Duntsov

Lecturer

Institute for Oriental and Classical Studies, HSE University, Moscow, Russia;

Researcher

Institute of Oriental Studies of the RAS, Moscow, Russia

bar.iereimias@gmail.com

THE KUFIC INSCRIPTION ON STELA 1 FROM THE MEDIEVAL ISLAMIC CULTIC COMPLEX OF DERBENT (10TH–EARLY 13TH CENTURIES)

Abstract. Archaeological excavations conducted in 2014 at Derbent revealed a monumental ritual complex dating from the 10th to early 13th centuries, associated with the northern urban cemetery of Kyrkhlyar and designed specifically for performing ritual ablutions. A central structural component of this complex consisted of five vertically erected stelae from the 11th–12th centuries, four of which featured epigraphic inscriptions in Kufic script. The nine-line inscription on Stela 1 had not been fully deciphered due to its poor state of preservation. This study provides a comprehensive epigraphic re-examination of Stela 1, establishing that its text – executed in “floriated” Kufic – belongs to the epitaph genre and constitutes a funerary prayer. A comparative stylistic and contextual analysis alongside analogous 9th–11th-century epigraphic monuments refined the dating of the stela, securely narrowing its creation to the 11th century. Crucially, the text contains a unique feature unattested in contemporary funerary epigraphy: the imperative verb *ṭahhir* (“purify!”). This lexical choice directly links the inscription to the spatial function of the surrounding architectural complex, which was designated for ritual purification (*ṭahāra*). The non-sepulchral archaeological context indicates that Stela 1 was not positioned over a grave, revealing an apparent contradiction between its epitaphic textual content and its practical placement. The authors resolve this anomaly by proposing a votive origin for the monument. Beyond its decorative and commemorative functions, Stela 1 likely functioned as a votive offering (*naḍr*) designed to favorably influence the posthumous fate of the deceased. This interpretation is corroborated by broader evidence demonstrating the widespread practice of votive dedications at cultic sites throughout medieval Derbent.

Keywords: Derbent; Kyrkhlyar cemetery; Islamic epigraphy; floriated Kufic; ritual ablution; votive stelae; epigraphic analysis; medieval Caucasus

For citation: Duntsov A.N. The kufic inscription on stela 1 from the medieval Islamic cultic complex of Derbent (10th–early 13th centuries). *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 581-593. doi.org/10.32653/CH223581-593

Введение

В июне-августе 2014 г. в Дербенте в ходе археологических работ был исследован монументальный ритуально-обрядовый комплекс с автономной системой водоснабжения, связанный с отправлением погребального культа и обслуживавший северное городское кладбище Кырхляр. Комплекс располагался за пределами средневекового города, у северной городской стены между башнями № 19 и № 20, и включал каменные и керамические водоводы, водоотстойники, ванну, крупные бассейны-резервуары, сложенные из массивных отесанных блоков, а также закрытый коллектор для сброса сточных вод. Вода подводилась в комплекс по каменным и керамическим водоводам из ущелья, расположенного к северу и западу от цитадели Нарын-кала. Рядом с бассейнами была выявлена площадка из крупных каменных плит, вероятно, представлявшая собой пол помещения для ритуального омовения [1, с. 184–187]. Многочисленные керамические и нумизматические находки позволили датировать комплекс X — нач. XIII вв., хотя в нумизматической части коллекции (всего: 57 монет) представлена значительная группа более ранних монет — омейядских (2 экз. рубежа VII–VIII вв.) и 10 аббасидских фельсов второй половины VIII в. (10 экз.) [2, с. 821–823].

Особое место в структуре комплекса занимали пять прямоугольных стел, стоящих вертикально в ряд вплотную друг к другу в его северо-западной части. Нумерация стел соответствует порядку их удаления от центра комплекса. Четыре стелы содержали три врезные и одну рельефную арабские кufические надписи, которые по палеографическим особенностям были датированы XI–XII вв. Надписи представляли собой религиозные формулы: инвокации (имена-эпитеты Бога¹, *басмалу*), славословия пророку Мухаммаду и четверем «праведным халифам», исповедание веры (*шахаду*). Надпись на стеле 1 не была прочитана полностью в силу плохой сохранности теста [3].

Куфическая надпись на стеле 1

Стела 1 выполнена из ракушечника и имеет размеры 110×53×12–13 см. Девятистрочная надпись, вырезанная в низком рельефе, расположена в заглубленном эпиграфическом поле прямоугольной формы, которое заключено в рамку и имеет размеры 90×45 см. Верхнее поле рамки разделено зигзагообразной линией на две половины, при этом верхняя половина заглублена и образует декоративный мотив в виде трех выступающих равносторонних треугольников. В верхнем правом углу верхнего поля рамки и на ее левой боковой стороне имеются многочисленные сколы.

Надпись значительно повреждена в результате эрозии. Наибольшие утраты наблюдаются в строке 1, а также в строках 3–6. Поверхность стелы имеет многочисленные сколы и каверны. Выступающие края букв частично стерлись, что затрудняет прослеживание контуров знаков. Можно предположить, что удовлетворительная сохранность последних трех строк надписи связана с тем, что нижняя часть стелы оказалась заглублена в грунт в период функционирования комплекса в XI — нач. XIII вв., что предотвратило значительное воздействие эрозии. Более высокое число сколов на левой боковой стороне рамки, обращенной наружу относительно группы стел, по сравнению с правой боковой стороной, непосредственно примыкавшей к стеле 2, также можно объяснить тем, что левая сторона стелы подвергалась более интенсивному механическому воздействию в прошлом.

Значительное число повреждений вызвало трудности с чтением и интерпретацией надписи при первой публикации. Авторы признают, что из-за плохой сохранности текста и особенностей кufического письма, в котором, как правило, отсутствуют диакритические знаки, различающие буквы одинаковой формы, предложенное ими чтение строк 3–6 и частично строки 7 следует рассматривать как предварительное, и они «оставляют открытыми двери для дальнейших интерпретаций этого сложного эпиграфического памятника» [3, с. 808]. Тем не менее, им удалось выявить в тексте памятника ряд устойчивых религиозных формул: *басмалу* в начале текста, а также имя пророка Мухаммада и традиционное славословие ему (*taṣliyat-*) в конце. Кроме того, было высказано предположение о наличии в тексте мольбы о прощении грехов (*ʿistiḡfār-*) и устойчивой формулы *nawwara la-hū fī qabri-hī*

¹ По нашему мнению, текст стелы 2 следует интерпретировать как последовательность имен-эпитетов Бога: *ʿal-lāhu l-maliku l-lāhu* «Бог, Царь, Бог».

(«да осветит (Бог) ему его могилу»), характерной для эпитафий, глагол которой, в отсутствие более широкого контекста, был понят как форма «оптативного перфекта».

При работе с памятником применялся метод чтения текста при различном угле освещения в разное время суток. Исследование проводилось с непосредственным доступом к стеле, которая является частью музейной экспозиции под открытым небом и выставлена с внешней стороны северной городской стены между башнями № 19 и № 20. Кроме того, были использованы корпусные методы анализа, включающие сопоставление текста памятника с текстами других эпиграфических объектов и поиск аналогий в базе данных *Thesaurus d'epigraphie islamique*, которая содержит более 57 тыс. надписей на арабском, персидском, турецком и других языках мусульманского мира, датируемых вплоть до 1000 г. х. (1591–1592 гг.) [4].

Надпись выполнена куфическим письмом, которое, как отмечалось выше, за редкими исключениями не содержит диакритических знаков. Для передачи 28 согласных² и трех долгих гласных фонем классического арабского языка в куфическом письме различаются 15 графем в начальном и срединном вариантах и от 15 до 17 графем в конечном и изолированном³. Наличие у графем особых конечных и изолированных вариантов помогает определять границы слов, поскольку расстояние между словами нередко сопоставимо с расстоянием между буквами внутри слова в местах, где вязь прерывается.

Некоторые буквы надписи украшены растительным декором в стиле «листовидного куфи» (*foliated Kūfic, Blattkūfi*). Этот стиль отличает ограниченный набор декоративных элементов: раздваивающиеся кончики на вершинах букв, а также на боковых линиях в их начальных и конечных вариантах. Верхние части букв украшены полупальметтами и листьями с двумя или тремя лопастями [5, с. 183; 6, с. 113–141]. Можно выделить следующие декоративные элементы надписи:

- двух- и трехлепестковые полупальметты на вершинах букв *'alif, lām, ʾā'*, а также *bā'* в *басмале*;
- двух- или трехконечный хвост у изолированного надстрочного варианта буквы *wāw*, а в отдельных случаях — у конечных вариантов букв *nūn, dāl* и *mīm*;
- U-образная вставка перед буквой *hā'*;
- трехлепестковая полурозетка со стрельчатым верхом в слове (*'a*)*l-lāhi* в *басмале*.

В отсутствие диакритических знаков декоративное оформление букв может служить средством их различения в надписи.

Текст и транскрипция

(1) بسم الله	(1) <i>bi-smi l-lāhi</i>
(2) الرحمن الرحيم	(2) <i>r-raḥmāni r-raḥīmi</i>
(3) اللهم اغفر	(3) <i>l-lāhumma ḡfir</i>
(4) وطهر عبد	(4) <i>wa-ṭahhir 'abda</i>
(5) المؤخر ونور	(5) <i>l-mu 'aḥḥiri wa-nawwir</i>
(6) له في قبره وأ	(6) <i>la-hū fī qabri-hī wa-'a-</i>
(7) لحقه نبيه محمد	(7) <i>-lḥiq-hu <bi->nabiyyi-hī muḥammadin</i>
(8) صل الله عليه	(8) <i>ṣall<ā> l-lāhu 'alay-hi</i>
(9) وسلم	(9) <i>wa-sallama</i>

Перевод

- (1) Во имя Бога,
- (2) милостивого, милосердного.
- (3) Боже, прости
- (4) и очисти Абд-
- (5) -ал-Му'аххира и освети
- (6) ему его могилу и со-
- (7) едини его с его пророком Мухаммадом,
- (8) да благословит Бог его,
- (9) и приветствует.

2 В классической арабской орфографии буква *'alif* в сочетании с особыми диакритическими знаками (*хамза* и *мадда*) служит для передачи согласной фонемы /' / лишь в начале слова.

3 В некоторых куфических надписях также возможно совпадение букв *fā'*, *qāf* и *wāw* в конечном и изолированном вариантах. Ср., например, официальную арабскую надпись из с. Митаги [7, с. 199], где буква *qāf* (строка 3) и буква *wāw* (строки 2, 3 и др.) совпадают в конечном варианте.

Палеографический комментарий

Строка 1. Буква *bā* в первом слове *басмалы* имеет ту же высоту, что и буквы *ʿalif* и *lām* в следующем слове (*ʿa*)*l-lāhi*, и завершается трехлепестковой полупальметтой. Этим она отличается от остальных написаний буквы *bā* в тексте памятника, где она представлена в виде низкого зубца со скошенным краем. Высокая буква *bā* в *басмале* является особенностью многих лапидарных куфических надписей (ср. *басмалу* в официальной арабской надписи 792–793 г. из с. Митаги [7, с. 199]), и встречается, в частности, уже на самой ранней надгробной стеле Абд-ар-Рахмана ибн Хайра ал-Хаджри (652 г. / 31 г. х.), происходящей из Египта [8, с. 323]. Над буквой *mīm* в *басмале* прослеживаются три вертикальные полосы с неровными, подвергшимися эрозии краями. В первой публикации они были интерпретированы как буквы *ʿalif* и *lām* следующего слова (*ʿa*)*l-lāhi* [3, с. 803, рис. 4]. По-видимому, эти полосы составляли трехчастный декоративный элемент, предназначенный для заполнения пространства над буквами *sīn* и *mīm*. Аналогии ему можно встретить на одной из надмогильных стел IX в. из Египта, где он имеет более простую форму (рис. 2, а), а также на куфических стелах того же периода с кладбища ал-Ма'ла в Мекке, где этот элемент представлен в виде расходящихся побегов, украшенных бутонами и листьями (рис. 2, б-г). Буквы *ʿalif* и *lām* следующего слова сильно повреждены эрозией. На памятнике различимы основание буквы *ʿalif* и две обращенные в противоположные стороны трехлепестковые полупальметты, завершавшие обе буквы. В середине слова (*ʿa*)*l-lāhi*, между буквами *lām*, видна трехлепестковая полурозетка со стрелчатым верхом. На стеле 4 присутствует похожий по форме, более геометризованный элемент: его вершина украшена остроконечным трилистником с загибающимися вниз боковыми листьями, и он делит слово *ʿal-lāhu* на две симметричные половины [3, с. 811–812]. Сходный мотив трехлепестковой полурозетки со стрелчатым верхом в слове *ʿal-lāhu* встречается в резьбе по стукко соборной мечети города Наин в Иране (X в.) (рис. 3).

Строка 2. Текст строки представляет собой продолжение *басмалы*. Следует отметить раздвоенный кончик конечного варианта буквы *nūn*. Полупальметты букв *ʿalif* и *lām* в обоих словах обращены в противоположные стороны.

Строка 3. Через центр верхней петли буквы *hā* в слове (*ʿa*)*l-lāhumma* проходит небольшая трещина, которая, однако, не препятствует надежной идентификации буквы. В последнем слове строки 3 буква *rā* вытянута и имеет скошенный верх. Она отличается от буквы *lām* отсутствием полупальметты (ср. конечную форму буквы *lām* в первом слове строки 8).

Строка 4. Центральная часть строки подверглась значительной эрозии. Первое слово представляет наибольшую сложность для интерпретации. Оно начинается с буквы *wāw* с заостренным верхом и раздвоенным хвостом. Вторая буква *ṭā*, увенчанная двухлепестковой полупальметтой, переходит в зубец со скошенным верхом, за которым следует декоративный U-образный элемент. Третья буква сильно повреждена, однако сохраняет округлую форму; верхний край не прослеживается, в центре видны две глубокие каверны. Можно предположить, что это буква *hā* в начальном варианте, для которого характерны округлость очертаний, две петли и небольшая обращенная вверх черта со скошенным краем. В местах углублений в центре петель образовались каверны, черта не сохранилась. Четвертая буква, несмотря на незначительные повреждения нижней части, может быть уверенно идентифицирована как *rā* — она имеет вытянутую форму, аналогичную последней букве строки 3. Вопрос о том, следует ли рассматривать зубец после буквы *ṭā* как самостоятельный знак или как декоративный элемент, решается в пользу второго варианта на основании палеографических и лингвистических свидетельств. В надписи на стеле 1 во всех случаях, когда за буквой-зубцом следует U-образный элемент, ему предшествует небольшой уступ, который в рассматриваемом слове отсутствует. Кроме того, в последовательности طهر ни один из 20 возможных вариантов расстановки диакритических точек не может быть интерпретирован на материале арабского языка. Помимо религиозных формул в начале и в конце, текст памятника содержит invocatio (*ʿa*)*l-lāhumma* («Боже») и последовательность императивов в форме ед. ч. м. р. с их комплементами. В связи с этим реконструкция в строке 4 императива глагола II породы طهر *ṭahhir* («очисти») представляется обоснованной. Второе слово строки 4 является прямым объектом императива *ṭahhir* и представляет первый элемент теофорного имени, начинающегося с *ʿabd* — («раб»). Первая буква *ʿayn* значительно повреждена эрозией. Частично сохранились ее дугообразный верхний элемент и место перехода к следующей букве. За ней следует буква-зубец, а завершает слово буква *dāl*, верхняя часть которой разрушена; на стеле различим изгиб перехода от тела

буквы к утраченному вертикальному элементу в верхней части (ср. полностью сохранившуюся букву *dāl* в последнем слове строки 8).

Строка 5. Начало первого слова представлено последовательностью букв *ʿalif*, *lām* и *mīm*. Четвертая буква состоит из округлой петлеобразной основы с нисходящим под строку хвостом, что позволяет с уверенностью идентифицировать ее как *wāw*. Следующие две буквы подверглись значительной эрозии, однако их идентификация возможна благодаря сохранению ряда диагностических признаков. Обе буквы не имеют подстрочных элементов, что подтверждается отчетливо различимым нижним контуром букв. У первой буквы наблюдается дугообразный верхний контур, по высоте она равна предыдущей букве *wāw*. Вторая характеризуется наличием высокого вертикального элемента со скошенным верхом и не имеет растительного декора. Отсутствие декора в виде двух – или трехлепестковой полупальметты, характерной для буквы *lām*, и наклоненного в направлении начала строки вертикального элемента со скошенным верхом, характерного для букв *dāl*, *dāl* и *kāf*, позволяет сделать вывод, что перед нами надстрочный вариант буквы *rāʾ*. Так как слово является частью теофорного имени с элементом *ʿabd* – («раб»), оно должно представлять собой эпитет Бога. В числе канонических «прекрасных имен Бога» (*ʿasmāʾ u l-lāhi l-ḥusnā*) выделяются четыре эпитета, начинающиеся с последовательности *المو*: *ʿal-muʾminu* (المؤمن), *ʿal-muʾaḥḥiru* (المؤخر), *ʿal-muwassiʾu* (الموسع), *ʿal-mawlā* (المولى). Эпитет *ʿal-muʾaḥḥiru* наиболее точно соответствует графическому облику слова, поскольку буква *ḥāʾ* имеет округлый верхний контур и по высоте соответствует букве *wāw*. Таким образом, имя человека, упомянутого в надписи, может быть реконструировано как *ʿabdu l-muʾaḥḥiri*. Второе слово строки 5 начинается с изолированного варианта буквы *wāw* с заостренным верхом и трехконечным хвостом. За ней следуют буква-зубец с утолщенным и слегка закругленным верхом и буква *wāw*. Завершает строку надстрочный вариант буквы *rāʾ*, сходный по очертаниям с аналогичной буквой в предыдущем слове.

Строка 6. Строка начинается с буквы *lām*, увенчанной обращенной влево трехлепестковой полупальметтой. За ней следует небольшой уступ и U-образный элемент, переходящий в конечный вариант буквы *hāʾ*. Следующее слово из двух частично повреждено. Первая буква имеет округлую петлеобразную форму с углублением в центре. За ней следует буква *yāʾ* в конечном варианте, которая имеет серповидную форму и расположена непосредственно под первой буквой. Следующее слово состоит из четырех букв: оно начинается с петлеобразной буквы, за которой следует буква-зубец. За ней идет буква *rāʾ* вытянутой формы с заостренным верхом, и изолированный вариант буквы *hāʾ*. Строка 6 завершается изолированным вариантом буквы *wāw* и вертикальной буквой, в верхней части которой видны фрагменты обращенной вправо двухлепестковой полупальметты. На основании этого признака ее можно идентифицировать как *ʿalif*.

Строка 7. Первое слово строки состоит из четырех букв. Буква *lām*, украшенная обращенной влево трехлепестковой полупальметтой, образует лигатуру со следующей буквой *ḥāʾ*. За ними следует петлеобразная буква, которая через небольшой уступ и U-образный элемент соединяется с конечной формой буквы *hāʾ*, указывающей на конец слова. Второе слово строки 7 состоит из трех идущих подряд низких букв-зубцов со скошенным верхом, которые через небольшой уступ и U-образный элемент соединяются с конечной формой буквы *hāʾ*. Это слово должно являться продолжением широко представленной в эпитафиях формулы *ʿalḥiq-ḥu bi-nabiyyi-ḥi* («соедини его с его пророком»). Однако в надписи на стеле количество букв-зубцов на одну меньше, три вместо четырех. Меньшее число зубцов, вероятно, объясняется гаплографией. Третье слово строки 7, равно как и следующие строки надписи, было верно интерпретировано уже при первой публикации памятника. Оно представляет собой имя пророка Мухаммада, за которым следует традиционная формула благословения. Имя предстает в лигатурном написании: первая и вторая буквы образуют сочетание, в котором буква *ḥāʾ* расположена непосредственно под буквой *mīm*. Последняя буква *dāl* имеет вертикальный элемент со скошенным верхом, слегка наклоненный в сторону начала строки, и раздвоенный кончик.

Строка 8. Первое слово строки 8 состоит из двух букв: *ṣād* и *lām*. Буква *lām* в отличие от вытянутого конечного варианта буквы *rāʾ* декорирована обращенной влево трехлепестковой полупальметтой. Глагол *ṣallā* записан без буквы *yāʾ*, что, вероятно, объясняется утратой оппозиции долгих и кратких гласных на конце слова в живой речи (*ṣallā* > *ṣalla*) [9, с. 10; 10, с. 65]. Во втором слове (*ʿa*)*l-lāhi* отсутствует декоративная полурозетка, которая наблюдается в аналогичном слове в *басмале*. Последняя буква *hāʾ* в конечном варианте соединяется с предыдущей буквой *lām* через U-образный элемент без уступа. В третьем слове *ʿalay-ḥi* нижний элемент первой буквы *ʿayn* выдвинут вперед относительно

верхнего дугообразного элемента и имеет утолщенный кончик. Буква *lām* украшена двухлепестковой полупальметтой, обращенной влево. Буква-зубец *yā'* соединяется с конечной формой буквы *hā'* через небольшой уступ и U-образный элемент.

Строка 9. Первая буква *wāw* с остроконечным верхом и трехконечным хвостом представлена в изолированном надстрочном варианте. Следующая буква *sīn* состоит из трех идущих подряд сужающихся остроконечных зубцов, отличающихся от трех букв-зубцов в строке 7, которые имеют равномерную толщину и скошенный верх. Соединительная линия между буквами *sīn* и *lām* значительно длиннее, чем в других словах текста, и служит для заполнения пространства. Буква *lām* украшена обращенной вправо двухлепестковой полупальметтой. Последняя буква *tīm* имеет раздвоенный хвост.

Интерпретация памятника

Надпись на стеле 1 по своей структуре и содержанию принадлежит к жанру эпитафии. В ее тексте используются формулы, широко распространенные в арабоязычных эпитафиях, такие как *nawwīr la-hū fī qabri-hī* («освети ему в его могиле») и *'alḥiq-hu bi-nabīyū-hī* («соедини его с его пророком»). Помимо *басмалы* и славословия пророку, расположенных в начале и конце, текст стелы 1 включает инвокацию, за которой следует последовательность глаголов в форме императива, — и представляет собой заупокойную молитву.

Для средневековых мусульманских арабоязычных эпитафий характерно значительное типологическое разнообразие структуры и содержания. Заупокойная молитва, засвидетельствованная уже в наиболее ранних памятниках этого жанра [8, с. 322], могла составлять как весь текст эпитафии, так и входить в ее состав в сочетании с другими компонентами (такими как религиозные формулы, коранические цитаты, упоминание имени умершего или дата его кончины).

Особый интерес представляют эпитафии, которые содержат заупокойную молитву и демонстрируют не только структурное, но и материальное сходство с надписью на стеле 1. Они включают инвокацию (*'a*)*l-lāhumma* («Боже») и те же глаголы в форме императива, расположенные в аналогичной либо незначительно измененной последовательности: «*Боже — прости — освети — соедини*». В корпусе *Thesaurus d'épigraphie islamique* представлены 26 эпитафий подобной структуры и содержания, большая часть которых происходит из Египта и Хиджаза (20 стел). Из них 12 эпитафий, помимо вышеупомянутых глаголов, включают в последовательность императивов также и другие глаголы. Все эти стелы были созданы в период с IX по XI вв., что может служить аргументом в пользу уточнения датировки стелы 1 и ограничения времени ее создания рамками XI в.

Примечательно, что среди глаголов, встречающихся в эпитафиях этого типа, глагол *ṭahhir* («очисти») не засвидетельствован. Корпус *Thesaurus d'épigraphie islamique* содержит несколько стереотипных контекстов, в которых глагол *ṭahhir* употреблен в последовательности глаголов в форме императива после инвокации. Все эти контексты представляют собой куфические граффити сер. VIII — нач. IX вв. из Вади-Салма (Иордания) [4; 11, с. 676–677]. В отличие от эпитафий, эти стандартные надписи, помимо мольбы о прощении грехов (*'iḡfir ḡanba-hū*) и очищении сердца (*ṭahhir qalba-hū*), содержат подпись автора с датой. Таким образом, употребление глагола *ṭahhir* в тексте на стеле 1 представляется значимым признаком, который отличает эту надпись от других эпитафий с похожей структурой и содержанием. Важно также отметить, что другие стелы группы не содержат текстов, которые могут быть отнесены к жанру эпитафии.

Археологический контекст, в котором была найдена стела 1 и другие стелы группы, исключает возможность их интерпретации как надмогильных памятников. Основания стел были слегка заглублены в материковый грунт, а их оборотные стороны прилегали к эскарпированному склону. Следы могильных ям не были обнаружены⁴.

В связи с этим важно отметить, что находящийся в Дербенте культовый комплекс Кырхляр (XI–XII вв.) ранее также окружали стелы, установленные вертикально в ряд вплотную друг к другу, как это запечатлено на гравюре XIX в. А. Мюнстера (рис. 4). На гравюре невозможно различить, имели ли

4 д.и.н., проф. Гаджиев М.С. [Электронное письмо, 01.11.2025].

стелы куфические надписи. Русский купец Федот Котов, посетивший Дербент в 1624 г., также упоминает, что группа могил Кырхляр была огорожена «стоячими плитами каменными» [12, с. 43].

Присутствие в надписи глагола *jahhir* («очисти») подчеркивает связь стелы 1 с ритуальным комплексом, в котором она была обнаружена и который использовался для совершения обрядов ритуального очищения (*tahīr*-) и омовения покойников. Этот комплекс имел непосредственное отношение к одному из кладбищ средневекового Дербента — кладбищу Кырхляр. Можно предположить, что установленная в ритуальном комплексе богато украшенная стела 1 не только выполняла функцию поминовения умершего и служила выражением личного благочестия, которое проявлялось в украшении культового здания, но также являлась видом вотивного приношения (*naḡr*-), призванного повлиять на посмертную участь умершего через запечатленную в камне молитвенную просьбу, помещенную в «святом месте».

Арабский термин *naḡr* — («посвящение, обет») может обозначать не только сам акт посвящения или клятвенного обещания Богу, но и предмет, являющийся объектом этого посвящения. Вотивный дар мог быть принесен в знак благодарности за исполнение просьбы, однако также он мог предшествовать ее исполнению, тем самым, по мысли дарителя, связывая божественные силы «обязательством» исполнить просьбу [13, с. 250]. Существовавшие на Ближнем Востоке практики вотивных приношений, связанные с посещением (*ziyārat*-) могил пророков и святых, вызывали осуждение у ряда мусульманских ученых-богословов, таких как Ибн Таймийя и Ибн Каййим. Среди подобных практик они упоминают подношение монет, серебряных и золотых светильников, масла, свечей, благовоний и жертвенного скота. Молитвы и принесение обетов перед почитаемыми источниками и деревьями сопровождалось повязыванием кусков ткани. Могилы святых украшались покрывалами и богатыми драпировками [14, с. 78–79, 186–187]. Почитание святого могло проявляться в украшении орнаментом мавзолея, в котором тот был похоронен, а над его могилой могла быть воздвигнута надгробная стела [15, с. 95]. Практика вотивных приношений включала в себя и монументальное строительство. В 1912 г. немецкий археолог Э. Герцфельд обследовал святилище Машхад Али, расположенное к северу от города Ана (Ирак). Под куполом святилища он обнаружил строительную надпись, датированную 1193 г., которая содержала имена мастеров и указание на то, что купол был возведен во исполнение обета (*naḡr*-) Мас'уда ибн Бадра [16, с. 367].

О широком распространении практики вотивных приношений в средневековых святилищах Дербента свидетельствуют многочисленные находки. На ритуальном комплексе, где была обнаружена стела 1, было найдено 57 монет, которые были интерпретированы как приношения, совершенные во исполнение сокровенных желаний или обета [2, с. 821]. На другом ритуальном комплексе — *Баб ал-кийама*, расположенном примерно в 450 м восточнее, — были зафиксированы обряды забивания в стену гвоздей и подношения медных монет, которые также трактуются как вотивные. Обряд забивания гвоздей в этом святилище продолжал практиковаться до XIX в. и упоминается в заметке в «Известиях Кавказского отделения Русского географического общества». С ритуальной спецификой этого культового комплекса связана находка стеклянного флакона для благовоний, который, по-видимому, являлся вотивным приношением, а также находка большого числа осколков маленьких стеклянных сосудов и браслетов [17, с. 29–31].

Таким образом, несмотря на наличие у надписи на стеле 1 формальных признаков эпитафии, можно уверенно заключить, что стела не являлась надмогильным памятником, а функционировала в ином ритуальном контексте. Ключевая особенность памятника — наличие в тексте глагола *jahhir* («очисти»), который отсутствует в известных аналогичных эпитафиях, — указывает на его тесную связь с ритуальным комплексом и обрядами очищения, проводившимися на этом месте. Нельзя исключать, что установка стелы в пространстве комплекса была направлена не только на поддержание коллективной памяти об умершем, но и являлась своего рода вотивным приношением, призванным обеспечить умершему божественную милость и повлиять на его бытие после смерти. Широкое распространение вотивных практик в средневековых культовых комплексах Дербента, вероятно, подтверждает эту гипотезу.



a



б



в

Рис. 1. Дербент. Стела 1: фото *in situ* (a) [Гаджиев, Шихсаидов, Аликберов 2016, с. 803], фото 2022 г. (б), прорисовка (в)

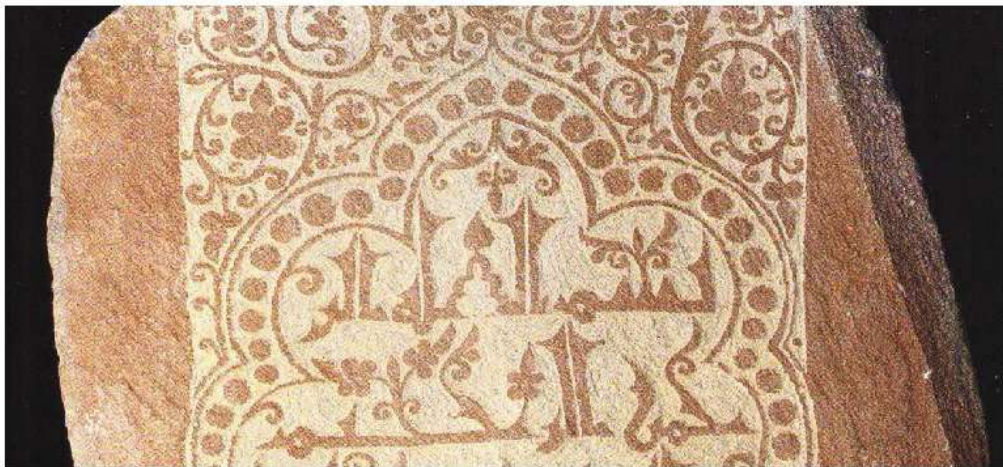
Fig. 1. Derbent. Stele 1: photo *in situ* (a) [Gadzhiev, Shikhsaidov, Alikberov 2016, p. 803], photo 2022 (б), drawing (в)



a



б



в



г

Рис. 2. Декоративный элемент над первым словом *басмалы*: стела 4288 из собрания Музея исламского искусства в Каире, 243 г.х. (857/8 г.) (а) [Jum'a I., 1969, с. 165], стела 497А, Национальный музей, Эр-Рияд (IX в.) (б), стела 451, Национальный музей, Эр-Рияд (IX в.) (в), стела 155, Музей Каср Хузам, Джедда (IX в.) (г)
[Routes d'Arabie 2010, pp. 502-504, №№ 285-287]

Fig. 2. Decorative element above the first word of the *basmalah*: Stele 4288 from the collection of the Museum of Islamic Art in Cairo, 243 AH (857/8 CE) (a) [Jum'a I., 1969, p. 165], Stele 497A, National Museum, Riyadh (9th century) (b), Stele 451, National Museum, Riyadh (9th century) (v), Stele 155, Qasr Khuzām Museum, Jeddah (9th century) (g)
[Routes d'Arabie 2010, pp. 502-504, № 285-287]

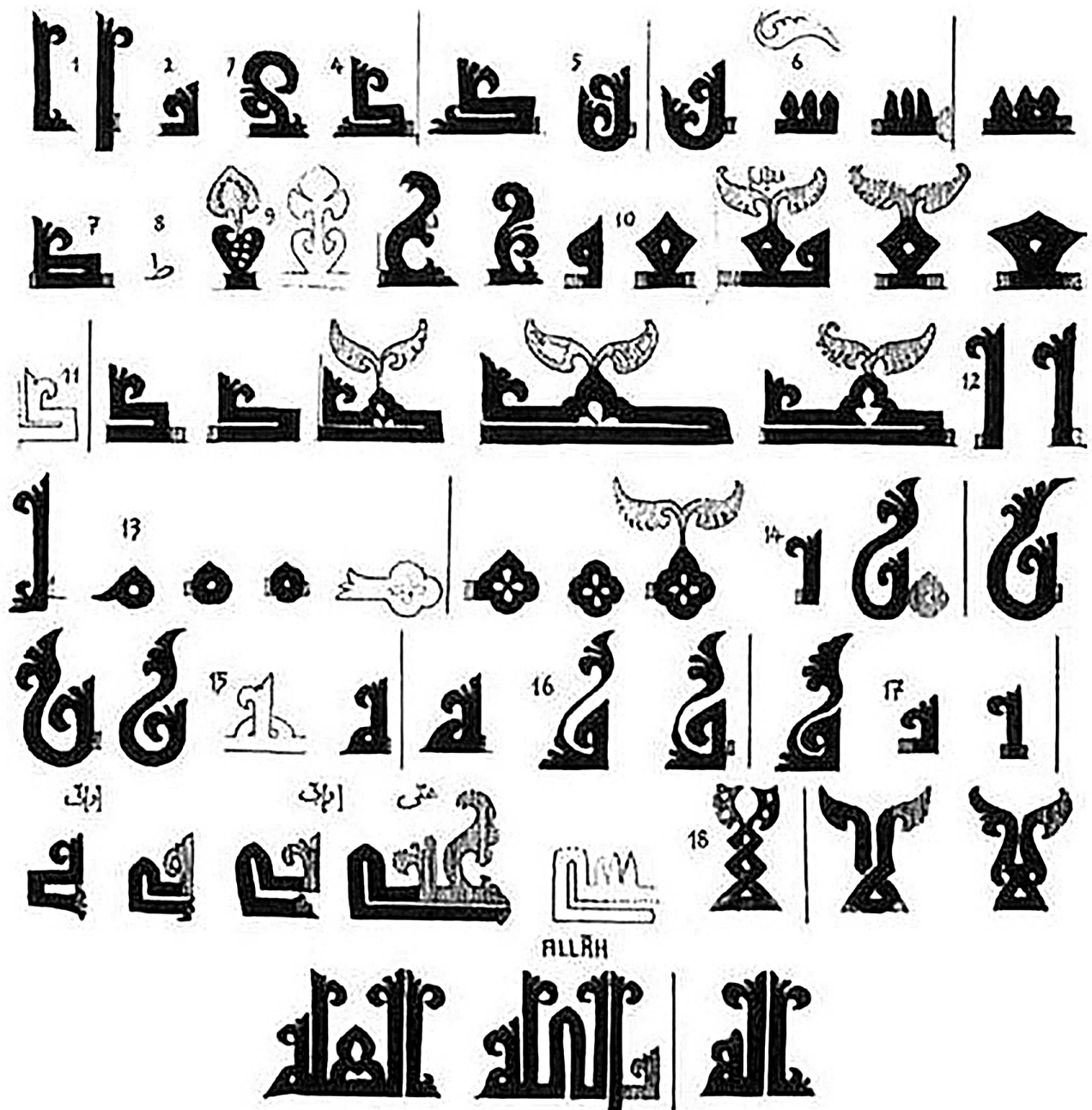


Рис. 3. Алфавитная таблица резной стукковой надписи в соборной мечети Наина [Blair 1992, с. 223]

Fig. 3. Alphabetic chart of the carved plaster inscription in the congregational mosque at Na'in [Blair 1992, p. 223]



Рис. 4. Дербент. Кладбище Кырхляр. Гравюра А. Мюнстера, сер. XIX в. [Гаджиев, Будаичиев, Абдулаев 2021, с. 173]

Fig. 4. Derbent. Kyrkhlyar Cemetery. Engraving by A. Münster, mid-19th century [Gadzhiev, Budaychiev, Abdulaev 2021, p. 173]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будаичиев А.Л., Абдулаев А.М., Шаушев К.Б. Открытие и исследование мусульманского культового комплекса X — нач. XIII в. в Дербенте (предварительное сообщение) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2015. № 3. С. 183–195.
2. Гаджиев М.С., Злобин Г.В. Нумизматические находки из средневекового ритуально-культового комплекса в Дербенте // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2023. № 15. С. 806–833. DOI: 10.53737/2809.2023.32.33.033
3. Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Арабские эпиграфические памятники XI–XII вв. новооткрытого мусульманского ритуально-обрядового комплекса в Дербенте // Ars Islamica: в честь С.М. Прозорова / Отв. ред., сост. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов. М.: Наука-Вост. лит., 2016. С. 798–818.
4. Thesaurus d'épigraphie islamique (TEI) [Internet]. — [дата обращения: 31.10.2025]. Доступ по ссылке: <https://www.epigraphie-islamique.uliege.be/>
5. Grohmann A. The origin and development of floriated Kufic // Ars Orientalis. 1957. Vol. 2. P. 183–214.
6. Grohmann A. Arabische Paläographie. II, Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift. — Wien: Hermann Böhlau Nachf., 1971. — 290 p., 67 pls., 2 tabs.
7. Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р. Сведения Дербенд-наме о Харун ар-Рашиде и новооткрытая официальная арабская надпись 176 г. хиджры // Древности Кавказа и Ближнего

REFERENCES

1. Gadjeiev MS., Abiev AK., Budaychiev AL., Abdulaev AM., Shaushev KB. Discovery and study of the 10th – early 13th century Muslim cult complex in Derbent (preliminary report). *Bulletin of the Institute of History, Archaeology and Ethnography*. 2015; (3): 183-195. (In Russ)
2. Gadjeiev MS., Zlobin GV. Numismatic finds from the medieval ritual-cult complex in Derbent. *Materials in Archeology and History of Ancient and Medieval Black Sea Region*. 2023; 15: 806–833. DOI: 10.53737/2809.2023.32.33.033 (In Russ)
3. Gadjeiev MS., Shikhsaidov AR., Alikberov AK. Arabic epigraphic monuments of the 11th–12th centuries from the newly discovered Muslim ritual-ceremonial complex in Derbent. *Ars Islamica: in honor of S.M. Prozorov*, ed. and comp. by M.B. Piotrovsky, A.K. Alikberov. Moscow: Nauka-Vost. Lit., 2016: 798-818. (In Russ)
4. Thesaurus d'épigraphie islamique (TEI) [Internet]. (accessed: 31.10.2025). Available at: <https://www.epigraphie-islamique.uliege.be/>
5. Grohmann A. The origin and development of floriated Kufic. *Ars Orientalis*. 1957; 2: 183-214. (In Russ)
6. Grohmann A. *Arabische Paläographie. II, Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift*. Wien: Hermann Böhlau Nachf., 1971.
7. Gadjeiev MS., Shikhsaidov AR. Information of Derbend-name about Harun al-Rashid and the newly discovered official Arabic inscription of 176 AH. *Antiquities of the Caucasus and the Near East. Collection of articles dedicated to the 70th anniversary of Prof. M.G. Gadjeiev*. Makhachkala: Epokha, 2005: 196-202. (In Russ)

Востока. Сб. статей, посвященный 70-летию со дня рождения проф. М.Г. Гаджиева. Махачкала: Эпоха, 2005. С. 196–202.

8. El-Hawary H.M. The most ancient Islamic monument known dated A.H. 31 (A.D. 652) // *Journal of the Royal Asiatic Society*. 1930. Vol.62. P.321–325.

9. Hopkins S. *Studies in the Grammar of Early Arabic: based upon papyri datable to before 300 A.H./912 A.D.* — Oxford: Oxford University Press, 1984. — 309 p.

10. Blau J. *A Grammar of Christian Arabic: based mainly on South-Palestinian texts from the first millennium.* — Louvain : Secrétariat du Corpus SCO, 1966. Vol. 1 — 668 p.

11. Al-Jbour Kh. S. Arabic inscriptions from Wādī Salma // *Studies in the History and Archaeology of Jordan*. 2001. Vol. 7. P. 673–679.

12. Гаджиев М.С., Будаичев А.Л., Абдулаев А.М. Средне-вековые мусульманские погребальные памятники Дербента (по данным археологии). Махачкала: МавраевЪ, 2021. — 224 с.

13. Gruber Ch. Nazr Necessities: Votive Practices and Objects in Iranian Muharram Ceremonies // *Ex Voto: Votive Giving across Cultures* / ed. by I. Weinryb. Chicago: University of Chicago Press, 2016. P. 246–275. DOI: 10.2307/j.ctv12fw8bd.14

14. Meri J.W. *The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria.* Oxford: Oxford University Press, 2002. — 327 p. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199250783.001.0001

15. Taylor Ch.S. In the Vicinity of the Righteous: Ziyāra and the Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt. Leiden: Brill, 1999. XVI, 264 p. DOI: 10.1163/9789004492721

16. Herzfeld E. Mashhad 'Alī, ein Bau Zengi's II a. H. 589. Mit 5 Abbildungen im Text und 5 Tafeln in Lichtdruck // *Der Islam*. 1914. Bd. 5. P. 367. DOI: 10.1515/islam.1914.5.4.358

17. Гаджиев М.С. Баб ал-кыйама — средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // *Дагестан и мусульманский Восток: сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова* / Отв. ред., сост. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М.: Издательский дом Марджани, 2010. С. 20–37.

18. Jum'a I. *Dirāsa fī taṭawwūr al-kitābāt al-kūfiyya 'alā l-ahjār fī Miṣr fī l-qurūn al-xamsa l-ūlā li-l-hijra* [Исследование эволюции лапидарных куфических надписей в Египте в I-V вв. х.]. al-Qāhira: Dār al-fikr al-'arabī, 1969. — 292 с.

19. *Routes d'Arabie. Archéologie et histoire du royaume d'Arabie saoudite (catalogue de l'exposition)* / sous la dir. de A. I. al-Ghabban, B. André-Salvini, F. Demange, J.-F. Breton; Musée du Louvre. Paris: Musée du Louvre éditions: Somogy éditions d'art, 2010. — 623 p.

20. Blair Sh. *The Monumental Inscriptions in Early Islamic Iran and Transoxiana.* Leiden: Brill, 1992. — 307 p. DOI: 10.1163/9789004660816

8. El-Hawary H.M. The most ancient Islamic monument known dated A.H. 31 (A.D. 652). *Journal of the Royal Asiatic Society*. 1930; 62: 321-325.

9. Hopkins S. *Studies in the Grammar of Early Arabic: based upon papyri datable to before 300 A.H./912 A.D.* Oxford: Oxford University Press, 1984.

10. Blau J. *A Grammar of Christian Arabic: based mainly on South-Palestinian texts from the first millennium.* Louvain: Secrétariat du Corpus SCO, 1966.

11. Al-Jbour Kh. S. Arabic inscriptions from Wādī Salma. *Studies in the History and Archaeology of Jordan*. 2001; 7: 673–679.

12. Gadjiev MS., Budaychiev AL., Abdulaev AM. *Medieval Muslim funerary monuments of Derbent (according to archaeological data).* Makhachkala: Mavraev, 2021. (In Russ)

13. Gruber Ch. Nazr necessities: votive practices and objects in Iranian Muharram ceremonies. *Ex Voto: Votive Giving across Cultures*. Ed. by I. Weinryb. Chicago: University of Chicago Press, 2016, pp. 246–275. DOI: 10.2307/j.ctv12fw8bd.14

14. Meri J.W. *The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria.* Oxford: Oxford University Press, 2002. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199250783.001.0001

15. Taylor Ch.S. *In the Vicinity of the Righteous: Ziyāra and the Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt.* Leiden: Brill, 1999. DOI: 10.1163/9789004492721

16. Herzfeld E. Mashhad 'Alī, ein Bau Zengi's II a. H. 589. Mit 5 Abbildungen im Text und 5 Tafeln in Lichtdruck. *Der Islam*. 1914; 5: 367. DOI: 10.1515/islam.1914.5.4.358

17. Gadjiev MS. Bab al-Qiyama — a medieval Muslim cult place in Derbent. *Dagestan and the Muslim East: collection of articles in honor of Professor A.R. Shikhsaidov*, ed. and comp. by A.K. Alikberov, V.O. Bobrovnikov. Moscow: Mardjani Publishing House, 2010; 20-37. (In Russ)

18. Jum'a I. *Dirāsa fī taṭawwūr al-kitābāt al-kūfiyya 'alā l-ahjār fī Miṣr fī l-qurūn al-xamsa l-ūlā li-l-hijra* [A study of the evolution of lapidary Kufic inscriptions in Egypt in the 1st–5th centuries AH]. al-Qāhira: Dār al-fikr al-'arabī, 1969.

19. *Routes d'Arabie. Archéologie et histoire du royaume d'Arabie saoudite (catalogue de l'exposition).* Sous la dir. de A. I. al-Ghabban, B. André-Salvini, F. Demange, J.-F. Breton; Musée du Louvre. Paris: Musée du Louvre éditions: Somogy éditions d'art, 2010.

20. Blair Sh. *The Monumental Inscriptions in Early Islamic Iran and Transoxiana.* Leiden: Brill, 1992. DOI: 10.1163/9789004660816

Поступила в редакцию 05.11.2025 г.

Принята в печать 28.01.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Received 05.11.2025

Accepted 28.01.2026

Published 30.09.2026

ETHNOGRAPHY

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223594-607>



Research paper

Tamar L. Hayrapetyan
Dr. Sci., Leading Researcher, Head of the Department of Folklore Textology
Institute of Archaeology and Ethnography, Yerevan, Armenia
tamar.hayrapetyan@iae.am

Lusine G. Madatyan
Cand. Sci., Researcher
Institute of Archeology and Ethnography, Yerevan, Armenia;
Senior Lecturer
Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
lusine.madatyan@iae.am

Siranuysh Sh. Arakelyan
Researcher
Institute of Archeology and Ethnography, Yerevan, Armenia
siranuysh.arakelyan@iae.am

BURIAL RELATED BELIEFS AND RITUAL SYSTEM IN ARMENIAN ORAL CULTURE

Abstract. This study examines the funeral ritual system described in Armenian oral tradition, including subsequent memorial ceremonies, related beliefs and concepts, and the different types of burial. While the ideas and symbols associated with death are universal, Armenian tradition expresses them through unique ritual forms and oral narratives. Drawing upon ethnographic, folkloric, archaeological, and textual sources, including both published research and fieldwork materials, the study analyzes the cultural and religious layers of Armenian funeral practices and their transformation over time. Although many traditional customs have changed or disappeared, certain beliefs and practices continue to retain their significance by adapting to new socio-political and cultural realities. Particular attention is given to representations of death, the soul, and the afterlife in folktales and epic poems, where these concepts are personified and poetically interpreted. The persistence of such elements demonstrates the continuity of Armenian spiritual life, revealing funeral beliefs not as mere remnants of the past, but as living expressions of a cultural philosophy that continues to shape collective identity and spirituality, preserve cultural memory, affirm the immortality of the soul, and provide meaning to the mystery of death.

Keywords: death; burial; heaven; hell; soul; grogh; angel; lamentation; funeral; sleep

For citation: Hayrapetyan T., Madatyan L., Arakelyan S. Burial related beliefs and ritual system in Armenian oral culture. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3 P. 594-607. doi.org/10.32653/CH223594-607

ЭТНОГРАФИЯ

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223594-607>



Исследовательская статья

Айрапетян Тамар Лазаревна
д.ф.н., ведущий научный сотрудник, заведомо текстологии фольклора
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения
tamar.hayrapetyan@iae.am

Мадатян Лусине Гегамовна
К.ф.н., научный сотрудник
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения;
Старший научный сотрудник
Российско-Армянский университет, Ереван, Армения
lusine.madatyan@iae.am

Аракелян Сирануш Шакаровна
Научный сотрудник
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения
siranuysh.arakelyan@iae.am

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И РИТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА В АРМЯНСКОЙ УСТНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается система погребальных обрядов, описанных в армянской устной традиции, включая последующие поминальные церемонии, связанные с ними верования и представления, а также различные типы захоронений. Хотя идеи и символы, связанные со смертью, универсальны, армянская традиция выражает их через уникальные ритуальные формы и устные повествования. В исследовании, опираясь на этнографические, фольклорные, археологические и текстовые источники – как в опубликованных исследованиях, так и в полевых материалах, – анализируются культурные и религиозные пласты армянских погребальных практик и их трансформация в течение времени. Особое внимание уделяется верованиям, отражённым в народных сказаниях и эпических поэмах, где образы смерти, души и загробного мира получают поэтическое и персонифицированное воплощение. Хотя многие традиционные обычаи претерпели изменения или со временем исчезли, отдельные верования и практики продолжают сохранять своё значение, адаптируясь к новым социально-политическим и культурным реалиям. Особое внимание уделяется представлениям о смерти, душе и загробном мире, отражённым в фольклорных текстах и эпических произведениях, где эти понятия персонифицируются и получают поэтическое осмысление. Сохранение данных элементов свидетельствует о преемственности армянской духовной культуры, позволяя рассматривать погребальные верования не как простые пережитки прошлого, а как живые проявления культурной философии, продолжающие формировать коллективную идентичность и духовность, сохранять культурную память, утверждать представление о бессмертии души и придавать смысл тайне смерти. Данная работа представляет собой важный источник, который будет представлять интерес не только для арменоведов, но и для учёных и исследователей, занимающихся изучением погребальной обрядности и представлений о смерти.

Ключевые слова: смерть; погребение; небо; ад; душа; грех; ангел; вопль; похоронный обряд; сон

Для цитирования: Айрапетян Т.Л., Мадатян Л.Г., Аракелян С.Ш. Погребальные верования и ритуальная система в армянской устной культуре // История, археология и этнография Кавказа. 2026. 22. № 3. С. 594-607. doi.org/10.32653/CH223594-607

Introduction

The ideas and beliefs surrounding death are universal, yet each culture interprets and expresses them through its own unique worldview and ritual practices. Armenians honor the body¹ of the deceased through traditional burial rites, laying the person to rest in the earth and sending them off to eternity.

In Armenia, the funeral rituals form a deeply rooted system that reflects centuries of spiritual thought, mythological imagination, and communal identity.

The Armenian funeral ritual system, along with the associated beliefs and ideas about death, has been the subject of study by scholars such as Manuk Abeghyan, Sargis Harutyunyan, Yerazik Harutyunyan, archaeologist Garegin Tumanyan, armenologists Barbara Schmidt, James Russell, culturologist Vladimir Toporov. In the course of the 19th and 20th centuries, Valuable ethnographic and folklore materials have also been gathered from various regions of the Armenian Highland by researchers, including Yervand Lalayan, Garegin Nzhdehyan, Garegin Srvandzdyants, Gevorg Sherents, Bense and others. The complied materials and works have helped preserve fragments of a worldview in which life, death, and the afterlife are closely intertwined.

Building on this foundation, the present study aims to reveal and analyze the cultural and ritual layers of Armenian funeral practices, along with the religious and mythological ideas that accompany them in oral tradition. For this purpose, we have compared published research with archival folklore and ethnographic materials, unpublished manuscripts, and our own fieldwork. We conducted the study using a combination of historical-comparative, textual and comparative methods of the mythological school. Therefore, the interdisciplinary nature of this research, uniting archaeological, religious, folkloric, and textual perspectives, allows a comprehensive understanding of how Armenians have conceptualized death and the afterlife through time.

This work is an important source that will interest not only Armenologists, but also scholars and researchers studying funeral rites and beliefs about death.

Religious and mythological beliefs and ideas

According to Armenian folk belief, the day of a person's death is predetermined and inscribed on their forehead, while the record of their life is kept in celestial pots. Each year, a drop of water falls into the pot, and when it becomes full, death arrives. Another belief holds that every person has a star that falls from the sky when their life ends — a poetic image linking earthly existence with the cosmos [3, p. 178].

Despite the diversity of burial customs among different cultures², the philosophy behind them remains universal: the soul is believed to be immortal and in need of care even after death. For this reason, rituals, and prayers continue to serve as bridges between the alive and the deceased, affirming a shared human desire to preserve the memory of loved ones and to give meaning to the mystery of death.

Belief in the soul³ occupies a significant place in the religious ideology of Armenians. It is closely tied to notions of the afterlife and the religious rituals derived from these beliefs, which continue to be a part of Armenians daily life to this day. Notably, even during certain household tasks, people would whisper incantatory prayers, asking for “mercy” to the soul of an unmemorable deceased person. For example, one of the magical prayer formulas recited while untangling a knotted thread is addressed to an unmemorable elderly woman.

Աստուծօ օղորմի աւնիշատակ Մանիշակի հոքուն,

Նրա խնունճն էնի յիդ գայ (արձակուի), իմն էստի:

May God have mercy upon the soul of unmemorable Manishak;

1 Examples can be found in both the works of Armenian historians and epic folklore. These include the honoring of King Artashes's body, as described by Movses Khorenatsi [1, pp. 228–230]; the burial of those who fell in the battle between Indian priests and the troops of Armenian princes near the village of Kuars in Taron, who were interred in a common grave with a memorial monument erected over it [2, pp. 41–42]; and the burial of the deceased accompanied by a liturgy, as mentioned in the Armenian epic “Sasna Tsrer” (Daredevils of Sassoun), among others.

2 A remarkable study on this topic was conducted by the scientists from Florida State University [4, p. 44–50].

3 According to popular belief, souls, angels, and demons are all incorporeal, a notion supported by Yeznik Koghbatsi, the author of one of the key works of Armenian philosophy [5, p. 73]. This concept was also explored by the ancient Greek philosopher Socrates, who argued that souls exist independently of the body and are endowed with reason [6, p. 87]. This perspective is likewise embraced by Christianity. One manifestation of this belief can be seen in the frescoes at the western entrance (interior side) of the Akhtala Monastery, which depict the religious ideas of the Armenian Apostolic Church during the Middle Ages.

Let her spindle untangle there, mine here [7, p 17].

So, people often remembered the deceased and prayed for their souls, a practice that still exists in Armenian culture today.

Oral culture provides the means to observe and analyze humanity's perspective on death, the grave, the otherworld, and the deceased which are expressed across almost all genres of folklore, including riddles: *Հողի տուն, մսի դուռ, փեղեկ էրդուխ* (*Earthen house, fleshy door, a wooden threshold*) [8, p. 153]. Here according to popular belief, "Earthen house" is the grave, "fleshy door" is the body of the deceased, and "wooden threshold" is the coffin.

It is important to note that Armenian sources concerning the deceased are directly connected to the relationship between the soul and the body. This belief underlies certain customs, such as avoiding mirrors late at night and covering mirrors in the home of the deceased with a white sheet. According to ancient thought, "every reflection is the opposite mirror twin of the phenomenon," which symbolizes the existence of a parallel or opposing world [9, pp. 149–150].

Based on our fieldwork, during funeral rituals mirrors were covered so that the soul of the deceased would not get into the living person through the reflection, an act that was considered equivalent to death⁴. In this regard, Zalina Kusayeva's article is noteworthy, as it discusses the ritual use of mirrors among many peoples and the multiple symbolic meanings and artistic motifs found in folklore and ethnographic materials. According to the researcher, these qualities grant the mirror the status of a sign [10, p. 73]. Furthermore, the semiotic concept of duality underlying the mirror archetype has been analyzed by Umberto Eco [11, p. 78].

Visions of the underworld

In Armenian folk ideas and beliefs, vision has its own place. It is a state when the soul is snatched from the body, remains in the air or travels, sees various things, which mainly relate to the underworld, and the body temporarily ceases to breathe. The ideas of the afterlife are divided into two parts: heaven and hell. In religious folk ideas, there is the bridge of a hair separating heaven and hell, under which the river of fire flows. Sinful souls are taken by countless devils and subjected to various tortures: one beats them with a lead whip, another pricks their ribs with red-hot steel bottles, another tears their flesh with tongs, their mouths are filled with worms, etc. There is also a seven-headed dragon⁵, which breathes fire and burns them [12, 89; 13, p. 319].

Armenian beliefs about the afterlife share much in common with of Iran. In Iranian religious thought, this world and the underworld are separated by the Chinvat Bridge. On the third day after death, the souls of the departed gather there. The righteous Rashn weighs the deeds of the good and the wicked on golden scales. The bridge widens for the virtuous, allowing them to cross into heaven, which consists of four stations. Sinners, however, fall from the narrow bridge into hell. In both Armenian and Iranian cosmologies, heaven is imagined as being above, while hell lies below [14, pp. 132, 261]. The very words *heaven* (*դրօշտ*, meaning "garden" or "orchard") and *hell* (*ճշոխ*⁶, meaning "evil place") are of Iranian origin [15, pp. 293, 310].

Similarly, in Armenian belief, a sinful soul cannot cross the bridge of a hair, as it breaks under the weight of sin, casting the soul into the river of fire. There, the monstrous Krjelatam⁶ gnaws human flesh with its teeth like a ghou, and sinners, buried up to their necks, are boiled in vats filled with lead [13, p. 319]. Perhaps such perception explains why Armenians have traditionally treated the body of the deceased with great reverence and care. Until the mid-1920s⁷, it was customary to place the body of the dead person in the church, where prayers and rituals prepared the soul for its journey, purifying it to reach eternal bliss in heaven.

In Armenian notions of heaven, the soul of the righteous takes on an angelic form and dwells among angels in the garden of heaven. The springs of immortality flow and the apples of eternal life grow there; the table of

4 T. Hayrapetyan, S. Arakelyan, *Field Folklore and Ethnographic Materials (FFEM)*, Kotayk region of RA, village Hatis, 2019. notebook № 1, page, 21-22, narrator: Greta Davtyan.

5 Yeznik Koghbatsi expressed his religious perspective on dragons, writing that dragons are nothing more than large land snakes or huge sea fish, which are said to be mountain-shaped and huge [5, p. 80].

6 Garegin Srvandztyants interprets it as a personification of the word "gnashing of teeth" mentioned in the Bible [12, p. 89].

7 Due to the establishment of Soviet rule in Armenia, beginning in 1921–1930 and becoming widespread between 1935 and 1939, mass arrests, exiles, and executions of Armenian clergy and intellectuals took place. In parallel with these repressive measures, churches were closed, demolished, or converted into warehouses [16, p. 96–114; 17, p. 3–25]. Under such conditions, the tradition of placing the deceased in churches came to an end in Armenia. Since the beginning of the 21st century, to avoid placing the deceased at home, funeral halls have been used instead of churches for holding requiem and burial ceremonies.

God is set with all manner of good things for the righteous, and the gates and stones of heaven shine like the sun [12, pp. 89–90]. In this sense, Armenian folk beliefs have preserved the biblical perception of heavenly paradise within their religious and mythological imagination [18, pp. 21, 9–27, 350–351].

Armenian folklore also retains contradictory religious ideas regarding followers of the Armenian Apostolic Church and Armenian Catholics (Franks). The Armenian Apostolic Church rejects the concept of purgatory, teaching that the soul proceeds directly to its waiting place after death. In contrast, the Catholic Church maintains that the soul passes through purgatory before ascending to heaven purified. This difference is reflected in a folk dialogue recorded by Yervand Lalayan between two priests—one Apostolic and one Catholic. When the Apostolic priest asks why Catholic burials are more expensive, the Catholic priest explains: the Apostolic Church sends the soul directly to the kingdom of heaven, while they first send it to purgatory and later remove it through the prayers and offerings of the deceased's family, for which a considerable payment is required [19, p. 17].

Sleep and death

In the Armenian language, sleep and nap (*ninj*) are synonyms, and the latter is also perceived as death, from which we have the noun *nnjetsyal* (deceased), which means a dead person. According to the popular ideas about death, sleep is regarded as a temporary death, followed by awakening and is paralleled with resurrection.

In mythology, the rooster is credited with the idea of resurrecting the dead [20, p. 309–310]. It is interesting to note that there is direct evidence of this belief in Armenian riddles, which first describe the appearance of the rooster, and then its function. Predominantly roosters have its mission of awakening sleeping people who are considered to be the temporarily dead. For example:

Թագն ի գլուխ՝ սղոց է, գիշերվան մեռելահարույց է:

The crown on the head is a saw, the one who resurrects the dead at night.

or

Թագվոր մը կա հինգ,

There was a king from ancient times,

Թագը կրթօխն օսկի սղոց,

The crown on the head is a golden saw,

Էլալ, կանչեց ննջեցեղոց,

He came and called the dead,

Քրիստոս հարչալ ի մեռելոց:

And Christ resurrected the dead [21, 68–69].

Death appears in two ways: objectified and personified [22, p. 387]. By objectifying the idea of death, the individual has tried to find a way to reconcile with the natural resolution of life and overcome the fear of death. For example, in the prayer said before going to bed, sleep is presented as death, and the bed as a grave.

Մտայ ի տիղս (անկողին), ի գերեզմանս,

Անխօսի, անխոստովանի.

Անմահ մեռիլ իմ, անգերեզման թաղվիլ իմ,

Անթառամ փսակին, լուսեղէն դրախտին,

Քրիստոսի տիսին արժանի լիլիմ:

I entered my bed, my grave,

Without speaking, without confession,

I have died immortally, I have been buried without a grave,

I may deserve the imperishable wreath, of the radiant paradise,

to see Christ [7, p.15].

The prayer reveals the supposed similarities between death and sleep, the bed and the grave, and the religious idea of the salvation of the soul, which is connected with the second coming of Christ and the Judgment Day. Epic folklore has preserved interesting ideas about the soul being outside the body during sleep. In the Armenian church epic “Mokos” we find the following: Panpool comes and sees the sleeping Garegin:

Էրեսը կարմիր արև դարձեր, կը հագարնը լուր բերնէն կելլր:

The face had become a red sun, a multicolored light was emanating from the mouth [23, p. 69].

What the brave heroine sees really frightens her, and she realizes that she is dealing with someone “favored” by heaven. A similar phenomenon is observed in the folktale “Shahbaz Melik” compiled from the historical district of Mokos where the hero attributes the light emanating from his mouth to the sanctifying power of myron (holy oil):

Մենք ալիսանի մէջ մըկրրուկեր ենք, Էտի մեռնի շընորքն ա, կէլի, կը մըտնի իմ պերան:

We were baptized in the pool, and it is the grace of the myuron that goes in and out of my mouth [24, p. 85].

In both examples, there is a notion of the “dualism” of the soul, which is connected to the Holy Spirit or the Comforter, a person of the divine Trinity who dwells within humans through the imprint of the myuron.

Հոգիդ արքայութեն, մարմինդ խանգիստ խանգատարան գնայ,

յոս-կամար փայլի գերեզմանիդ, յիշատակդ բարի էլնի:

May your soul enter the kingdom, your body enter a peaceful resting place,

May your grave shine with light, may your memory be kind.

or

Գարբիւլյան փողին, խաչի լուսուն, Էրանական ձայնին,

անմահական փառք պատուին ու պսակին արժանանաս:

May you be worthy of the trumpet of Gabriel, the light of the cross, the blessed voice,

May you be worthy of the glory, honor, and wreath of immortality [8, p.163].

The wish for the body to rest in peace, as expressed in the first blessing, becomes clear when we relate it to the epic genre of the folktale. These tales often mention the punishment of the dead⁸ who have unresolved debts, the beating of their bodies, and the eventual payment of those debts by a protagonist. Afterward, the body is reburied with a priest's blessing. According to the Armenian fairy tales corresponding to number 505 in Hans-Jörg Utter's "The Types of International Folk Tales" [25, p. 289-290] the heroes are protected from further trials by the angel of the “saved” deceased or the soul of the same deceased. [26, p. 230-231, 245, 252; 27, pp. 450-451; 28, pp. 234-235, 242]. The desire for a light-arch to descend upon the grave is likely tied to the Holy Spirit. According to Christian doctrine, saints are incorruptible, and their graves are considered blessed. The imagery of a light-arch descending on a grave is reflected in Armenian epic “Sasna Tsrer” (Daredevils of Sassoun). The protagonist David, spending the night in his father's hunting lodge, sees light emanating from a stone. This light marks Mher's grave, located beneath the ruins of the Church of the Holy Mother of God on Mount Maruta:

Մարմար քար պացվիր ի,

Լուս կամար վերեն կանգնիր ի,

Վանքի խիմ պացվիր ի:

The marble stone has been opened, a light-arch has been erected on it,

The foundation of the monastery has been opened [29, p. 262; 30, pp. 191-192].

After the vision, David rebuilds his father's monastery, which is essentially the embodiment of the idea of resurrection. Both the grave and the church implicitly identify their sacredness in popular imagination, which leads to the idea of the grave as a home, a resting place [31, p. 125]. The Armenian heroic epic poem has preserved this idea, placing Mher's grave at the base of the the Church of the Holy Mother of God on Mount Maruta⁹.

The cemetery, in addition to being a resting place for the deceased, is a meeting place¹⁰ for the living people and a safe place to connect with the deceased and share their worries with them. As a meeting place, it is mentioned in folktales [27, pp. 343-344], and we also find motifs of visiting the cemetery and asking for advice in the “Sasna Tsrer” (Daredevils of Sassoun)¹¹.

While discussing the concept of death, it becomes necessary to consider the role of the dog as a guardian, mediator, and companion between this world and the next in Indo-European and Armenian death rituals. This is reflected in the Armenian myth “Ara the Beautiful and Shamiram”, which preserves traces of ancient beliefs within a historical-traditional framework [22, p. 364; 32, pp. 389–390]. In these narratives, one of the dogs is associated with death, while the other embodies life [33, p. 41]. Similar motifs also appear in Romanian mourning songs, where dog-wolf figure symbolically represents death [34, p. 133].

According to medieval Armenian authors such as Yeznik Koghbatsi and Sebeos, ancient Armenian beliefs held that the *Aralezs*, spiritual beings descending from dogs, resembled the life-giving canines of the underworld. They were believed to lick the wounds of the deceased and bring them back to life [5, p. 78].

⁸ This phenomenon is also recoded by Armenian philosopher, translator, social and ecclesiastical figure Yeznik Koghbatsi [5, p. 37].

⁹ There are quite a lot of churches built on the graves of saints in the Armenian Highlands, which are also called testimonies. Among them are the monastery of St. Karapet in Taron, the monastery and the church of Hripsime and Gayane in Vagharshapat, etc. And this cultural text occupies its stable and somewhat pivotal place in Armenian epic folklore.

¹⁰ Shakespeare used this motif in his famous play “Romeo and Juliet”.

¹¹ All stories of Little Mher's branch have this section.

According to the tradition, the Assyrian queen Shamiram placed the body of the slain Armenian king Ara the Beautiful in the care of the *Aralezs*, imploring them to lick his wounds and restore him to life [1, pp. 60–62; 35, p. 51]. The severed head of Armenian general Mushegh Mamikonyan was to be revived by the *Aralezs* [36, p. 362]. According to Armenologist James Russell, “In the fourth century, Christians apparently believed that the *Aralezs* descended from heaven to revive dead heroes” [32, p. 41]. The life-giving role of these dog-like spirits also appears allegorically in Armenian folktales, particularly those classified under Type 590 in Hans-Jörg Uther’s “The Types of *International Folk Tale*” [25, p. 347], (forty-four Armenian variants of the cycle have been identified). For instance, in the tale “Zanjil Kran” (Chain Cutter) [37, p. 141], dogs dig up a grave, retrieve a dead boy, and revive him with the Water of Life:

Ձեն կինի մեջ քյաղքին, թե թախախորու փեսեն շներ հարուցուցին, խանին վեր:

Your wife’s dead son-in-law, the dogs have awakened, the khan has risen [37, p. 141].

The news spreads through the city that the dogs have revived the king’s son-in-law. In another tale, “Oske Tsam, Oske Jkund” (Dolden Hair, Golden Finger) [38, pp. 97–98], a dragon takes out the protagonist’s eye and buries his body in an inaccessible place. Two dogs dig up the earth, recover the boy, and bring him back to life. In certain variants, such as “Archin Tghan” (The Son of the Bear) [39, pp. 274–275], the dog hides the hero’s eyes from the dragon, keeps them in its mouth, and later replaces them in the protagonist’s sockets using water and a dove’s feather, restoring his sight:

Ըտեղ մին թուլա յա ինոււմ, դաստի աշկերը յօր ա օնոււմ, պրբանոււմը պահոււմ:

There is a dog there; it immediately takes the eyes and holds them in its mouth [40, p. 127].

Folklorist Sargis Harutyunyan interprets the dog-like *Aralezs* as a product of Armenian mythological thought, noting that both their name, derived from *Ara*, and their life-restoring function symbolically link them to King Ara the Beautiful himself [22, p. 383].

Soul taker

In folk beliefs, *grogh*¹² the personifications of death and the Archangel Gabriel also have their stable role and function. Although in Christian doctrine Gabriel is considered a herald, in folk beliefs he remains rooted as a soul taker. In folktales and ethnographic materials, the ideas about *grogh* or soul taker are very similar: if a person is evil, *grogh* takes the soul, if he is good then the angel takes [3, 178; 13, 309]. The methods of soul taking vary: the reaper extracts something dark from the mouth of an evil person, symbolizing the sinful soul, accompanied by torment. In contrast, from the mouth of a good person, the angel joyfully extracts something luminous, symbolizing the righteous soul [26, pp. 473–474]. The soul is often envisioned as a black or white bird [3, p. 185]¹³. This concept persists to this day in various regions of Armenia, where Armenians refer to dying as “to give the soul”¹⁴.

In the tale “Karapet-Bek” [42, pp. 456–477] there is an interesting Christianized notion: the souls of two different people are taken by the same old man, who is visible only to the protagonist and the dying hosts. He takes the soul of the first person by beating him and extracting something dark from his mouth, while he takes the soul of the second person by offering a golden apple surrounded by light, making him happy and extracting something resembling light from his mouth. In other words, the souls of both individuals are taken by the same old man, but he appears as a gloomy figure to one and as a bright angel to the other¹⁵.

According to folk beliefs, *groghs* gather at night at the command of the chief *grogh*, who has a fiery green stick. When he strikes the ground three times with his fiery stick, the *groghs* congregate in an instant. The *groghs* are described as having their heads in the clouds and their feet in the abyss, and their faces are as black as the darkness of midnight, their muzzles hang down to their knees. They have the power to transform into the size of a flea or expand into a large cloud covering the sky and earth. Each *grogh* carries a stick, which they use to beat and torture dying individuals [12, pp. 79–80]. There is also a belief that *groghs* cannot enter houses

12 An imaginary evil spirit or angel.

13 We also encounter the epistemological concept of the soul of the righteous person taking the form of a dove and inheriting the kingdom of heaven in Agathangeghos [41, pp. 339, 341 (605–606)].

14 T. Hayrapetyan, S. Arakelyan, FFEM, Kotayk province, village Hatis, 2019, notebook № 1, sheet 3–5, speakers: Greta Davtyan, Anna Sahakyan, Bella Manukyan.

15 We find this notion in the conversation between Gregor Lusavorich (Gregory the Illuminator) and his angel. Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts, Hand. 2782, pp174b–179b.

where there is a *Hmayil*¹⁶ or *Narek*¹⁷ [12, p. 80-82]. People light a lamp at the entrance and pray to attract the angel of God to protect the house. The angel then chases away the *groggh* and takes the soul of the dying person to heaven. *Grogghs* are believed to live in trees at night, as well as in water sources, wells, canals, and ruined buildings. When an epidemic breaks out, people believe that God has removed his hand from the area where the *grogghs* have carried out their “dark work” unhindered. According to folk beliefs, the chief *groggh* keeps a *davtar* (a notebook) where he records the names of those “left out of God’s protection” and sends his officials to them [12, pp. 81-82]. Moreover, according to folk beliefs, *grogghs* are identified with demons and devils, and their notion in epic folklore is embodied by strangers: Artavan, Msramelik, Arab, or demons: Charbahar Wind, Hamtol, etc. These are all agents of evil and spread only destruction and death after them, which are defeated and killed only by chosen heroes who enjoy the patronage of the good force, Fortune.

In daily life, when someone started yawning or sneezing they would close their mouth to prevent the devil from entering their stomach and causing them to become possessed. These beliefs stem from the notion that if Christian individuals are not buried with prayers and the presence of a priest after death, they transform into *gornadabs*¹⁸. Therefore, relatives make every effort to ensure that the deceased is buried with the presence of a priest.

Burial

The ritual of sending off the soul to the underworld is called *hugharkavorutyun* (funeral) in Armenian (i+ughi+arkanel – to send off), culminating in the burial of the deceased and the sealing of the grave. Ghevond Alishan mentions that among our pagan ancestors, the cremation of the dead was not practiced; instead, it was common to bury the deceased in the ground or place the dead in a semi-preserved grave within a stone tomb [44, p. 443].

Thus, it can be assumed that the ancestors of the Armenians, holding the belief in bodily resurrection, did not cremate the body. Instead, after the ritual of washing, they buried the deceased in the ground, using either a coffin or a shroud. This distant connection to the idea of resurrection can be linked to the belief in a dying and resurrecting deity of nature, a concept that became more firmly established during the Christian era.

While analyzing burial rituals, it is noteworthy to mention that among Armenians there was once a tradition of placing a stone in the place of the deceased when taking him out of the house, so that his memory would remain in that house [45, p. 323], and it also served the function of distracting the deceased so that his soul would lose its orientation on the way home and would not lead anyone away from the house [46, p. 160].

Of note, to this day, Armenians pour water behind the coffin as it is taken out of the house, so that the path of the deceased may be smooth and he may cross the boundary of the afterlife without hindrance [46, p. 160]. After the burial, those who participated in the funeral procession are expected to wash and then share a funeral meal together.

Commemorative ceremonies for the deceased continued at the cemetery (on the day after the burial, on the seventh day, on the fortieth day, and on the first anniversary) and were always accompanied by a meal, as it was believed that the souls of the dead wandered near their graves for a year [47, p. 26]. “The soul first requires material pleasures, i. e., it needs something to eat and drink,” writes Adolf Bastian, “considering it the remnant of ancient worship” [48, p. 8].

Through these commemorative rituals (burning incense and praying, observing mourning, visiting graves, and placing a tombstone on the anniversary) Armenians continue to strengthen the spiritual bond between the deceased and their family, ensuring the continued protection of the deceased over their kin. This also explains the practice of sprinkling wheat or barley on the grave, which is linked to the riddle of dying and reviving wheat and symbolizes the continuity of life [49, p. 249].

16 Hmayil is a written amulet in the form of parchment.

17 Narek-The Book of Lamentations written by St. Gregor Narekatsi. St. Gregor Narekatsi (c. 951–1003) was an Armenian medieval poet, philosopher, cleric, and Christian theologian, regarded as a foundational figure in the revival of Armenian literature. In February 2015, Pope Francis included St. Gregor Narekatsi among the thirty-six Doctors of the Catholic Church. Among Narek’s works, the most renowned and widely appreciated is the poetic collection of prayers known as the *Book of Lamentations*, commonly referred to as the *Narek*. Narek is recognized among Armenians as a holy book, believed to possess miraculous and healing powers.

18 According to belief, if the deceased is not buried according to ecclesiastical rites, the soul remains on earth and takes the form of a dog or wolf, which is called *gornadab*. For more details about *gornadab* or *gornapshtik*, see 43, p.162-168:

Types of burials: Dismemberment and the Reburial of the Relics of Saints

In Armenian epic folklore, burial is depicted in its various forms, with interpretations that reflect the people's everyday beliefs and perceptions. It is worth discussing particularly the burial of Msra-Melik in the branch of David of the epic poem "Sasna Tsrer". The people honor their identity and the blood that flows within Melik, and as a sign of respect for their own identity, David buries a piece of Melik's body, which has been divided into two parts and the other part of body is taken by Melik's father.

Հոյր վիր էլաւ՝
 Մէ կտուր դէս կնաց, մէ կտուր դէն կնաց:
 Աջակողմը Դավիթ դրեց ձիու վերս,
 Պիտեց, ժամով-պատարագով թաղել տւից:
 When he rose, one part went one way,
 And the other part went another.
 David placed the right side on his horse,
 Brought it and buried it with a religious ceremony [29, p. 283].

As we can see above, the epic poem preserves the memory of dismembered funerals¹⁹, which later received a Christian interpretation: a burial conducted with religious ceremony. The 13th-century Armenian historian and church figure Kirakos Gandzaketsi reports that due to sharp disputes between different communities over the burial place of the deceased, the body of the Armenian King Levon was divided and part of it was buried in the royal city of Sis, the other part in a monastery called Akner [51, p. 139].

Historians often mention how the archpriests of the church brought relics of apostles and other Christian saints to Armenia and reburied them in a process referred to as *ampopum* (entombment). These entombments involved dismemberment, as specific parts of saints' bodies were reburied, sometimes along with relics of multiple saints following a special rite [2, p. 49]. In some cases, this was carried out under the guidance of an angel, and, as a rule, churches were built at these sites²⁰.

In this case, there is no washing ritual before the burial, nor any requiem, burial and memorial services. However, it should be noted that in this case, the "reburied" saints are continuously commemorated during church ceremonies and the Holy Liturgy, especially in the church where they are interred, and are regarded as intercessors before God. Their "new grave" is also sealed²¹ and entrusted to the care of the monastic community of the respective monastery [2, p. 28].

Alive or ritual burial

This type of burial is reflected in folklore, where protagonistes are often depicted as being imprisoned within rocks. In Armenian epic folklore, the "imprisoned" heroes are cultural heroes who are princes with the strength of a giant. They are usually "imprisoned" in rocks against their will. In the fairy tale "Odz Manuk and Arin-Armaneli" (The Snake-Child and Arin-Armaneli), the heroine follows the instructions of her deceased mother and locks herself in a cave with the enchanted Arin-Armaneli. With the help of the girl, the latter is freed from the spell, fully revives, and leaves the cave [52, pp. 175-181]. In epic poems, both Artavazd and

19 In Armenia, burial mounds with dismemberment have been excavated, which are located in the archaeological sites of Artik, Stepanavan, Verin Naver, Karashamb, Talin, Aparan Reservoir Bank, Hnaberd, Lchashen 2, Kanagegh, Artsvanik and mainly relate to the Early Bronze Age period. For details, see 50, p. 138-152. An artifact with body parts enclosed in a sacred vessel with a ritual dismemberment of a man dating back to the 4rd millennium BC was also found in Areni 1 Cave in Vayots Dzor, Armenia (The material has not yet been published). We would like to thank the head of the scientific expedition excavating Areni 1 Cave, archaeologist Boris Gasparyan for the information).

20 The ideological cornerstone of building a memorial or church at the burial sites of saints among Armenians is the vision of the Gregor Lusavorich, in which he was instructed to build resting places-chapels over the bones of the Hripsimeans [41, pp. 420-421].

21 In the Armenian funeral rite, the priest places a seal with the sign of the cross on the grave of the deceased, which, according to belief, will be opened on the Day of Judgment, when the seven seals of the Book of Life are opened [18, 336-338, Revelation chap. 5, 6], the seven trumpets of the angels sound [18, 339-340; 341-342, Revelation chap. 8, 9, 11:15-19], when the judgment of the dead takes place [18, 349-350, Revelation 20:11-15]. The funeral rite is written in detail in the Armenian Church's ritual book called "Mashtots". See, Mother Mashtots (10th century)[53, p. 255-275].

Little Mher are locked in rocks due to the curse placed upon them by their fathers. Artavazd is kidnapped by *kajks* (invisible demons) and replaced by a demon, while Little Mher gains demonic power. Both characters have a duality because of which they were cursed to remain immortal, without descendants, imprisoned alive in a mountain against their will: Artavazd in Mount Masis, and Little Mher in Agravakar. Both of them are accompanied by sacred animals: Artavazd by dogs, Little Mher by a horse. Over time, significant changes have occurred in eschatological insights and folk beliefs: when Artavazd comes out, the world will face destruction. In contrast, in some stories, Little Mher awaits the second coming of Christ, and according to the others, when justice will be established in the world. The key difference between these two heroes lies in their roles within the epic cycle: Artavazd exists outside the cycle and does not contribute to the creation of a new world, while Little Mher remains an integral part of the epic narrative. Little Mher is destined to play a role in the creation of a new world. Ancient Greek philosophers also examined similar ideas and concluded that “in reality, there is both resurrection and the birth of the living from the dead, as well as the existence of the souls of the deceased” [6, pp. 80–81]. A similar belief exists among Armenians: a living hero must emerge from the chaos of the underworld to restore justice on the Earth. In this context, the protagonists, locked in rocks against their will, undergo a sacred burial ritual, which their fathers voluntarily undertake to perform, through a curse which condemns them to immortality and prevents them from having heirs. Meanwhile, religious and folkloric eschatological perspectives evolve over time and are influenced by spatial-temporal transformations. Although these insights sometimes run parallel, they also develop along distinct, independent lines.

Ritual system: Washing the body of the deceased

German armenologist Barbara Schmidt claims that funeral rituals are necessary to support the helpless deceased and to treat the lifeless corpse with respect. Consequently, funeral traditions and burial customs are created in different cultures and are carefully passed down from generation to generation [54, 79–80]. These traditions, which is still deeply rooted among Armenians have found their permanent place in national folklore. For example, in the church poem “Mokos”²², though briefly, the ritual stages are mentioned:

Փորեցի գետինը, լոզցուցի, էջուցի գերեզմանը.

Կրան քաշեցի քարը, գրեցի անունը:

I dug the ground, I washed it, I put it in the grave,

I put the stone on it, I wrote the name [23, էջ 37].

Here the ritual of washing is presented which is still performed immediately after the death of the deceased [3, p. 179]. After the death of a loved one, the relatives invite a priest to their house, who blesses the water for bathing the body and offer consolation to the grieving family.

During the ritual washing in Gandzak, a lamp was lit near the feet and head of the deceased and the following wish was whispered:

Քարդ քաղած ընի, հողդ մաղած ընի.

Դատաստանդ քաղցր ընի, զնալի ճանապարհդ քարի ընի.

Աղօթքդ տանդ վրայ ընի, մնացածներդ քարի ընեն,

Դու էլ քարի մեռել ընիս, չմոռանան քե:

May your gravestone be set, and your soil be sifted,

May your judgment be sweet, and your journey peaceful,

May prayers be upon your house, and those who remain be kind,

May you be a blessed soul, and may you not be forgotten [45, p.321–322].

This act reflects the belief in the “Last Judgment” and the immortality of the soul, as well as the notion that even after death, the deceased continues to care for their family and loved ones from the underworld, praying for their well-being. Therefore, the wish for a safe journey to the underworld symbolically “paves the way” to heaven, where the soul is believed to be granted the blissful company of angels and saved souls. Additionally, the hope of becoming a blessed soul is connected to the idea of not taking anyone else with them after death and being remembered by their descendants and loved ones.

²² “Mokos” is an Armenian national epic, which mainly includes Christian talks and memories of the preaching of Christianity and the proclamation of the state religion in Armenia (1st–4th centuries AD). The prominent Armenian philologist, armenologist and linguist, academician Manuk Abeghyan gave this type of epic the definition of a church novel [55, p. 184].

In ancient times, Armenians performed a mandatory ritual washing of the deceased's body. In mythology, water is viewed as a sacred and dual element, both living and dead, serving as a boundary between the upper and lower worlds [56, p. 102; 22, p. 16–17]. It symbolizes the passage through which the soul of the deceased moves from one reality to another [57, p. 67].

This ritual continues to this day among Armenians. At dawn, on the day following the funeral, a male relative closest to the deceased silently carries a bottle of water to the grave and breaks it above the headstone. This act is believed to quench the thirst of the departed soul and aid its journey into the afterlife²³.

Dirge

Dirges have important role in the funeral rituals [46, pp. 123–218], which are characteristic of all peoples. The ritual culture of laments is presented quite remarkably in the works of Armenian historians. Being the first writers of national epics²⁴, they paid great attention to this ritual layer related to the funeral. They described in detail not only the ritual of mournful songs but also the characters and their functions.

Movses Khorenatsi, mentioning the funeral of King Artashes, describes the wailing women and chanting maidens who played a role in the funeral ritual system [1, p. 230]. The Armenian historian Pavstos Buzand speaking about the circumstances of Gnel's death and the mourning that followed, describes Arshak's grieving and refers to Parandzem as the “mother of lament”, with whom the chanting maidens wept [34, p. 190].

In ethnographic materials, we also encounter dirges described by folklorists, which have the function not only of praising the deceased, highlighting their merits, and presenting their last will, but also aim to uncover and publicize the circumstances of death, as well as to reveal notions about the afterlife, etc.

The last word of the dying man is a sacred law for the living. He commands that when his sons get married they should visit his grave and announce the desirable news:

Մնաւ ու օսիցար արաւ՝ իս նամբուն վրայ թաղեցէք,

Քարս նշանով դրէք, անունս վրա գրեցէք,

Որդիկս ուր թագուր անէք, եւ աշօք անիմ, նայեցէք:

He died and left a request:

Bury me by the roadside,

Place a stone on me, write my name on it.

When you marry my sons, I will give a sign; watch for it [46, p. 154].

During one of our funeral service fieldwork, we witnessed the mourning of the deceased man's mother, who in her lamentation praised not only her son's external qualities but also his “pearly teeth” and expressed her wish to anoint his body with the balm of flowers from paradise.

Բալասանի ծաղիկ, որդի ջան,

Խորասանի ծաղիկ, որդի ջան,

Անունդը ջալահիր, որդի ջան:

Balsam flower, my son,

Khorasan flower, my son,

The teeth are jawahir, my son [46, 173].

The mother, who compared her deceased son to the “Balsam” and the “Khorasan”, likely referred to the most beloved frankincense tree and the unfading flower. She wished for her son's body to be anointed with the aforementioned balsams and for him to be deemed worthy of entry into Heavenly Paradise. The word *jawahir* (jawāhir) is an Arabic borrowing that means a precious stone. Here it is associated with a pearl which symbolize the pearl-like teeth of the deceased. This not only indicates the young age of the deceased but also highlights the ritual significance of pearls. Seashells and pearls have long been regarded as important artifacts in ancient burials across the Middle East. This is evident in archaeological findings from burial sites such as Lchashen, Talin, and Aygeshat [58, p. 38; 59, p.146, 241; 60, p. 129; 61, p. 155–156, 398]:

While compiling some folk traditions, we came across a mourning song of the deceased's mother during the funeral service, where, among the external virtues of her son, the pearl teeth and the desire to anoint the body with the balm of heavenly flowers are also mentioned:

²³ Hayrapetyan T., FFEM, Syunik region of the Republic of Armenia, village Tegh, 2007, notebook 3, pages 12–13. Narrator: Sudarik Elyazyan.

²⁴ “Vipasank”, “The War of Taron”, “Persian War”.

Բոյ բուսարթով բալա ջան,
 Մարգրիտ ակռերով բալա ջան,
 Ա՛խ, կարենայի դրախտի ծաղկանցից բալասան սարքեի,
 Յալիդ դարման անեի, բալա ջան...
My son with a tall, graceful figure,
My son with pearl-like teeth,
Ah, if only I could make a balm from the flowers of paradise,
I would heal your pain, my dear son²⁵...

It should be noted that in epic “Sasna Tsrer” the burial is also presented in the context of burying the deceased in a family tomb with a liturgy. The funeral song appears only in the form of litanies, which is one of the song sections of the epic and is connected with the memory of ancestors.

Although the Armenian Church, with strict rules [62, pp. 247, 304–305]²⁶, forbade burying the deceased with lamentation, tearing clothes, and funeral dirges, it was unable to eradicate the folk custom that had formed over millennia. This customs, with its unique features and vivid character continued to persist.

Conclusion

In conclusion, burial, with its rituals and beliefs, is reflected in Armenian folklore, often personified in specific genres. The funeral ritual system includes washing the body, interring the deceased with prayers and incense, and accompanying the burial with mourning. In Armenian religious and mythological perception, burial has types that are mostly fictionalized: dismemberment, living or ritual burial. The latter involves a hero locked in rocks, who awaits the time of his release, having a dog or a horse as a companion.

In folk traditions, death has a unique perception, with its materialization linked to vision, sleep, and bed. In contrast to the soul, death is personified as *grogh* and an angel. These two figures can be united in a single entity, depending on whether the deceased is considered kind or evil. In folk religious beliefs, *groghs* form a separate group, who are depicted in a negative way and are presented as agents of hell.

Sleep and vision are recurring short-term states in folk religious beliefs, symbolizing temporary death and followed by awakening as a sign of resurrection. Vision is mainly this worldly “fact” confirming the ideas of the underworld, hell and heaven, and these notions were accepted unconditionally.

Today, although these ideas and beliefs are not part of Armenian everyday life, they continue to be transmitted orally as a cultural value. The respect for the deceased remains significant, accompanied by a distinct ritual system and its transformation.

25 Hayrapetyan T., Arakelyan S., Madatyan L., FFEM, Aragatsotn Province of the Republic of Armenia, Ashnak village, 2021, notebook 3, pp. 21-24, narrator Varduhi Adamyan.

26 The Canons of Gregor Lusavorich, The Canons of Athanas Alexandratsi.

REFERENCES

1. Movses Khorenatsi. *History of Armenia*. Yerevan: YSU Press, 1981. (In Armenian)
2. Hovhan Mamikonyan. *History of Taron*. Yerevan: Khohrdayin grogh Press, 1989. (In Armenian)
3. Lalayan E. Varanda. *Ethnographic Review*. 1897; 2: 178–184. (In Armenian)
4. Lobar S.L., Youngblut M.J., Brooten D. Cross-cultural beliefs, ceremonies and rituals surrounding death of a loved one. *Pediatric Nursing*. 2006; 32(1): 44–50.
5. Yeznik Koghbatzi. *The denial of sects*. Yerevan: Hayastan Press, 1970. (In Armenian)
6. Platon. *Works in four volumes*. Vol. I. Yerevan: Printinfo Press, 2006. (In Armenian)
7. Ter-Agheksandrian G. *The intellectual life of Tiflis residents*. Part I. Tiflis: Hovhannes Martiroseants, 1885. (In Armenian)
8. Sherents G. *Vana saz*. Part II. Tiflis: Hovhannes Martiroseants, 1899. (In Armenian)
9. Abrahamyan L. *The primeval festival and mythology*. Yerevan: AN Arm. SSR Press, 1983.
10. Kusaeva Z. The semiotics of the mirror in the Ossetian folklore and ethnographic tradition. *Oriental Studies*. 2016; 25(3): 63–73.
11. Eco U. *Czytanie świata. Eseje*. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999. (In Polish)
12. Srvandzteants G. *Manana*. K. Polis: E.M. Tntesean Publ., 1876. (In Armenian)
13. Lalayan E. Javakhk. *Ethnographic Review*. 1896; Book I. (In Armenian)
14. *The Zend-Avesta*. Part III. Trans. by L.H. Mills. Oxford: The Clarendon Press, 1887.
15. Aghayan E. *The modern Armenian explanatory dictionary*. Vol. I. Yerevan: Hayastan Press, 1976.
16. Harutyunyan A. The anti-religious fight of the Soviet authorities in 1920–1930. *Ejmiatsin Journal*. 2022; 6: 96–114.
17. Manukyan A. *The Soviet authority and the Church in Armenia*. Abstract of the diss. Yerevan: Gitutyun Press, 1997. (In Armenian)
18. *Bible. New Testament*. Ejmiatsin: Holy Ejmiatsin, 2011. (In Armenian)
19. Lalayan E. *Pearls of Armenian folklore*. Vol. III. Tiflis–Ejmiatsin: Holy Ejmiatsin, 1915. (In Armenian)
20. Toporov V.N. Rooster. *Myths of the peoples of the world: Encyclopedia*. Ed. by S.A. Tokarev. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1992. Vol. 2, pp. 309–310.
21. Harutyunyan S. *Armenian folk riddles*. Yerevan: HSSR GA Press, 1965. (In Armenian)
22. Harutyunyan S. *Armenian mythology*. Yerevan: Antares Press, 2017. (In Armenian)
23. *Moqos*. Ejmiatsin: Holy Ejmiatsin Publ., 1896. (In Armenian)
24. *Armenian folk tales*. Vol. XVII. Yerevan: NAS RA Gitutyun Press, 2012. (In Armenian)
25. Uther H.-J. *The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography*. Part I: Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and Realistic Tales, with an Introduction. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2011. 619 p.
26. *Armenian folk tales*. Vol. II. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1959. (In Armenian)
27. *Armenian folk tales*. Vol. IV. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1963. (In Armenian)
28. *Armenian folk tales*. Vol. VIII. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1977. (In Armenian)
29. *Sasna Tsrer*. Vol. I. Yerevan: Pethrat, 1936. (In Armenian)
30. *Sasunci Davit*. Yerevan: Haypethrat, 1961. (In Armenian)
31. Srvandztyants G. *With taste and smell*. Vol. I. Tiflis: Aragatip A. Qutataladze, 1904. (In Armenian)
32. Russell J. *Zoroastrianism in Armenia*. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
33. Petrosyan A. *The Myth of Aram in the context of Indo-European Mythology and the problem of Armenian Ethnogenesis*. Yerevan: “Van Aryan” Press, 1997. (In Armenian)
34. The wolf in the context of the Romanian funeral rite. *Studies in the Field of Balto-Slavic Spiritual Culture: The Funeral Rite*. Moscow, 1990, pp. 128–134.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мовсес Хоренаци. История Армении. Ереван: Ереванский университет, 1981. – 428 с. (на арм. яз.)
2. Говнан Мамиконян. История Тарона. Ереван: Советский писатель, 1989. – 176 с. (на арм. яз.)
3. Лалаян Е. Варанда // Этнографический журнал. 1897. Кн. II. С. 178–184. (на арм. яз.)
4. Lobar S. L., Youngblut M. J., Brooten D. Cross-cultural beliefs, ceremonies And rituals surrounding death of a Loved one // *Pediatric Nursing*. 2006. Vol. 32. №. 1. P. 44–50.
5. Езник Кохбацц. Отрицание сект. Ереван: Изд-во Армении, 1970. – 254 с. (на арм. яз.)
6. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. I. Ереван: Принтинфо, 2006. – 254 с. (на арм. яз.)
7. Тер-Александрян Г. Интеллектуальная жизнь жители Тифлиса. Ч. I. Тифлис: Изд-во Иоаннеса Мартиросянца, 1885. – 456 с. (на арм. яз.)
8. Шеренц Г. Вана Саз. Ч. II. Тифлис: Изд-во К. Мартиросянца, 1899. – 189 с. (на арм. яз.)
9. Абрамян Л. Первобытный праздник и мифология. Ереван: АН Арм. ССР, 1983. – 231 с.
10. Кусаева З. Семиотика зеркала в фольклорно-этнографической традиции осетин // *Oriental studies, Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian Academy of Sciences*. Vol. 25, Is. 3. – С. 63–73.
11. Эко У. Чтение мира. Эссе. Краков: Изд-во Знак, 1999. – 216 с. (на польск. яз.)
12. Сrvандзтянц Г. Манана. Константинополь: Изд-во Е.М. Тнтесеан, 1876. – 456 с. (на арм. яз.)
13. Лалаян Е. Джавахк // Этнографический журнал. Кн. I. Шуша: Типография А. Махтеси-Акобянца, 1896. С. 308–319. (на арм. яз.)
14. *The Zend-Avesta*. P. III. (translated by L.H. Mills). Oxford: The Clarendon press, 1887.
15. Агаян Э. Толковый словарь современного армянского языка. Т. 1. Ереван: Изд-во Армения, 1976. – 929 с. (на арм. яз.)
16. Арутюнян А. Антирелигиозная борьба советской власти в 1920–1930-е годы: политологический очерк // *Журнал «Эчмиадзин»*. 2022. № 6 (2). С. 96–114. (на арм. яз.)
17. Манукян А. Советская власть и церковь в Армении в 1920–1940 гг., Автореферат диссертации на ученой степени кандидата исторических наук. Ереван: Гитутюн, 1997. – 25 с. (на арм. яз.)
18. Библия. Новый Завет. – Святой Эчмиадзин: 2011. (на арм. яз.)
19. Лалаян Е. Жемчужины армянской литературы. Т. III. Тифлис–Эчмиадзин: Изд-во Св. Эчмиадзина, 1915. – 269 с. (на арм. яз.)
20. Топоров В.Н. Петух // Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С. А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1992. Т. 2 (К–Я). С. 309–310.
21. Арутюнян С. Армянские народные загадки. Ереван: АН Арм. ССР, 1965. – 389 с. (на арм. яз.)
22. Арутюнян С. Армянская мифология. Ереван: Антарес, 2017. – 526 с. (на арм. яз.)
23. Мокос. Эчмиадзин, 1896. – 88 с. (на арм. яз.)
24. Армянские народные сказки. Т. XVII. Ереван: АН РА «Гитутюн», 2012. – 840 с. (на арм. яз.)
25. Uther H.-J. *The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography*. P. I. Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and Realistic Tales, with an Introduction. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2011. – 619 p.
26. Армянские народные сказки. Т. II. Ереван: АН Арм. ССР, 1959. – 659 с. (на арм. яз.)
27. Армянские народные сказки. Т. IV. Ереван: АН Арм. ССР, 1963. – 551 с. (на арм. яз.)
28. Армянские народные сказки. Т. VIII. Ереван: АН Арм. ССР, 1977. – 904 с. (на арм. яз.)
29. *Sasna црер*. Т. I. Ереван: Изд-во Петхрат, 1936. – 1126 с. (на арм. яз.)
30. *Сасунци Давид*. Ереван: Изд-во Хайпетхрат, 1961. – 333 с. (на арм. яз.)
31. Сrvандзтянц Г. Амов-хотов (Вкусно и ароматно). Т. А. Тифлис: Арагатип А. Кутаталадзе, 1904. – 415 с. (на арм. яз.)
32. Russell J. *Zoroastrianism in Armenian*. Cambridge: Harvard University Press. 1987. – p. 578.

35. Sebeos. *History of Armenia*. Yerevan: HSSH GA Press, 1979. (In Armenian)
36. Pavstos Buzand. *History of Armenia*. Yerevan: YSU Press, 1987. (In Armenian)
37. *Armenian folk tales*. Vol. XIV. Yerevan: HH GAA Press, 1999. (In Arm)
38. *Armenian folk tales*. Vol. XII. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1984. (In Armenian)
39. *Armenian folk tales*. Vol. V. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1966. (In Armenian)
40. Hayrapetyan T. *Combination of archetypes in Armenian tales of magic and epic heritage*. Yerevan: Gitutyun Press, 2016. (In Armenian)
41. Agatangeghos. *History of Armenia*. Yerevan: YSU Press, 1983. 700 p. (In Armenian)
42. *Armenian folk tales*. Vol. I. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1959. 670 p. (In Arm)
43. Galstyan H. Belief and notions of ghost – gornapshtiks. *Patnabanasirakan handes*. 2012; (3): 162–168. (In Armenian) <https://www.academia.edu/94298489>
44. Alishan Gh. *The Ancient Faith or Pagan Religion of the Armenians*. Venetik-S. Ghazar: Venetik, 1910. (In Armenian)
45. Lalayan E. The Province of Gandzak. *Ethnographic Review*. 1900; Book VI: 321–328. (In Armenian)
46. Harutyunyan E. Armenian traditional mourning songs. *Armenian Ethnography and Folklore*. Vol. 24. Yerevan: NAS RA Gitutyun Press, 2007, pp. 123–218. (In Armenian)
47. Abeghyan M. *Works*. Vol. VII. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1975. (In Armenian)
48. Bastian A. *Die Verbleibs-Orte der abgeschiedenen Seele. Ein Vortrag in erweiterter Umarbeitung*. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1893. (In Germ.)
49. Taylor A. *English Riddles from Oral Tradition*. California: University of California Press, 1951.
50. Tumanyan G. Funerary rituals in the Late Bronze Age Armenia. *Historical and Philological Journal*. 2007; (1): 138–152. (In Armenian)
51. Kirakos Gandzaketsi. *History of Armenia*. Yerevan: Sovetakan grogh Press, 1982. (In Armenian)
52. *Armenian folk tales*. Vol. III. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1962. (In Armenian)
53. *Mayr Mashtots*. Vol. I, book I. The Holy Ejmiatsin: The Holy Ejmiatsin Press, 2012. (In Old Armenian)
54. Shmidt B. The Armenian funeral rite within the framework of ancient Christian beliefs in the worship of the dead. *Gandzasar*. 1996; 6: 79–109. (In Armenian)
55. Abeghyan M. *Works*. Vol. I. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1966. (In Armenian)
56. Toporov V. On the reflection of an Indo-European myth in the ancient Armenian tradition. *Historical and Philological Journal*. 1977; (3): 88–106.
57. Korolyov K. *Encyclopedia of Symbols, Signs, and Emblems*. Moscow: Midgard Press, 2005.
58. Piliposyan A. The Armenian Highlands in the context of historical and cultural interactions of the Near East (III–I millennium BC). Doctoral dissertation. Yerevan, 2004. 421 p. (In Armenian)
59. Greyvs R. *Myths of Ancient Greece*. Moscow: Progress Press, 1992. 624 p.
60. Vinogradova N., Kaptereva T., Starodub T. *Traditional Art of the East: Terminological Dictionary*. Moscow: Elsis Lak Press, 1997.
61. Eliade M. *Essays on Comparative Religious Studies*. Moscow: Ladomir Press, 1999.
62. *The Armenian Book of Canons*. Vol. I. Yerevan: NAS Arm SSR Press, 1964. (In Armenian)
33. Петросян А. Миф об Араме в контексте индоевропейской мофологии и вопрос этногенеза армян. Ереван: Изд-во «Ван Арян», 1997. – 206 с. (на арм. яз.)
34. Свешиникова Т. Волк в контексте румынского погребального обряда // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М.: 1990. С. 128–134.
35. Себеос. История Армении. Ереван: АН Арм. ССР, 1979. – 446 с. (на арм. яз.)
36. Павстос Бузанд. История Армении. Ереван: Ереванский университет, 1987. – 456 с. (на арм. яз.)
37. Армянские народные сказки. Т. XIV. Ереван: АН РА, 1999. – 671 с. (на арм. яз.)
38. Армянские народные сказки. Т. XII. Ереван: АН Арм. ССР, 1984. – 651 с. (на арм. яз.)
39. Армянские народные сказки. Т. V. Ереван: АН Арм. ССР, 1966. – 759 с. (на арм. яз.)
40. Айрапетян Т. Сочетание архетипов в армянских волшебных сказках и в эпическом наследии. Ереван: АН РА «Гитутюн», 2016. – 462 с. (на арм. яз.)
41. Агатангехос. История Армении. Ереван: Ереванский университет, 1983. – 700 с. (на арм. яз.)
42. Армянские народные сказки. Т. I. Ереван: АН Арм. ССР, 1959. – 670 с. (на арм. яз.)
43. Галстян А. Верования и представления о призраках – горнапштиках // Историко-филологический журнал. 2012. №3. С. 162–168. (на арм. яз.)
44. Алишан Г. Древняя вера или языческий культ армян. Венеция – Св. Лазарь: Венеция, 1910. – 557 с. (на арм. яз.)
45. Лалаян Е. Гандзак // Этнографический журнал. 1900. Кн. VI. С. 321–328. (на арм. яз.)
46. Арутюнян Е. Армянские народные песни скорби // Армянская этнография и фольклор. Т. 24. Ереван: АН РА «Гитутюн», 2007. С. 123–218. (на арм. яз.)
47. Абесян М. Труды. Т. VII. Ереван: АН Арм. ССР, 1975. – 603 с. (на арм. яз.)
48. Bastian A. Die Verbleibs-Orte der abgeschiedenen Seele. Ein Vortrag in erweiterter Umarbeitung. Mit 3 Tafeln. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1893.-116 p.
49. Taylor Archer. English Riddles from Oral Tradition. – California: Publisher, University of California Press, 1951. – 959 p.
50. Туманян Г. Погребальные ритуалы в позднебронзовой Армении // Историко-филологический журнал. 2007. №1. С. 138–152. (на арм. яз.)
51. Киракос Гандзакети. История Армении. Ереван: Советский писатель, 1982. – 351 с. (на арм. яз.)
52. Армянские народные сказки. Т. III. Ереван: АН Арм. ССР, 1962. – 671 с. (на арм. яз.)
53. Мать Маштоц (оригинальный текст). Т. I. Кн. А. Эчмиадзин, 2012. – 920 с. (на арм. яз.)
54. Шмидт Б. Армянский обряд погребения в рамках древних христианских верований о почитании усопших // Гандзасар. Т. 3. 1996. С. 79–109. (на арм. яз.)
55. Абесян М. Труды. Т. I. Ереван: АН Арм. ССР, 1966. – 571 с. (на арм. яз.)
56. Топоров В. Об отражении одного индоевропейского мифа в древнеармянской традиции // Историко-филологический журнал. 1977. №3. С. 88–106.
57. Королёв К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: Мидгард, 2005. – 608 с.
58. Пилипосян А. Армянское Нагорье в области культурных взаимодействий Ближнего Востока (III–I тыс. до н.э.). Ереван, 2004. – 421 с. (на арм. яз.)
59. Грейвс Р. Мифы Древней Греции (пер. с англ. К.П. Лукьяненко). М.: Прогресс, 1992. – 624 с.
60. Виноградова Н., Кapterева Т., Стародуб Т. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. М.: Изд-во «Элсис Лак», 1997. – 360 с.
61. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Изд-во «Ладомир», 1999. – 488 с.
62. Книга канонов армян. Т. I. Ереван: АН Арм. ССР, 1964. – 740 с. (на арм. яз.)

Поступила в редакцию 18.02.2025 г.
 Принята в печать 03.02.2026 г.
 Опубликовано 30.09.2026 г.

Received 18.02.2025
 Accepted 03.02.2026
 Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223608-619>

Research paper

Dalalyan Tork Samveli
Ph.D., Vice-director, Head of department of Folklore Studies
Institute of Archaeology and Ethnography, Yerevan, Armenia;
Senior Researcher
H. Acharyan Institute of Language, Yerevan, Armenia
torqdal@yahoo.com

Vardanyan Nvard Khachaturi
Ph.D., Senior Researcher
Institute of Archaeology and Ethnography, Yerevan, Armenia;
Associate Professor
Yerevan State University, Yerevan, Armenia
nvardv@yahoo.com

Minasyan Shogher Marlesti
Ph.D., Researcher
H. Acharyan Institute of Language, Yerevan, Armenia
shogherminasyan@gmail.com

Sargsyan Armen Yuriki
Ph.D., Researcher
Institute of Archaeology and Ethnography, Yerevan, Armenia;
H. Acharyan Institute of Language, Yerevan, Armenia
armenn.sargsyann1968@gmail.com

THE EARTHEN VERTICAL OVEN (*T'ONIR*) IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE ARMENIANS OF MOUNTAINOUS KARABAKH (ACCORDING TO ETHNOGRAPHIC AND FOLKLORIC MATERIALS OF THE 19th-21st CENTURIES)

Abstract. This article explores the traditional customs and beliefs of the Armenians of Mountainous Karabakh or Nagorno-Karabakh associated with the *t'onir*, an earthen bread oven. The aim of the article is to present for the first time the ethnographic and folkloric features associated with the *t'onir* of Nagorno-Karabakh. The article uses the methods of fieldwork observations and typological analysis. Drawing on ethnographic and folkloric materials recorded from the late 19th to the early 21st centuries, as well as our own fieldwork, an attempt is made to describe in detail the unique features of the *t'onir* construction among the Armenians of Nagorno-Karabakh, the types of bread and other dishes prepared in it, and associated cultural practices. Karabakh folklore samples that preserve traces of distinctive concepts related to the *t'onir* are also examined in the article. The field research was conducted by Armen Y. Sargsyan between 2000 and 2020 in all regions of Nagorno-Karabakh, encompassing more than 50 settlements. The main conclusion of the article is that the ideas associated with *t'onir* among the Armenians of Nagorno-Karabakh, on the one hand, share similarities with those found in other ethnographic regions of Armenia and the Caucasus, and on the other hand, they exhibit distinct features – ranging from the unique construction of the *t'onir* to its specific ritual vestiges. In traditional Armenian culture, the *t'onir* was identified with the hearth and was believed to ensure the household's well-being and the unity of the family. This concept is especially prominent in formulaic expressions found in folklore (“formulaic folklore”).

Keywords: Nagorno-Karabakh; *t'onir*; *t'onratun*; “*t'onir* marriage”; bread; dish; belief; worship; folklore

For citation: Dalalyan T.S., Vardanyan N.Kh., Minasyan Sh.M., Sargsyan A.Y. The earthen vertical oven (*t'onir*) in the traditional culture of the Armenians of Mountainous Karabakh (according to ethnographic and folkloric materials of the 19th-21st centuries). *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 608-619. doi.org/10.32653/CH223608-619

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223608-619>

Исследовательская статья

Далалян Торк Самвелович
доктор философии (PhD), заместитель директора, заведующий отделом фольклористики
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения;
старший научный сотрудник
Институт языка имени Г. Ачаряна, Ереван, Армения
torqdal@yahoo.com

Варданян Нвард Хачатуровна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения;
Доцент
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
nvardv@yahoo.com

Минасян Шогер Марлести
кандидат филологических наук, научный сотрудник
Институт языка имени Г. Ачаряна, Ереван, Армения
shogermiasyan@gmail.com

Саргсян Армен Юрикович
кандидат филологических наук, научный сотрудник
Институт археологии и этнографии, Ереван, Армения;
Институт языка имени Г. Ачаряна, Ереван, Армения
armenn.sargsyann1968@gmail.com

ЯМНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА (Т'ОНИР) В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ АРМЯН НАГОРНОГО КАРАБАХА (ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ И ФОЛЬКЛОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ XIX–XXI вв.)

Аннотация. Статья посвящена традиционным представлениям и обычаям армян Нагорного Карабаха, связанным с *т'ониром* — ямной хлебной печью, вмонтированной в землю. Цель статьи состоит в том, чтобы впервые представить этнографические и фольклорные особенности, связанные с карабахским *т'ониром*. В статье использованы методы полевых наблюдений и типологического анализа. На основе этнографических и фольклорных материалов, зафиксированных с конца XIX до начала XXI века, а также собственных полевых наблюдений, предпринята попытка подробно описать отличительные черты строительства *т'онира* у армян Нагорного Карабаха, а также традиции выпечки хлеба и приготовления других блюд в этой печи. В статье также анализируются образцы карабахского фольклора, в которых сохранились пережитки самобытных представлений, связанных с *т'ониром*. Полевые наблюдения проводились Арменом Юрьевичем Саркисяном в 2000–2020 годах во всех районах Нагорного Карабаха — более чем в 50 населённых пунктах. Основной вывод статьи заключается в том, что представления, связанные с *т'ониром* среди армян Нагорного Карабаха, с одной стороны, перекликаются с аналогичными воззрениями, распространёнными в различных этнографических регионах Армении и Кавказа, а с другой — отличаются рядом ярко выраженных особенностей, начиная от способов строительства *т'онира* и заканчивая специфическими культовыми пережитками. В традиционной культуре армян *т'онир* отождествлялся с очагом, символизируя благополучие дома и единство семьи. Особенно ярко эта идея прослеживается в фольклорных формулах.

Ключевые слова: Нагорный Карабах; *т'онир*; *тонратун*; «венчание у *т'онира*»; хлеб; блюдо; верования; культ; фольклор

Для цитирования: Далалян Т.С., Варданян Н.Х., Минасян Ш.М., Саргсян А.Ю. Ямная вертикальная печь для выпечки хлеба (*т'онир*) в традиционной культуре армян Нагорного Карабаха (по этнографическим и фольклорным материалам XIX–XXI вв.) // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 608-619. doi.org/10.32653/CH223608-619

Preface

The scientific relevance of this study is driven by two key factors. First, it examines a characteristic element of traditional national culture (specifically, Armenian) – the *t'onir* – within the context of a distinct historical and geographical region, accounting for its local features. While general studies rely on localized research, no specialized study to date has explored the complete set of ethnographic features associated with the *t'onir* or its analogues within a single region. Second, following the 44-day war in Karabakh in 2020 and Azerbaijan's military operation in 2023, Nagorno-Karabakh no longer has an Armenian population. As a result, displaced informants cut off from their natural environment will find it increasingly difficult to recall and reproduce their former ethnographic practices. The primary objective of this study is to introduce into scientific discourse the details of the ethnographic situation surrounding the *t'onir* in pre-war Nagorno-Karabakh – much of which was documented through fieldwork by one of the authors – and to provide a comprehensive cultural-linguistic analysis.

Ethnographic literature features a generally accepted classification of household appliances that utilize fuel energy. Based on the technology used to heat the baking surface and the positioning of that surface, six distinct types are recognized: a) open hearth; b) raised two-part stove with a lined hearth; c) the same type with a tiered stove heated by flames from the lower firebox; d) open stove mounted on stands or a tripod; e) subterranean wall-lined device acting simultaneously as a firebox and baking chamber (*tondyr*); and f) above-ground, wall-lined stove shaped like a truncated cone (*tarum*) [1, p. 15; 2, p. 130; 3, p. 77–78].¹ The last two types are internationally known as *tandoors*, which can take the form of either subterranean or above-ground vertical ovens.

The “Armenian tandoor” (*թոնիր* [*t'onir*], in the Karabakh dialect – *թոնիրն* [*t'urun*] / *թոնրն* [*t'uʀun*] / *թորն* [*t'ōrun*] / *թորէն* [*t'ōrēn*]) is a vertical subterranean earthen oven used for baking bread, featuring a horizontal opening flush with the ground level. The *t'onir* has a cylindrical shape that widens toward the bottom. The earliest mentions of this word are found in Sumerian (^{im}tu-ru-na / bu-rin-na- [durun]) and Akkadian (*tinūri* / *tenūru*), where it referred to earthen ovens serving the same function [5, p. 5; 6, p. 12–13]. In Sumerian, the word is believed to be borrowed from pre-Sargonic Akkadian or another unidentified third language, which likely served as the source for the Akkadian form as well [6, p. 14]. Notably, in Sumerian texts, the word appears twice in the epic poem *Enmerkar and the Lord of Aratta*, directly within a context related to Aratta itself [7, pp. 49–96, lines 538–539, 541]. During the period of the Van Kingdom (Urartu), 9th–7th centuries BC, earthen subterranean ovens were used in the homes of ordinary people known from the archaeological site of Karmir-blur (*Teišeḫbaini*). The excavations showed that these ovens were located either at the center of the dwelling or near a wall. Grinding stones and stone mortars with pestles were found nearby. Excavations at Karmir-blur revealed both types of ovens: those completely embedded in the ground – still common in the region – and those slightly raised above ground level, typical of ancient Assyria [8, p. 173–174].² It is assumed that such ovens were used for baking bread, and it is noted that similar ovens have also been found in several Bronze Age fortresses in northeastern Armenia [9, p. 161].³

Today, above-ground clay ovens predominate in Iraq, Syria, and other parts of the Middle East, whereas subterranean earthen ovens used for baking bread remain most typical of Eastern Turkey, Armenia, and southern Georgia [5, p. 4; 16, p. 16]. Earthen ovens were also used in the southeastern regions of Azerbaijan at the beginning of the 20th century; however, above-ground ovens and flat metal bread-baking griddles known as *saj* are generally more characteristic of Azerbaijan [17, pp. 349–356]. The range of modified versions of modern tandoors extends from the Caucasus through Central Asian countries to the Punjab region of India and the Xinjiang region of China [18, p. 234; 16, p. 16, 17]. The earthen *t'onir* is universally characteristic of sedentary populations, whereas nomadic groups generally do not use earthen ovens for baking bread even after settling down [18, p. 234]. Classic examples of *t'onirs* are the earthen ovens used by Kurds, Armenians, and Tabasarans to this day [cf. 18, pp. 17–19; 19, pp. 105–106; 2, p. 130].

¹ For other classifications, see [4, p. 93–94]

² Bread ovens of the second type are still found today in southern Dagestan and Central Asia (see 10, p. 170, 172; 11, p. 257; 12, p. 175–177, etc.).

³ These, however, should not be confused with round hearths, which were made of clay, slightly raised above the floor, approximately 50 cm deep, and primarily served a cultic purpose [cf. 13, p. 203; 14; 11, p. 27–35, pic. 2, 6, 7, scheme 1, p. 93, photo 3–5, p. 98, photo 15, p. 101, photo 21–22, p. 104, photo 28].

The method of constructing a *t'onir* [20, p. 40–42], the types and components of a *t'onir* [21, p. 81–83], the details of baking bread in a *t'onir* [22], the rituals associated with the *t'onir* [23, p. 62, 64], and the beliefs related to the *t'onir* [24, p. 59–61] have been described and discussed in the scientific literature of the 19th and 20th centuries.

In Armenian belief, the cult of the *t'onir* was identified with the cult of fire and the hearth; it was usually built in the center of the house and considered sacred [24, p. 14–15; 25, p. 39–49]. After the construction of the *t'onir*, a priest was invited to bless it [24, p. 59]. In Armenian mythological thought, the *t'onir* was regarded as a ritual miniature of a volcanic crater. Just as the mountain – as the axis of the world – connects the three main layers of the universe (the human world and the underworld), the *t'onir* was perceived as a path leading to the underworld, creating a link to the sanctified ancestors dwelling there [26, p. 11–12; 27].

Our ethnographic materials collected in Nagorno-Karabakh show that until the end of the 20th century—especially in winter—it was customary, after baking bread, for family members, neighbors, and friends to gather around the *t'onir*, sit nearby, and hang their feet into it to warm up and talk. Fairy tales, legends, and other folklore were often told around the *t'onir*. As a sacred space, bad language and cursing were forbidden in its presence.⁴

The structure of the t'onratun and t'onir

In most Armenian ethnographic regions, the *t'onir* was placed in one of the rooms of a multi-section house. This room was referred to as *q̄l̄uunm̄l̄* [*gəlxatun*] ‘head-house’, *hūguunm̄l̄* [*hac'atun*] ‘bread-house’, *ūp̄uunm̄l̄* [*məratun*] ‘soot-house’, *δ̄huunm̄l̄* [*cəxatun*] ‘smoke-house’, or *ʃən̄l̄uunm̄l̄* [*t'onratun*] ‘*t'onir*-house’ and was situated under the domed roof and the small garret window [see 28, p. 73–77]. However, in some areas, the *t'onratun* was built separately from the main house [21, p. 73]. In Nagorno-Karabakh, only a shallow hearth was constructed in the *head-house* (*η̄ūp̄uun̄ūl̄* [*ğaradam*] or *l̄p̄n̄l̄n̄* [*kəřkoč*]) to heat the home [29, p. 181–182; 30, p. 103–104; 31, p. 84, 87], while a separate “house of *t'onir*” (*t'onratun*) was built in the yard or at some distance from the house, this building was known in dialectal forms as *ʃən̄l̄uun̄ūl̄* / *ʃən̄l̄uun̄ūl̄* [*t'urnatōn* / *t'urnatōn*] [32, p. 101; 21, p. 73; 33, p. 112; 34, p. 621]. Notably, when constructing a new home, the “house of *t'onir*” was built first, and it was where the family also spent the night⁵.

The “house of *t'onir*” typically covered an area of 10–20 m², with walls 1–1,3 m high, on which a triangular roof, usually covered with tiles (in the Karabagh dialect: *l̄p̄h̄uun̄l̄h̄un* [*k'irāmit*], cf. Russian *ке́рам*, Greek *κεραμ*, Turcic *kiremit*), rested on six pillars. The sides were typically open or woven with twigs and wire, sometimes covered with tin, slate, etc., and the entrance was closed with a door or simply by placing a bundle of brushwood.

The “house of *t'onir*” was often used not only for baking bread but also for storing firewood and various utensils. In most cases, it was built for the use of a large clan or neighborhood rather than a single family, with everyone sharing it equally.

Some families had a larger “house of *t'onir*”, up to 30–40 m², which were also used for storing grain in barrels and sacks, various agricultural tools, washing and drying, grinding grain, combing wool, and carrying out other household activities. When used for tasks unrelated to baking, the *t'onir* was simply covered with a wooden or tin lid (in the Karabagh dialect: *η̄p̄h̄l̄* / *η̄ūp̄h̄ūl̄* [*ğəpəl* / *ğapağ*]), and the entire surface of the “house of *t'onir*” was utilized.

The traditional *t'onir* in Nagorno-Karabakh is typically 1–1,5 m deep and 0,6–1 m in diameter. It is narrow at the top, convex in the middle, and slightly wider at the bottom. The firebox is made of clay and cylindrical or barrel-shaped, used for baking bread, *lavaš*, *gat'a*, and sometimes for cooking or grilling other dishes.

4 Sargysyan A.Y. Kherkhan village, Martuni region, 2002; reported by Roza Aghajanyan (1928–2009).

5 Sargysyan A.Y. Pletants (Blutan) village, Hadrut region, 2000; reported by Abrik Adamyan (1933–2006). Vaghuhas village, Martakert region, 2013; reported by Shmavon Musayelyan (1926–2018).

Making the *t'onir*

The *t'onir* placed in the center of the “house of *t'onir*” was typically made during summer.⁶ There were two main types: in-ground and above-ground. The above-ground type, which became especially widespread in the mid-20th century, was more convenient for baking bread, as the baker could stand while baking, rather than bending over. The second type was primarily constructed with clay walls, and the outer convex surface was covered with a layer of brick (in the Karabagh dialect: *քարիմ* [k'arp'uč], cf. Russian *купнуч* and Azerbaijani *kärpič*), at a height of 0.8–1 m from the ground. These *t'onirs* were also called *karas-t'onir*, i.e. ‘jar-*t'onir*’ and were particularly used in remote areas, such as fortresses, monasteries, threshing floors, and other locations far from settlements [35, p. 158–159].

However, the traditional and most widespread type was the *t'onir* placed in the ground, the preparation of which required a certain skill. When building a traditional *t'onir*, the first step was to sift the clay and mix it with water, leaving it for a day to allow for proper absorption. Then, it was mixed with a small amount of crushed straw and goat hair to prevent cracking during drying. Additionally, the straw and hair would later burn inside, leaving pores that helped retain heat. Using bare feet or wearing rubber boots, the mixture was constantly trampled (sometimes with breaks, for 2–3 days) until a homogeneous mass was achieved.⁷ The person who built the *t'onir* (usually a man, unlike some ethnographic regions, such as neighboring Zangezur [see 36, p. 164], where it was typically a woman) prepared the clay on a flat board or another device. By rolling it back and forth, beating it, and gently flattening it, they would form crescent-shaped cylinders, 25–30 cm long, 7–10 cm thick, and of the same width. In a hole previously dug, with a diameter larger than the *t'onir* itself, or by squatting on the ground, they would gradually place the cylinders on top of one another in a ring. Connecting them required dipping hands in water and beating the clay, pulling the sides up until the seams disappeared. At the same time, the cylinders were arranged in a checkerboard pattern, so each cylinder sat on top of two others.⁸

All this was done without rushing, so that the lower rows would dry out enough to support the weight of the upper rings. Up to 3–4 rings were added each day, and the remaining mud was covered with a cloth, and the next day it was pounded again. The space between the stacked cylinders and the earthen walls was filled with crushed pieces of broken ceramic ware and tiles and soil as a heat insulator, and a thick layer of clay mortar was plastered on top. Finally, the rim of the oven, which was thicker, was laid. The floor was usually not covered with clay plaster and was not paved. After the walls were completely dry, which took 20–40 days, depending on the weather, firstly low (so that heating occurred gradually and cracks did not form) and then strong fire was lit in the oven for hours until the walls were well baked, after which only by burning a stick or broken wood each time, the walls were heated and bread, *gat'a*, or food was baked. In some cases the walls of the *t'onir* were lined with brick, and in recent decades, *t'onirs* made by potters in workshops were simply installed⁹. Sometimes the walls of the pit dug for the *t'onir* were simply plastered with a thick layer of clay, although such *t'onirs* were not strong and after some time they cracked and collapsed.¹⁰

Often, a pipe or an air duct (in the Karabagh dialect: *սնդն* [səndü], Classical Armenian: սնուն [sntou]) 1.5 to 3 meters long, made of slabs, was installed at an angle, leading out from the bottom of the *t'onir*. The entrance to this duct was sealed with a device called *սնդնի* [səndül], usually a rolled-up piece of cloth, which could be opened when necessary to allow airflow and help light the fire.¹¹ The *t'onir* was generally covered with lids, often with bundle of brushwood placed on top¹². In addition to baking, the *t'onir* was also used simply for heating, as reflected in a tale we recorded in the Askeran region of Nagorno-Karabakh [37, p. 153–154].

In the 19th century, and possibly also at the beginning of the 20th century, once the *t'onir* was prepared and before bread was baked in it for the first time, a priest was invited to anoint the walls of the *t'onir* with myron and bless it [38, p. 116].¹³

6 Sargsyan A.Y. Pletants (Blutan) village, Hadrut region, 2000; reported by Abrik Adamyan (1933–2006). Krasni village, Askeran region, 2015; reported by Grisha Arstamyanyan (1933–2017).

7 Sargsyan A.Y. Sos village, Martuni region, 2020; reported by Artusha Ohanjanyan (1932–2020).

8 Sargsyan A.Y. Pletants (Blutan) village, Hadrut region, 2000; reported by Abrik Adamyan (1933–2006).

9 Sargsyan A.Y. (Blutan) village, Hadrut region, 2000; reported by Abrik Adamyan (1933–2006).

10 Sargsyan A.Y. Nengi village, Martuni region, 2019; reported by Manvel Asryan, born in 1939.

11 The same construction technique was widespread across all Armenian ethnographic regions (cf. 20, p. 41; 21, p. 82).

12 Sargsyan A.Y. Maghavuz village, Martakert region, 2020; reported by Suren Tsatryan (b. 1928).

13 In Zangezur, they did the same with a defiled *t'onir*. As Stepan Lisitsyan notes: “The belief that the earth is inhabited by k'ašk-s [= demons] probably played a role in this ritual, so the *t'ōrōn* [= *t'onir*] placed in the ground must be protected from their approach and evil influence” [36, p. 176].

The ritual significance of the t'onir

In historical Varanda (in the southern regions of Nagorno-Karabakh), in the mid-19th century, a “*թոնրի պսակ*” [t'onri pəsak], literally: ‘t'onir marriage’) was still sometimes performed, meaning that the t'onir essentially replaced the church. As a rule, this ritual was performed in the following four cases: 1) when there was no church in the village, 2) when there was a deceased person in the church, 3) when the bride or groom had been widowed earlier, and 4) when the church did not accept the brides (due to their minor age or the bride's indecent past) [38, p. 116].

During the ceremony of the *crowning of the t'onir*, candles were first lit around its edges. The bride and groom walked around the t'onir three times and stood on its western side, facing east. Then they knelt and kissed the t'onir three times. Afterward, the priest performed the wedding ceremony by tying a rope (in the Karabagh dialect: *կարմուրի* [kənənč-kärmür] ‘green-red’) around the groom's neck and slightly above the bride's right wrist, connecting the ends with wax and marking it with a cross. At the end, the newlyweds kissed the t'onir again and returned – usually walking backwards when leaving the “house of t'onir”, so as not to turn their backs to the t'onir, which was considered a sin [38, p. 116–117; 40, p. 47; 31, p. 119]. Especially in the fortune-telling quatrains (in the Karabagh dialect: *ջանգԲլյում* [jangülüm]), the connection between the t'onir and marriage is alluded to through metaphorical images¹⁴.

In some cases, in villages without a church, other church services were also performed on the t'onir, for example, baptism [38, p. 117 comm., 148; 31, p. 127]. However, by the end of the 19th century, the “t'onir marriage” was replaced by the “hearth marriage” (*օջախի պսակ* [ožaxi pəsak]). The ožax-s were special sanctuaries, typically numbering two or three in each village. These did not differ in any significant way from the hearths of ordinary people's “head houses”; they were simply built in the houses of prominent families [38, p. 115–116; 31, p. 150–152]. After leaving the church, the bride and groom came to these ožax-s [38, p. 137; 31, p. 120–121]. The same phenomenon is also attested in other Armenian ethnic regions [41, p. 117]. In Nagorno-Karabakh and Zangezur, the bride worshiped the hearth of the house before leaving her father's home [42, p. 4]¹⁵, or the bride and groom performed this act together [31, p. 121].

T'onir in Folklore

As an integral part of traditional life, the t'onir is frequently mentioned across various genres of the folklore of the Armenians of Nagorno-Karabakh, including fairy tales, fortune-telling songs, ritual songs, proverbs, curses, and more.

In the fairy tales of the Armenians of Nagorno-Karabakh, the main household functions of the t'onir are usually highlighted: baking bread, cooking food, and providing warmth. In four versions of the fairy tale “The Werewolf Girl,” the heroine secretly leaves the cradle and eats the dough balls (*պնյ* [pül]) baked in the t'onir. In three versions, the vertical earthen oven is called t'urun in dialect, and in one version t'ōrēn [39, p. 53; 44, p. 14; 46, p. 60; 37, p. 105]. In another, very brief version of this tale, the father-in-law of the werewolf bride takes her wolf fur while she is sleeping and throws it into a burning t'onir, thereby breaking the spell that afflicted the bride and “calming” her down [39, p. 598–599].¹⁶

In another fairy tale of the Armenians of Nagorno-Karabakh, the t'onir becomes a symbol of prosperity and wealth. As the married couple prepares to bake *lavaš* and *gat'a* in the t'onir, they open its mouth and discover that it is filled with gold [37, p. 152]. Similarly, in one of the traditional songs, the t'onir, along with bread, symbolizes Armenian hospitality (Հայու աղ, / Հայու մաղ, / Հայու հաց, / Թուռնան կաց [Hayu al, / Hayu

14 For example: Հացս ուն թխալ՝ բոգս, / Ընգալ թորենը՝ թոգս, / Իտի յարդ հի՛նչ անիւն, / Վէլը կարը կրգրկոցս (I baked bread, it is white, / The bread fell, it is covered with dust, / What should I do with such a beloved, / If his (or her) coming is hidden) [43, p. 13–14, № 17]. Or՝ Թորունը կինի կուտանաւ, / Մանունը կինի մուտանաւ, / Տո՛ւ ինձանա՛ վախճ մեր, / Մինն ինձ կարել չի մուտանաւ (There will be burnt bread in t'onir, / There will be a ring on the finger, / Don't worry about me, / No one can approach me) [44, p. 190, № 83].

15 Petrushevsky, by the way, mistakenly identified the ožax and the t'onir, which had completely different functions in Nagorno-Karabakh and were located in different structures. Hamlet Petrosyan's article is devoted to this issue [see 45, p. 349–350].

16 In some tales of the Armenians of Nagorno-Karabakh, the positive hero throws the negative character into a burning t'onir by deception or in some other way and thus defeats him [39, p. 148; 47, p. 90], and in another tale, the hero hides himself in the t'onir to secretly follow the dragon [39, p. 389].

mał, / *Hayu hac*’, / *T’uřnan kac*] – Armenian’s salt, / Armenian’s sieve, / Armenian’s bread, / Take it out of the *t’onir*) [35, p. 173].

Conclusion

The data presented in this article may prove useful not only to ethnographers and folklore scholars, but also to cultural anthropologists, food historians, and architectural historians, as they offer practical insights into traditionally transmitted folk technologies. By integrating our own fieldwork with relevant regional and international studies, this research provides a comprehensive account of the *t’onir* based on 19th- to 21st-century data, offering a comparative benchmark for future studies on traditional bread-baking technologies across various regions.

The *t’onir* – the earthen bread oven of the Nagorno-Karabakh Armenians – differed in its everyday placement from those in other Armenian ethnographic regions. Unlike in other areas, where it was embedded inside one of the main rooms of a multi-section house (such as the “head-house”, “bread-house”, or “smoke-house”) beneath a domed roof with a smoke-hole, it was situated outdoors in the yard or set apart at a short distance, placed at the center of a specially constructed “house of *t’onir*” (*t’onratun*). Moreover, this building was frequently constructed not for a single household, but for an extended clan or neighborhood, serving as a shared communal space where neighbors gathered to bake and socialize.

The *t’onirs* of Nagorno-Karabakh Armenians were of two types: built in the ground or placed above it. The latter type became widespread only in the mid-20th century. Primarily, the *t’onir* had practical importance: it was where bread, *gat’a*, and other traditional dishes were baked, and where people gathered in cold weather to warm themselves and socialize. Traditional folklore performances also mainly took place around the *t’onir*.

In some folklore genres, the *t’onir* is perceived as a symbol of holiness. In ritual songs and riddles alike, the *t’onir* is sometimes identified with the church. Rituals performed at the *t’onir*, such as marriage and baptism, further emphasize the connection between the *t’onir* and the church.

Table 1. *T’onir* in Nagorno-Karabakh

Таблица 1. Тонир в Нагорном Карабахе

Names	<i>t’urun</i> / <i>t’uřun</i> / <i>t’õrun</i> / <i>t’õrēn</i>
Function	Earthen vertical oven
Size	1-1,5 m deep and 0,6-1 m in diameter
Location	In a special building separate from the house
Application	domestic ritual
Food prepared in <i>t’onir</i>	bread: <i>pəřōz</i> or <i>tuřnav hac</i> meals: roast, <i>ğap’lama</i> , <i>kurkut</i>
Rites	marriage baptism

Table 2. List of informants and fieldwork details

Таблица 2. Список информантов и сведения о полевой работе

	informant	born - de- ceased	birthplace	year of interview	place of inter- view
1.	Abrik Adamyan	1933- 2006	Pletants (Blutan) village	2000	Pletants (Blutan) village
2.	Roza Aghajanyan	1928	Kherkhan village	2002	Kherkhan village
3.	Grisha Arstamyan	1933- 2017	Krasni village	2015	Krasni village

4.	Manvel Asryan	1939	Nengi village	2019	Nengi village
5.	Amirbar Baghdasaryan	1937	Kolkhozashen village	2022	Kolkhozashen village
6.	Valya Danielyan	1939	Patara village	2019	Patara village
7.	Lusik Tovmasyan	1930-2020	Karintak village	2016	Karintak village
8.	Suren Tsatryan	1928	Maghavuz village	2020	Maghavuz village
9.	Tamar Hovsepyan	1934	Noragyugh village	2019	Noragyugh village
10.	Arkadi Mayilyan	1942	Hadrut city	2010	Hadrut city
11.	Shmavon Musayelyan	1926-2018	Vaghuhas village	2013	Vaghuhas village
12.	Yasha Nasibyan	1961	Yeghtsahogh village	2019	Yeghtsahogh village
13.	Tsovik Poghosyan	1936	Kaghartsi village	2014	Kaghartsi village
14.	Anzhela Sargsyan	1940	Sos village	2003	Sos village
15.	Angin Ohanjanyan	1937	Tumi village	2008	Tumi village
16.	Artusha Ohanjanyan	1932-2020	Sos village	2020	Sos village

Acknowledgements. This study was financially supported by the Higher Education and Science Committee of the Ministry of Education, Science, Culture, and Sports of the Republic of Armenia, under research project #24SSAH-6Bo16. We sincerely thank all our informants for their valuable contributions. We are also grateful to Arsen Bobokhyan, Director of the Institute of Archaeology and Ethnography, for his valuable advices and support.

Благодарность. Настоящее исследование было финансово поддержано Комитетом по высшему образованию и науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в рамках научно-исследовательского проекта № 24SSAH-6Bo16. Мы искренне благодарим всех наших информантов за их ценный вклад. Мы также выражаем признательность Арсену Бобохяну, директору Института археологии и этнографии, за его ценные советы и поддержку.



Fig. 1. A woman baking bread in the village of Aknakhbyur (Karabulakh), Askeran region, holding a “pillow” (*tēp*).
Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 1. Женщина выпекает хлеб в селе Акнахбюр (Карабулах) Аскеранского района, держа в руках «подушку» (*men*).
Автор фото Лусине Маргарян



Fig. 2. Freshly baked bread (*ḡawḡu huḡ* [t'aža hac'] or *uḡḡoḡ* [pəřōz]) from the *t'onir*. Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 2. Свежеиспеченный хлеб (*тажа хац* или *пэрроз*) из тонира. Автор фото Лусине Маргарян



Fig. 3. *Gat'a* baking inside the *t'onir*.
Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 3. Выпекание *гаты* в тонира. Автор фото Лусине Маргарян



Fig. 4. A ball of kneaded dough (*պԵլլը ղ'Էլը* [pülə ɣ'ēt ərac]) placed on the *tēp*, ready to go into the *t'onir*.
Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 4. Сформованный шар теста (пюле йеэт эрац), уложенный на теп и готовый к помещению в тони́р.
Автор фото Лусине Маргарян



Fig. 5. The bread baking process.
Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 5. Процесс выпекания хлеба.
Автор фото Лусине Маргарян



Fig. 6. Bread baking on the inner walls of the *t'onir*.
Photo credits: Lusine Margaryan

Рис. 6. Выпекание хлеба на внутренних стенках тони́ра.
Автор фото Лусине Маргарян

REFERENCES

1. Osmanov MO. Bakery equipment of the peoples of Dagestan in the 18th – 19th centuries (typology and zoning). *Abstracts of reports of the scientific session on the results of the expeditionary researches in 1984-1985 held by the Institute of History, Language, and Literature*. Makhachkala, 1986, P. 15. (In Russ)
2. Abdullaev IN. Bread-baking devices of the Tabasarans in the second half of the 19th – early 20th centuries. *Bulletin of the Institute of Archaeology and Ethnography*. 2006; 1: 130-134. (In Russ)
3. Ramazanova ZB. *The food culture of the peoples of Dagestan in the 19th – early 21st centuries*. Makhachkala: Alef, 2017. (In Russ)
4. Islammagomedov AI. Heating and stove structures among the peoples of Dagestan in the 19th century. *Tangible cultural heritage of the peoples of Dagestan (19th – 20th centuries)*. Collection of articles, ed. by M.O. Osmanov. Makhachkala, 1988: 73-94. (In Russ)
5. Limet H. Pains et fours dans le Proche-Orient ancien. *Civilisation: Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines*. 2002; 49: 1-11.
6. Civil M. *Studies in Sumerian Civilization*, ed. by E. Feliu. Barcino Monographica Orientalia. Vol. 7. Universitat de Barcelona, 2017.
7. Vanstiphout H. *Epics of Sumerian Kings. The Matter of Aratta*, ed. by J.S. Cooper. Leiden, Boston: Brill, 2004.
8. Piotrovsky BB. *History and culture of Urartu*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1944. (In Russ)
9. Yesayan SA. *Ancient culture of the tribes of northeastern Armenia*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1976. (In Russ)
10. Khan-Magometov SO. Traditional dwellings of Southern Dagestan. *Soviet Ethnography*. 1951; 1: 166-176. (In Russ)
11. Peshchereva EM. *Pottery production in Central Asia*. Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1959. (In Russ)
12. Agashirina SS. *Material culture of the Lezgins in the 19th – early 20th centuries*. Moscow: Nauka, 1978. (In Russ)
13. Baiburtyan YA. Work tools in ancient Armenia. *Bulletin of the Institute of History and Literature of the Armenian SSR*. Yerevan, 1938; 1: 193-231. (In Armenian)
14. Baiburtyan YA. Cult hearth from the excavations of the Shengavit settlement in 1936-1937. *Journal of Ancient History*. 1938; 4(5): 255-259. (In Russ)
15. Baiburtyan YA. *Sequence of the most ancient cultures of Armenia based on archaeological material*. Yerevan: History Museum of Armenia, 2011. (In Russ)
16. Pasqualone A. Traditional flat breads spread from the Fertile Crescent: production process and history of baking systems. *Journal of Ethnic Foods*. 2018; 5(1): 10-19.
17. Mammadli AI., Solovyeva LT. (eds.). *Azerbaijanis*. Moscow: Nauka, 2017. (In Russ)
18. Arutyunov SA. (ed.). *Ethnography of nutrition among the peoples of foreign Asia: an attempt at comparative typology*. Moscow: Nauka, 1981. (In Russ)
19. Aristova TF. *Material culture of the Kurds in the 19th – first half of the 20th century*. Moscow: Nauka, 1990. (In Russ)
20. Sarkisyan ES. *The art of pottery in Armenia*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1978. (In Russ)
21. Marutyan AT. The interior of the Armenian traditional dwelling (second half of the 19th – early 20th century). *Armenian Ethnography and Folklore*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1989; 17: 63-142. (In Russ)
22. Kondtsi. Bread baking in Armenia. *Araks. Book I (Nature in Armenia)*. Saint Petersburg, 1893: 3-8. (In Armenian)
23. Hovsep'yants G. *Fragments of folklore*. Tiflis: Printed by M. Sharadze, 1893. (In Armenian)
24. Abeghyan MKh. *Works*. Vol. 6. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1975. (In Armenian)
25. Kharatyan ZV. Cultic motifs in Armenian family customs and rituals. *Armenian Ethnography and Folklore*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1989; 17: 5-62.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Османов М.О. Хлебопекарные устройства народов Дагестана в XVIII–XIX вв. (типология и районирование) // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Института ИЯЛ в 1984–1985 гг. Махачкала, 1986. С. 15.
2. Абдуллаев И.Н. Хлебопекарные устройства табасаранцев во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2006. № 1. С. 130–134.
3. Рамазанова З.Б. Культура питания народов Дагестана в XIX – начале XXI века, Махачкала: «Алеф», 2017. – 312 с.
4. Исламмагомедов А.И. Отопительные и печные сооружения у народов Дагестана в XIX в. // Материальная культура народов Дагестана (XIX–XX вв.). Сборник статей (отв. ред. М.О. Османов). Махачкала, 1988. С. 73–94.
5. Limet H. Pains et fours dans le Proche-Orient ancien // *Civilisation: Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines*. 2002. №49. Pp. 1–11.
6. Civil M. *Studies in Sumerian civilization*, ed. E. Feliu. – Barcino Monographica Orientalia. Vol. 7: Universitat de Barcelona, 2017. – 715 p.
7. Vanstiphout H. *Epics of Sumerian Kings. The Matter of Aratta*, ed. J.S. Cooper. Leiden, Boston: Brill, 2004. – 176 p.
8. Пиотровский Б.Б. История и культура Урарту. Ереван, 1944. – 364 с.
9. Есаян С.А. Древняя культура племен северо-восточной Армении. Ереван: Изд. АН Арм. ССР, 1976. – 271 с.
10. Хан-Магомедов С.О. Народное жилище Южного Дагестана // Советская этнография. 1951. № 1. С. 166–176.
11. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М.-Лен.: изд. АН СССР, 1959. – 397 с.
12. Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин XIX – начала XX в. – М: Наука, 1978. – 304 с.
13. Բայբուրտյան Յ.Յ. Աշխատանքի գործիքները հին Հայաստանում // Տեղեկագիր ՀԽՍՀ Պատմության լեզվաբանության ինստիտուտի. Գիրք I. – Երևան – 1938. – էջ 193-231:
14. Байбуртян Е.А. Культовый очаг из раскопок Шингавитского поселения в 1936-1937 гг. // Вестник древней истории. 1938. № 4 (5). С. 255–259.
15. Байбуртян Е.А. Последовательность древнейших культур Армении на основании археологического материала. Ереван: Музей истории Армении, 2011. – 111 с.
16. Pasqualone A. Traditional flat breads spread from the Fertile Crescent: Production process and history of baking systems // *Journal of Ethnic Foods*. 2018. March. Vol. 5. Issue 1. Pp. 10-19.
17. Мамедли А., Соловьева Л.Т. (отв. ред.) *Азербайджанцы*. М.: Наука, 2017. – 712 с.
18. Арутюнов С.А. (отв. ред.), *Этнография питания народов стран зарубежной Азии: опыт сравнительной типологии*. М.: Наука, 1981. – 256 с.
19. Аристова Т.Ф. Материальная культура курдов XIX – первой половины XX в. – М: Наука, 1990. – 232 с.
20. Саркисян Е.С. Гончарное искусство Армении. Ереван: Издательство Академии наук Армянской ССР, 1978. – 108 с.
21. Марутян А.Т. Интерьер армянского народного жилища (вторая половина XIX – начало XX в.) // *Армянская этнография и фольклор*. Т. 17. Ереван: Издательство Академии наук Армянской ССР, 1989. С. 63-142+XLVIII.
22. Կոնդցի, Հաց թխելը Հայաստանում // Արար. – Գիրք Ա (Բնութիւնը Հայաստանում). – Ս. Պետերբուրգ. – 1893. – էջ 3-8:
23. Զովսեփեանց Գ. Փշարները ժողովրդական բանահյուսութեանից. – Թիֆլիս: տպ. Ս. Շարաձե, 1893. – 139 էջ:
24. Արեղյան Ս.Խ. Երկեր. Հատոր Է. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1975. – 604 էջ:
25. Харатян З.В. Культовые мотивы семейных обычаев и обрядов у армян. *Армянская этнография и фольклор*. Т. 17. Ереван: Издательство Академии наук Армянской ССР, 1989. С. 5–62.
26. Դավայան Տ.Ս. Թոնիրի առասպելային զ. Սրվանձտյանցի գրառումներում // Գարեգին Սրվանձտյանց 180, Առանց գիտաժողով նվիրված Գարեգին Եպիսկոպոս Սրվանձտյանցի 180-ամյակին, Ծրագիր և ամփոփագրեր, -Երևան, 2021. – էջ 10-13:

26. Dalalyan TS. The Tonir myth in the records of G. Srundztyants. *Garegin Srundztyants 180: Online Conference Dedicated to the 180th Anniversary of Bishop Garegin Srundztyants. Program and abstracts*. Yerevan, 2021, pp. 10–13. (In Armenian)
27. Vardanyan NKH. "Gates of death" and the lame demon as guardian of the entrance to the afterlife. *Religiovedenie*. 2025; 4: 5–14.
28. Bdoyan VH. *Armenian ethnography: a brief outline*. Yerevan: Yerevan State University Press, 1974.
29. Davidbekov I. The village of Hadrut, Elizavetpol province, Jebail district. *Collection of Materials for Describing the Localities and Tribes of the Caucasus*. Tiflis: Printing House of the Office of the Civil Administration of the Caucasus, 1888; 6: 153–192.
30. Lisitsyan SD. Toward the study of Armenian peasant dwellings (Karabakh Karadam). *Proceedings of the Caucasian Institute of History and Ethnography*. Tiflis, 1925; 3: 97–108.
31. Lisitsyan SD. *The Armenians of Nagorno-Karabakh: an ethnographic sketch*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of Armenia, 1992.
32. Ter-Sarkisyan AE. The new and the traditional in the modern life of Armenians in Nagorno-Karabakh. *Field Studies of the Institute of Ethnography – 1975*. Moscow: Nauka, 1977, pp. 99–110.
33. Mkrtchyan AA. *The social life of the Armenians of Nagorno-Karabakh (second half of the 19th – early 20th century)*. Yerevan: Gitutyun Publishing House of the NAS RA, 2010.
34. Ter-Sarkisyan AE. *The Armenians of Nagorno-Karabakh: history, culture, traditions*. Moscow: Russkaya Panorama, 2015.
35. Harutyunyan LH. (ed.). *Fragments of the folklore of Artsakh*. Collected, compiled, and annotated by L.H. Harutyunyan. Yerevan: Yerevan State University Press, 1991. (In Armenian)
36. Lisitsyan SD. *The Armenians of Zangezur*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1969. (In Armenian)
37. Sargsyan AY. (ed.). *The folklore of Artsakh*. Yerevan: Edit Print, 2015.
38. Lalayan YA. Varanda: materials for future research. *Ethnographic Journal*. Tiflis: Printed by M.D. Rotinyants, 1897; (2): 4–244. (In Armenian)
39. *Armenian folk tales*. Vol. V. Ed. by S.G. Abrahamyan; compiled by A.M. Nazinyan, M.M. Grigoryan-Spandaryan. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1966. (In Armenian)
40. Lisitsyan SD. The Armenians of Mountainous Karabakh. *Armenian Ethnography and Folklore*. Yerevan, 1981; 12: 7–84. (In Armenian)
41. Samuelyan Kh. Armenian family worship. *Ethnographic Journal*. Tiflis, 1906; 13(1): 112–130. (In Armenian)
42. Petrushevsky I. On the pre-Christian beliefs of the peasants of Nagorno-Karabakh. *Proceedings of the Azerbaijan State Scientific Research Institute*. Baku, 1930; 1(5): 43 p.
43. Grigoryan-Spandaryan MM. (ed.). *The folklore of Mountainous Karabakh*. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1971. (In Armenian)
44. Arakelyan MN., Ghahramanyan R.A. (eds.). *Samples of the folk folklore of Mountainous Karabakh*. Yerevan: Hayastan, 1978. (In Armenian)
45. Petrosyan HL. The newly discovered shrine of Kharablur and the cult of "sacred hearths" in Artsakh. *The Saints and Shrines of the Armenians: Origins, Types, Worship*. Eds. S.B. Harutyunyan, A.A. Kalantaryan. Yerevan: Hayastan, 2001, pp. 347–356. (In Armenian)
46. *Armenian folk tales*. Vol. VII. Ed. by S.G. Abrahamyan, comp. by A.M. Nazinyan, M.N. Arakelyan. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1979. (In Armenian)
47. *Armenian folk tales*. Vol. VI. Ed. by S.G. Abrahamyan. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1973. (In Armenian)
27. Варданян Н.Х. «Двери смерти» и храмой демон – как хранитель входа загробного мира // Религиоведение. 2025. № 4. С. 5–14.
28. Բրդյան Վ.Է. Հայ ազգագրություն. Համառոտ ուղագիծ. – Երևան: Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 1974. – 288 էջ:
29. Давидбеков И. Село Гадрут, Елисаветпольской губернии, Джебраильского уезда // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Вып. 6. Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданского частию на Кавказе, 1888. С. 153–192.
30. Лисицын С.Д. К изучению армянских крестьянских жилищ (Карабахский карадам) // Известия Кавказского историко-этнографического института. Т. 3. Тифлис, 1925. С. 97–108.
31. Лисицын С.Д. Армяне Нагорного Карабаха. Этнографический очерк. Ереван: Изд. АН Армении, 1992. – 240 с.
32. Тер-Саркисянц А.Е. Новое и традиционное в современном быту армян Нагорного Карабаха // Полевые исследования Института этнографии – 1975. М.: Наука, 1977. С. 99–110.
33. Мкртчян А.А. Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.). Ереван: Гитутюн НАН РА, 2010. – 168 с.
34. Тер-Саркисянц А.Е. Армяне Нагорного Карабаха. История, Культура. Традиции. М.: Русская панорама, 2015. – 920 с.
35. Հարությունյան Լ.Յ. Նշխարներ Արցախի բանահյուսության / Ժողովուրդ, կազմեց և ծանոթագրեց Լ.Յ. Հարությունյան. – Երևան: Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն, 1991. – 400 էջ:
36. Լիսիցյան Ս.Դ. Չանգեզուրի հայերը. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1969. – 337 էջ + СХХХ:
37. Սարգսյան Ա.Յ. Արցախի բանահյուսությունը. – Երևան: Էդիթ Պրինտ, 2015. – 748 էջ.
38. Լալայան Ե.Ա Վարանդա. նյութեր ապագա ուսումնասիրության համար // Ազգագրական հանդես. – 1897. – Բ գիրք. – Թիֆլիս, տպ. Մ.Դ. Ռոտինյանցի. – էջ 4-244:
39. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ. – Հատոր V / Խմբագիր. Ս.Գ Աբրահամյան, կազմողներ՝ Ա.Մ. Նազինյան, Մ.Մ. Գրիգորյան-Սպանդարյան. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1966. – 760 էջ:
40. Լիսիցյան Ս.Դ. Լեռնային Ղարաբաղի հայերը // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. – Հատոր 12. – Երևան: 1981. – էջ 7-84:
41. Սամուելյան Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը // Ազգագրական հանդես. – Հատոր 13/1. – Թիֆլիս. – էջ 112-130:
42. Петрушевский И. О дохристианских верованиях крестьян Нагорного Карабаха // Известия Азгнии. Вып. 5. Том 1. Баку: 1930. – 43 с.
43. Գրիգորյան-Սպանդարյան Մ.Մ. Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1971. – 478 էջ:
44. Առաքելյան Ս.Ն., Ղահրամանյան Ռ.Ա. Նմուշներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսությունից. – Երևան: Հայաստան, 1978. – 224 էջ:
45. Պետրոսյան Յ.Լ. Քարաբլուրի նորագյուտ սրբարանը և «սուրբ օջախների» պաշտամունքն Արցախում // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը. Խմբ. Ս.Բ. Հարությունյան, Ա.Ա. Քալանթարյան, – Երևան: Հայաստան 2001. – էջ 347-356:
46. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ. – Հատոր VII / Խմբագիր. Ս.Գ Աբրահամյան, կազմողներ՝ Ա.Մ. Նազինյան, Մ.Մ. Առաքելյան. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1979. – 768 էջ:
47. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ. – Հատոր VI / Խմբագիր. Ս.Գ Աբրահամյան. – Երևան: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., 1973. – 780 էջ:

Recieved 20.06.2025
Accepted 27.01.2026
Published 30.09.2026

Поступила в редакцию 20.06.2025 г.
Принята в печать 27.01.2026 г.
Опубликована 30.09.2026 г.

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223620-630>



Исследовательская статья

Коновалов Андрей Анатольевич

к.и.н., доцент

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

homunculus2@yandex.ru

Нальчикова Елена Аниуаровна

к.и.н., доцент, заведующая кафедрой организации работы с молодежью

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

elenalchik@yandex.ru

Гугова Марина Хабасовна

к.и.н., доцент, старший научный сотрудник

Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН, Нальчик, Россия;

заведующая кафедрой истории России и кавказоведения

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

gugowa@mail.ru

ЖЕНСКАЯ АГРЕССИЯ В КАБАРДИНСКОМ И БАЛКАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Аннотация. Статья обращается к принципиально важному, но остававшемуся в глубокой тени интересов историков, этнологов и социологов аспекту региональной истории. Исследование направлено на деконструкцию стереотипа о женщине в традиционных обществах. Коррекции подвергается тезис о женщине как об исключительно пассивной жертве обстоятельств, носительнице скромности и виктимности. В центре внимания авторов находится феномен женского насилия (физического и психического), исходящего от нее как от активного субъекта. Для горянки, живущей в обществе, находящемся в ситуации перехода от традиции к модерну, насилие выступает не просто как форма агрессии или утверждения власти, но и как способ сопротивления, инструмент выживания в специфических социально-исторических условиях Кабардино-Балкарии конца XIX в. – 1980-х гг. На основе междисциплинарного подхода, сочетающего методы микроистории, гендерного анализа и исторической антропологии, в работе исследуются судебные архивы, материалы обычного права (адатов), нарративные источники (путевые заметки, хроники, авторские материалы полевых исследований) и фольклор автохтонных народов республики. Целью статьи является изучение специфики, условий и степени выраженности женской агрессивности в меняющемся социоисторическом контексте. Исследование доказывает, что игнорирование этого «тёмного» сюжета приводит к упрощённому пониманию гендерных ролей в прошлом. Авторы приходят к заключению, что включение темы женского насилия в научный оборот не только заполняет лакуну в истории Кабардино-Балкарии, но и предлагает новый исследовательский инструментарий для более глубокого, многогранного и нетривиального понимания динамики гендерных отношений в традиционных обществах.

Ключевые слова: женская агрессия; субъектность; Кабардино-Балкария; традиционное общество; реархаизация; патриархальный уклад

Для цитирования: Коновалов А.А., Нальчикова Е.А., Гугова М.Х. Женская агрессия в кабардинском и балкарском обществе в прошлом и настоящем: разрушение традиционных стереотипов // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 620-630. doi.org/10.32653/CH223620-630

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223620-630>

Research paper

Andrey A. Konovalov
Cand. Sci., Assoc. Prof.
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia
homunculus2@yandex.ru

Elena A. Nalchikova
Cand. Sci., Assoc. Prof., Head of the Department of Youth Work Organization
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia
elenalchik@yandex.ru

Marina Kh. Gugova
Cand. Sci., Assoc. Prof., Senior Researcher
Institute for Humanities Research of the KBSC RAS, Nalchik, Russia;
Head of the Department of Russian History and Caucasian Studies
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia
gugowa@mail.ru

FEMALE AGGRESSION IN KABARDIAN AND BALKAR SOCIETY IN THE PAST AND PRESENT: DISMANTLING TRADITIONAL STEREOTYPES

Abstract. The article addresses a fundamentally important, yet long-overshadowed, aspect of regional history that has largely escaped the attention of historians, ethnologists, and sociologists. The study is aimed at deconstructing stereotypes regarding women in traditional societies. The thesis presenting women as exclusively passive victims of circumstances, embodying modesty and victimhood, is critically revised. At the center of the authors' attention is the phenomenon of female violence (physical and psychological) originating from women as active agents. For a mountain woman (*goryanka*) living in a society undergoing a transition from tradition to modernity, violence serves not merely as a form of aggression or assertion of power, but as a means of resistance and a survival tool within the specific socio-historical conditions of Kabardino-Balkaria from the late 19th century to the 1980s. Drawing on an interdisciplinary approach that combines the methods of microhistory, gender analysis, and historical anthropology, the study examines court archives, customary law (*adat*) materials, narrative sources (travel notes, chronicles, authorial field research data), and the folklore of the indigenous peoples of the republic. The aim of the article is to examine the specifics, conditions, and extent of female aggression within a changing socio-historical context. The research demonstrates that overlooking this "dark" topic leads to an oversimplified understanding of historical gender roles. The authors conclude that introducing the topic of female violence into academic discourse not only fills a historiographical gap in the history of Kabardino-Balkaria, but also offers new analytical tools for a deeper, multifaceted, and nuanced understanding of gender dynamics in traditional societies.

Keywords: female aggression; agency; Kabardino-Balkaria; traditional society; re-archaization; patriarchal order

For citation: Konovalov A.A., Nalchikova E.A., Gugova M.Kh. Female aggression in Kabardian and Balkar society in the past and present: dismantling traditional stereotypes. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 620-630. doi.org/10.32653/CH223620-630

Введение

В антропологии сложилась классическая парадигма по вопросу о статусе женщины в традиционном обществе. Согласно ей женщина представляет собой объект влияния и в этом смысле лишена субъектности. Женщине отказано в праве принимать решения за пределами четко очерченного социального пространства, ограниченного сферами воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. И даже в этих узких рамках прерогатива принятия ключевых решений принадлежит мужчине. Указанная парадигма подразумевает, что женщина полностью бесправна и порабощена.

Впервые научно обоснованный взгляд на социальный статус женщины был сформулирован в рамках философского дискурса XIX века. Этнология как наука переживала в то время период становления и использовала идеи, сформулированные в рамках философского знания. Для философии этот сюжет не был магистральным, однако мыслители XIX века сформулировали парадигму о подчиненном положении женщины. Будучи мыслителями, открывающими новые горизонты, они, однако, оставались представителями своего времени, разделяя его предрассудки. Так, Г. Фихте отводил женщине второстепенную роль, не более чем «средства для удовлетворения потребностей мужчины» [1, с. 273]. При этом автор фундирует это природным различием между полами, в результате которого женщина обречена на роль пассивного объекта социальных отношений: «В любви женщина добровольно приносит себя в жертву мужчине» [1, с. 287-288].

А. Шопенгауэр для обозначения роли и положения женщины и самой сущности фемининности применяет страдательный грамматический залог, определяющий его взгляд на положение женщины, как на подчиненное мужчине существо: «Она (женщина – авт.) не предназначена для слишком большого труда ни духовного, ни телесного. Она отбывает обязанность жизни не действительным, а страдательным образом: муками родов, заботами о детях, подчинённостью мужу, для которого она должна быть терпеливою и ободряющей подругою» [2, с. 18]. Воспринимая женщину как существо иного плана, Шопенгауэр наделяет ее чертами, которых сам опасается: это «слабейшие существа одарены от природы не силою, а хитростью: отсюда их инстинктивное лукавство и непреодолимая склонность ко лжи» [3].

Патриархальную позицию по отношению к женщине разделял и Ф. Ницше. Проявляя своеобразную интеллектуальную смелость, он замечает, что «совершенная женщина, – есть более высокий тип человека, чем совершенный мужчина», при этом тут же делая оговорку, что это и «нечто гораздо более редкое» [4]. Новацией в этом дискурсе является и то, что Ницше наделяет женщину таким качеством, как интеллектуальность, правда, рассматривая его как исключение. В целом, согласно патриархальному взгляду, функционал женщины ограничивается ролями «хорошей жены, матери и прихожанки» [4].

Конечно, в такой ситуации женщина мыслится как бесправное существо, а о насилии со стороны женщин не может идти речи. Между тем, приведенные мнения были отражением патриархального порядка вещей, который, на первый взгляд, не дает проявить себя, кроме как в жестко обозначенных узких рамках.

Идея о смене матриархата патриархатом, в рамках которого женщина стала объектом социального взаимодействия с понижением общественного положения, получила развитие в работе Д.С. Милля «О подчинении женщины», где он обосновывал мысль о том, что зависимость женщины от мужчины стала результатом социального переворота, характеризующегося применением грубой силы. «Подчинение одного пола другому стало одной из главных преград на пути человеческого совершенствования, и его следует заменить принципом полного равенства» [6].

У истоков этнологического дискурса о женском подчинении стал фундаментальный труд Г. Плосса (1819–1885) с говорящим названием «Женщина в естествоведении и народоведении» (1898–1900). В этой работе был обобщен материал, собранный к тому времени этнографами. Впервые было сформулировано антропологическое понимание «женщины как объекта» [7].

Очевидно, тема женского насилия вызывает интерес исследователей [8–14]. Однако общим местом в этих трудах является представление о том, что субъектом насилия выступает мужчина, а объектом – женщина. Это мнение базируется на имеющем широкое распространение подходе, в котором женщина лишена всяческих прав и самовыражения.

В XX веке указанный взгляд на природу фемининности подвергается серьезной ревизии и рассматривается как одномерный, поверхностный и просто ошибочный.

Гендерную асимметрию Мишель Розальдо и Луиза Ламфер связали с разделением общественной жизни на высокопрестижный публичный (мужской) и малопрестижный (женский) сегменты. Идеи о более сложном и неоднозначном социальном статусе женщины получили развитие в работе Элеонор Ликок и других антропологов. В таких сборниках, как «Половые и гендерные иерархии» [15] и «Феминистская антропология: хрестоматия» [16] исследователи отходят от простой коннотации подчиненного положения женщины и эксплицируют скрытые механизмы женского влияния.

Согласно новым представлениям, женщины действительно отличаются от мужчин, но это не делает их ущербными. Выдвигается положение о разных, но равных типах человеческой природы. Современные исследователи считают, что представления классиков историографии о месте женщины в традиционном обществе имеют существенные основания: женщина, действительно, имела подчиненное положение, была ограничена в своих действиях. Ей навязывались представления о должном и самой ее сущности. Однако, даже в архаичных, патриархальных обществах женщина не была только объектом. Она имела скрытые рычаги влияния, проявляющиеся, главным образом, в приватной сфере. Но, используя неявные тактики, женщина в то же время могла влиять и на публичное пространство.

В частности, женщины оказывали существенное воздействие в обществе через участие в «сетевых коммуникациях» (Патриция Хилл Коллинз [17]), таких как сеть родства (Мейер Фортес [17], Эванс Притчард [17]) и соседства, символическое ритуальное влияние и создание женских контрпубличных пространств (Ненси Фрейзер [18]), таких как ежедневные встречи у колодца, участие в похоронах и поминках, свадьбах и обрядах, связанных с рождением и воспитанием детей. «Коммуникативными перекрестками» в советское время, наряду с перечисленными, стали магазин, рынок, клуб, пространство перед административными зданиями и т.д. С помощью этих альтернативных сфер дискуссии при отсутствии формализованного влияния женщины создавали и реализовывали эмоционально-поведенческие механизмы (Т. Парсонс [19]), а также корректировали существующие и создавали новые. Женское влияние проявлялось в малой группе, прежде всего, в семье. В отдельных случаях, женщина с властным характером при эмоциональной податливости мужчины могла оказывать определяющее влияние на семью. Но более частыми являются случаи доминирующего влияния женщины на членов семьи, которые ниже по социальному статусу (невестка) или находились под ее влиянием в прошлом (сыновья).

Положение женщины в традиционном обществе неоднократно становилось предметом гендерных, исторических и этнографических исследований. Не была обойдена вниманием и проблема насилия, но исследователи рассматривали женщину как его объект, зачастую увязывая это с архаическими общественными отношениями (трайбализм) [20]. Все эти труды концентрируют внимание на женщине как объекте подчинения или насилия, имеющем большее или меньшее влияние.

Предметом же настоящей статьи является женщина как субъект насилия, как физического, так и психического. Малоизученность проблемы объясняется сравнительной редкостью случаев проявления женской агрессии, сами факты женского насилия зачастую скрываются. Еще одной причиной является узость проявления феномена, ограниченного малой группой: семьей и группой ближайших родственников. Также можно отметить неготовность исследователей к изучению этого деликатного вопроса. Все вышеперечисленное позволило постулировать в качестве цели статьи изучение условий, специфики и степени выраженности женского насилия.

В последние годы положение женщины на Северном Кавказе стало вызывать все больший интерес исследователей. М.Б. Гимбатова в статье «Отражение гендерных отношений в устном народном творчестве нижнетерских казаков» отстаивает мнение о «подчиненном положении женщины, с ее чувственным, эмотивным миром» [21]. Амбивалентность положения северокавказской женщины стала одним из сюжетов статьи О.С. Мутиевой «Отражение социально-правового статуса женщины в духовной культуре и фольклоре народов Северного Кавказа». С одной стороны, отмечает исследователь, существовали пословицы, принижающие женщину («У женщины волос длинный, а ум короткий»), с другой, фольклорный материал подчеркивает ее значимость («Женщина — опора семьи») [22, с. 247].

Косвенно проблемы женского насилия в Кабарде и Балкарии также были затронуты этнографами и историками республики. Идеализированный взгляд на положение женщины и сферу социальных отношений, в которую она была вписана, отражен в работах Б. Бгажнокова [23], С. Мафедзева [24],

Г. Мамбетова [25], М. Кучмезовой [26], М. Текуевой [27]. Б. Бгажноков детально проанализировал этикетные нормы, относящиеся к женщине, С.Х. Мафедзев, Г.Х. Мамбетов, М.Ч. Кучмезова изучили специфику воспитания девочек и девушек и его место в системе народной педагогики. Принципиально новый подход находим у этнолога М.А. Текуевой, которая, исследуя женские статусы и роли, их трансформации в адыгском социуме, отрицала существование бытового насилия в семье. В сферу научных интересов М.А. Текуевой входили проблемы повседневного статуса женщин и ее правового положения.

При рассмотрении проявления женского насилия во второй половине XIX в., нами использованы неопубликованные материалы из ЦГА КБР. Случаи женской агрессивности в XX в. главным образом выражались в приватной сфере и мало отражались в официальных открытых источниках, откладывались в памяти людей. Поэтому в статье широко использованы сведения, полученные от информантов.

Основная часть

В традиционных обществах существовала устоявшаяся и детализированная религиозными нормами и обычаями система социального взаимодействия, в которой с высокой степенью реализации определялись социальные нормы, описывающие рамки дозволенного поведения. И хотя внутри них существовало диспозитивное пространство определенной свободы, жесткому осуждению подвергался малейший выход из этих четко очерченных пределов.

Существовала развитая система социальных санкций, вплоть до ostracism или изгнания. Психологическое напряжение копилось и могло прорваться в экстремальных ситуациях.

В этом контексте можно анализировать и феномен женского насилия. Женщина могла его проявлять как в отношении людей, имеющих более низкий социальный статус – невестка, дочь, так и в латентной форме по отношению к мужчинам, в виде психологического и иного давления. Существенным элементом, снижающим женское насилие, была детальная регламентация поведения традиционной кавказской женщины, регулируемая системой этнического традиционного этикета.

Современный взгляд на проблемы взаимоотношений мужчин и женщин на Северном Кавказе опирается на традиционные стереотипы о подчиненном женском положении в семье и обществе, о строгом гендерно-дифференцированном распределении ролей. Отсюда общепринятое предположение, что «женщина – жертва семейного насилия со стороны мужчины». Но кавказские практики больше-семейного проживания, возможно, предопределили изменение формулы «агрессор (мужчина) – жертва (женщина)» на «внутриполовое» противостояние: «свекровь – невестка», «золовка – невестка», «сосношницы». Акцентуация проблемы абьюза в современных научных изысканиях, часто междисциплинарных, закономерно происходит на примере традиционалистских обществ. Так, Северный Кавказ часто рассматривают, как регион с относительно высоким, но неафишируемым уровнем семейного насилия [28, 29].

Эти исследования опираются на современные данные разнообразных анкетных опросов, этнографических интервью и открытых интернет-источников. Попытки более детального разбора и систематизации имеющихся материалов демонстрируют лакуны или даже противоречия в источниках внутрисемейного насилия и конфликтов. Молодая невестка, попав в сложившийся семейный коллектив, подвергается моральному и психологическому давлению со стороны женской половины большой семьи: свекрови, сестер мужа, старших невесток, в случаях полигамии – первой жены.

Поиски традиционных истоков женской физической агрессии приводят к необходимости привлечения архивных материалов (уголовных дел) второй половины XIX – начала XX в. «Для простого человека даже по улице было не так просто пройти, особенно когда девушки из клана Крымшамхаловых состязались в стрельбе. Рассказывают случай, когда одна из девушек при стрельбе убила человека из рода Сарыевых, за что ее даже не наказали. Наоборот, обвинили убитого, зачем ходил в это время» [30, с. 116]. Этот кейс если не опровергает, то значительно корректирует тезис о подчиненном и бесправном положении женщины в традиционном сословно-дифференцированном обществе.

В мае 1839 г. «генерал Вельяминов предписывал командующему Кабардинской линии полковнику Пирятинскому арестовать сестру султана Девлет-Гирея Шахимова при следовании ее по территории Кабарды, основанием для подобного распоряжения явилось следующее: "По просьбе ногайского султа-

на Девлет-Гирея Шахимова позволил я ему вывезти из Чечни сестру, бывшую за убитым кабардинским князем Хамурзиным; и снабдил его для свободного проезда в Чечню билетом. Ныне дошло до сведения моего, что сестра означенного султана, узнавши о смерти своего мужа Хамурзина сама собственноручно заколола кинжалом вверенного Вам полка штабс-капитана Балаша и прапорщика Максимова, находившихся в плену"» [31, с. 54]. Приведенный кейс напрямую нельзя отнести к внутрисемейному насилию, но женщина здесь взяла на себя мужские функции отмщения, продемонстрировав высокий уровень агрессии. Доведенная до отчаяния женщина вынуждена выходить за пределы четко очерченных рамок социального поведения. Такие происшествия случались нечасто, но они демонстрируют, что долго накапливающееся психическое напряжение порой находило выход в случаях насилия.

Женская агрессия зачастую проявляется во внутрисемейных отношениях. О вышедших за рамки предписанных комплексом обычных норм особенностях семейных взаимоотношений свидетельствуют уголовные дела. Так, в ЦГА КБР, находится «Переписка с начальниками участков о скоростипжно умерших жителях селений Нальчикского округа» за период с 16 января 1892 по 17 апреля 1893 года¹.

Из двух десятков дел, связанных с «женским насилием», в рамках нашего исследования определенный интерес представляют два документа. В первом речь идет о неудачной попытке самоубийства Хуты Бузиевой. При поверхностном чтении складывается впечатление, что речь идет о попытке самоубийства жены, при более внимательном – выясняется, что текст повествует о планировании убийства мужа и о преследовании со стороны свекрови. Протокол 1892 г. июня 14 дня, составленный старшиной с. Жанхотова А. Кушханашховым гласит: «Сего дня я дознал что 11 числа сего июня жена жителя селения Жанхотова Махмуда Бузиева Хута отравилась»². Несостоявшаяся самоубийца так объяснила произошедшее: «она с мужем своим прожила более 3 лет в самой незавидной семейной жизни, почему большей частью просиживала у родного отца Шужей Дзутурова. Сосед Бекир Мизов зная о ея жизнь, посоветовал ей дать мужу отраву, отчего он умрет, а он, Мизов, возьмет ее за себя замуж, для чего дал ей какого-то ядовитого вещества. Такового немного взяла себе, а остальной схоронила в сарае Ибрагима Бузиева в крышу, так что о том никто не знал. Хута Бузиева обсудила положение своей жизни, травить мужа не согласилась, а решила необдуманно покончить жизнь свою сама с собою – приняла часть яду, от которого она не знает какие с нею были последствия, полагает через некоторое время пришла несколько в себя, видела что около ней ухаживал сосед Ибрагим Кожасов и уже при памяти давал ей пить кислое молоко. В настоящее время Хута Бузиева чувствует себя здоровою и может быть даже совсем поправится»³. В ответ «Бекир Мизов показал, что он никогда с Хутой Бузиевой ничего не говорил и никаких ядовитых веществ ей не давал, о которых он даже ... не знает...»⁴.

В рамках дела сохранился также протокол допроса Хуты Бузиевой от 7 июля 1892 г., проведенного начальником 3 участка Нальчикского округа поручиком Магницким. Хута показала, что «три года как замужем за Махмудом Бозиевым (Бузиевым) (в данном документе другое написание фамилии того же человека – прим. авт.) и почти с первых дней ее жизни в доме мужа, она терпит вечные укоры и придиры от родителей Бозиева, а в последнее время ее стали еще больше допекать в безнравственном поведении, между тем она мужа своего любит, он человек молодой и ласковый. Наконец, постоянные придиры и оскорбления стали ей настолько мучительны, что Хута стала искать случая смерти. Узнав о ея невыносимой жизни и намерении, сосед их Мызов, которому она давно нравилась и предложил ей достать яд, чтобы она отравила мужа и вышла бы за него замуж. Хута как будто бы согласилась на это, но в мыслях своих решила этим ядом покончить себя, что и сделала, но неудачно. Мызов ей никогда не нравился, и она его не любит, тем более что он человек уже пожилой. Откуда Мызов достал яд Хута не знает, а он ей это не говорил. Доказательства, что яд ей дал Мызов, она представить не может. Хута не хотела выдавать Мызова как соучастника в этом преступлении, но когда отец ея стал угрожать ей лишить жизни свою и ея, тогда она открыла Мызова. Отец Хуты показал, что с первого года замужества его дочери за Бозиевым, жизнь ее стала невыносимой в доме свекра. Родные ее мужа постоянно придирались к Хуте и стали даже допекать ее в безнравственности. Она несколько раз убегала из дома мужа к нему, но он как отец

1 Переписка с начальниками участков о скоростипжно умерших жителях селений Нальчикского округа // Управление Центрального государственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее УЦГА АС КБР). Ф. И-6. Оп. 1.

2 Там же. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 235. Л. 32.

3 Переписка с начальниками участков о скоростипжно умерших жителях селений Нальчикского округа // УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 235. Л. 39.

4 Там же. Л. 32.

старался примирять и отсылал свою дочь обратно к мужу. Наконец, в последнее время видно ей стала невыносима эта жизнь, что она решила отравить себя»⁵.

Здесь пересекаются два сюжета: первое – издевательства свекрови над более низко статусной невесткой, второй сюжет – терпящая агрессию Хута Бозиева не может найти в себе сил отравить мужа и долго копившееся психическое напряжение порождает акт агрессии, направленный на себя. Кажущийся очевидным выход – развод – был невозможен. Такая практика распространена не была. Объявить о разводе мог только муж, ограниченная в правах женщина не могла выступить с подобной инициативой, поэтому возможностью решить проблему прекращения нежеланного брака было самоубийство или убийство мужа.

Второй документ – самоубийство вдовы на фоне преследований со стороны сестер покойного мужа. В рапорте Начальнику Терской области от 24 августа 1892 г. №7546 от старшины Чегемского общества читаем: «вдова Жулдус Жанчорова, чтобы избавиться от постоянных неудовольствий и ненависти сестер своего покойного мужа 13 сего августа бросилась в реку Чегем и на верху реки поймана мертвой...»⁶. Описывается ситуация преследования женщины, попавшей в зависимость от получивших более высокий статус после смерти брата женщин.

В современной Кабардино-Балкарии встречаются аналогичные случаи: осуществляется тот же поведенческий паттерн внутрисемейного насилия. «Незамужние молодые золовки постоянными придирками к жене брата, к уровню ее образования, чистоплотности и воспитанию, вынудили невестку К-ву вместе с мужем покинуть большой дом и снять отдельную квартиру» (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант К-ова З.Х., 1975 г.р.).

В результате советской модернизации и связанной с ней эмансипации женщин у последних появились различные возможности выхода из тяжелой ситуации, однако давление традиционных брачно-семейных установок оказывается столь сильным, что женщина пытается до последнего сохранить брак.

Другой, менее распространенной моделью реализации агрессии является психологическое насилие женщины по отношению к мужчине. Показателен случай, произошедший в 1980-е годы в одном из сел Урванского района КБР. После увечья, полученного мужчиной в результате автомобильной аварии, его жена завела любовника, гораздо моложе себя. До смерти мужа и многие годы после нее, она держала возле себя молодого любовника, не разрешая ему жениться. Она согласилась на его брак с молодой односельчанкой, только когда сама стала старухой (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант Д-ов Н.Р., 1975 г.р.). Используя силу характера, женщина многие годы держала возле себя двух мужчин. Находясь в слабой позиции, обусловленной общественными нормами, но используя неформальные факторы влияния, в первую очередь, силу характера и лидерские качества, она долгое время манипулировала людьми, находящимися на более высокой ступени социальной пирамиды.

Примерно в это же время, когда, казалось бы, традиции большесемейного проживания остались в прошлом, но внутрисемейные отношения не стали проще, в одном из сел Кабардино-Балкарской республики произошли следующие события: «Во время очередного конфликта между свекровью и невесткой, перешедшего в драку, старшая женщина вырвала у снохи клок волос. Он стал главным аргументом, который сноха, (бережно сохранив его в газете) в доказательство жестокости своей свекрови предъявляла соседям, родственникам и даже принесла его в суд» (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант К-ова О.А., 1980 г.р.). Суд удовлетворил заявление о разводе, оставив детей с матерью. Очевидно, что с одной стороны сохраняется модель насилия более высокостатусной женщины над имеющей более низкое положение, с другой стороны, у женщины появляется возможность разрешения ранее безвыходной ситуации – расторжение брака. Новая практика «доведения сына до развода с неугодной невесткой» становится весьма распространенной в позднесоветский и постсоветский период.

Во второй половине XX в. на Северном Кавказе, в том числе и Кабардино-Балкарии, происходит существенный социально-культурный сдвиг. Советской властью предпринимаются достаточно успешные попытки социалистической модернизации региона, в республике строится целый ряд крупных промышленных предприятий. Из центральной России в Кабардино-Балкарию приезжают специалисты. Они задают поведенческие и мировоззренческие эталоны. Городское население титульных наций

5 Переписка с начальниками участков о скоропостижно умерших жителях селений Нальчикского округа // УЦГА АС КБР . Ф. И-6. Оп. 1. Д. 235. Л. 46.

6 Там же. Л. 49.

оказывается в большей степени, чем сельское население, подверженным когнитивным матрицам современного общества. Однако разрыв между городскими и сельскими жителями, а также между приезжими и коренным населением не был до конца преодолен. Пространством встречи культур стал городской рынок. Покупатели были в большинстве своем люди, в значительной степени, включенные в модернизационные процессы, продавцы, главным образом, оставались носителями традиционного сознания.

Ярким примером конфликта на фоне вышеописанной социокультурной ситуации служит случай 1966 г. в КБР, связанный с женским коллективным убийством [32]. В июле 1968 г. на центральном рынке Нальчика произошли массовые беспорядки, подавленные военными. Базарной толпой был растерзан участковый милиционер Владимир Токарев. Его смерть наступила от «множественных обширных травматических повреждений головы, шеи, грудной клетки, с повреждением крупных сосудов шеи, множественных переломов ребер слева и справа, с разрывом плевры». Причиной такого нечеловеческого поведения стали слухи о том, что В. Токарев убил некоего Нургали – молодого парня-кабардинца, которого он задержал на базаре утром того дня за мелкое хулиганство в нетрезвом виде и забрал в здесь же находившийся кабинет участкового. Нургали открыл окно кабинета и стал кричать, что его убивают. Слух мгновенно распространился и дополнился информацией о смерти еще двух парней: Алика и Жамалдина. Услышав это, родственница одного из мужчин – 38-летняя Жанзиля Кунижева побежала по базару с криками о милицейском произволе. Поведение Ж. Кунижевой стало катализатором действий разъяренной толпы, призывавшей наказать милиционера за «расправу» над молодыми людьми. В. Токарев, окруженный немногочисленными сотрудниками милиции, получил несколько ударов. Разъяренная толпа, растерзав В. Токарева, не отдавала тело сотрудникам милиции и военным, не реагировала на увещевания первого секретаря обкома партии Т. Мальбахова, председателя правительства республики А. Ахохова, секретаря Нальчикского горкома Н. Громыко. Как будет установлено на суде, массовые беспорядки происходили при скоплении около 3000 человек. Зачинщица «базарно-бунта» Жанзиля Кунижева была приговорена к пятнадцати годам [32, с. 224].

Этот кейс имеет глубинные причины и связан с антисоветскими настроениями 1960-х годов. В контексте настоящей статьи значимым фактором является гендерный: участниками спонтанной расправы-убийства стали исключительно женщины, начиная с зачинщицы и заканчивая рядовыми исполнителями.

Опросы наших информантов позволили дополнить картину происшедшего. В данном случае мы имеем дело с вариантом происшедшего, отраженным в коллективной памяти родственников. По словам К-ой О.А., «Моя свекровь, будучи молодой девушкой, работала на базаре продавщицей овощей, поэтому под рукой имела вилы для перебрасывания картофеля. Когда по базару распространился слух, образовалась женская толпа, она с вилами оказалась на переднем плане и ударила милиционера вилами» (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант К-ова О.А., 1980 г.р.). За деяние она отбыла в заключении длительный срок. Интересно, что другие свидетели помнят, что женщины милиционера «забили гириями». Т.е. по прошествии времени детали стерлись, но ощущение ужасающего характера расправы у очевидцев осталось.

Отец нашего информанта, участвуя в расследовании, позже вспоминал, «как шокировала его эта история, нетипичное женское поведение, агрессия...» (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант М-ова И.А., 1970 г.р.). Напряжение, по-видимому, долго копившееся у участниц эпизода, нашло выход в экстраординарной ситуации в гипертрофированном виде. Налицо явное несоответствие события, ставшее поводом к эпизоду, и реакции. Рынок стал своеобразным пространством конфликта, территорией соприкосновения весьма различных социокультурных миров: национального и поселенческого, мужского и женского.

После отбывания срока, одна из участниц расправы вернулась на родину и вышла замуж. На первый взгляд, все выглядело благополучно. Но «после рождения двоих детей муж сбежал к другой женщине». Много позже она вышла замуж второй раз за молодого семейного мужчину с двумя детьми, инициировав его развод. В семейной жизни склонность к агрессии, жестокость проявлялась по отношению ко всем членам семьи: первому и второму супругам, детям, невестке. Последняя подвергалась особо изощренной и регулярной травле. Она вошла в дом 17-летней девушкой. С первого дня частой вербальной угрозой свекрови было выражение: «Я тебя убью, закопаю так, что никто не найдет, а всем скажу, что ты просто ушла». Но насилие носило и физический характер – она была по лицу, рукам. Повышенная слышимость в «хрущевке» привела к подключению соседей, одна из которых, «тетя Лида предложила

избавиться от свекрови с помощью ртути из градусника, которую ни одна экспертиза не покажет, если капнуть в ухо, когда она спит». Свекровь стала главной причиной развода с любимым мужем, невзирая на наличие ребенка. Примечательно, что уход из дома был осуществлен в период ее отсутствия: «Я так боялась свекруху, что это было похоже на бегство: я все убрала, приготовила, взяла ребенка и убежала к матери» (ПМА, 2025, г. Нальчик, информант К-ова О.А., 1980 г.р.).

В конце XX в. в связи с новыми политическими реалиями произошёл массовый отток горожан из республики, особенно представителей некоренного населения. Их место заняли бывшие сельские жители со своими социокультурными установками. Произошла ярко выраженная реархаизация социальных практик и сознания. Давно забытые формы отношений актуализировались. Это существенным образом сказалось на внутрисемейных и гендерных отношениях. В условиях реархаизации у женщины оставался выход – уход из семьи, но традиционалистские устои затрудняют этот шаг, она не может откнуться матери, не может явно оставить мужа и свекровь, делает это тайком, дождавшись подходящего случая, когда никого нет дома. Очевидно, что возрождение традиционных практик, вызванных реархаизацией общества в XX – начале XXI века, актуализировало традиционный паттерн.

Выводы

1. Проблема «женщина и насилие» в последние годы приобрела широкую популярность среди исследователей. При этом усилия оказались сосредоточены на изучении ситуации, при которой женщина является объектом насилия. Женщина как субъект насилия – исследовательский сюжет не просто малоисследованный, но в определенной степени табуированный.

2. Эта ситуация особенно выражена в традиционных обществах, при изучении которых исследователи оказываются в плену стереотипа о полностью подчиненном и бесправном положении женщины. Данная точка зрения имеет существенные основания, однако нельзя упускать из виду существование системы каналов неформального женского влияния, особенно в приватной сфере социальной жизни.

3. В архаичных обществах прошлого и в современных социумах, сохранивших черты архаики, женщины, используя указанные неформальные способы воздействия, получали широкий спектр возможностей для реализации деструктивных черт психики, особенно агрессии.

4. В большинстве случаев желание доминировать женщины, скованные большим количеством социальных нормативов и высокой степенью регламентации большинства сторон семейной и общественной жизни, превращали в объекты насилия других женщин, находящихся в более социально слабых позициях. Основанием для дискриминации могли быть возраст, более низкое ранговое положение, слабое физическое состояние, слабая воля.

5. В отдельных случаях женщины проявляли желание доминировать или даже проявлять насилие (главным образом психоэмоциональное) даже в отношении мужчин. Чаще всего это были сыновья. В отдельных случаях объектами такого воздействия становились мужья или партнеры. В этих ситуациях женщины также использовали указанные выше механизмы социального влияния.

6. Социальная жизнь традиционного кавказского общества слишком сложна для сведения ее к набору стереотипов. Гендерный анализ требует учитывать набор эпифеноменов, усложняющий социальную картину взаимоотношения полов и в целом гендерных позиций женщин.

7. Исследуемый предмет представляет собой перспективное направление исследований области антропологии, истории повседневности, исторической социологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

REFERENCES

1. Фихте И.Г. Основа естественного права согласно принципам наукоучения. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2014. – 392с.
2. Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. – СПб.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 288с.
3. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – М.: АСТ, 2025. – 672с.
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. – 829 с.;
5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. – 239 с.
6. Милль Дж.С. О подчинении женщины. М.: Рипол классик, 2023. – 304с.
7. Плосс Г.Г. Женщина в естествоведении и народоведении: Антропологическое исследование. СПб.: Издание Южно-Русского книгоиздательства Ф.А. Иогансона, 1900. – 581с.
8. Бурова С.Н. Домашнее насилие в отношении женщин и их жизненные стратегии // Социология. 2010. №4. С. 99–116;
9. Воронцова Н.Н. Система работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье // Социальное обслуживание. 2010. №11. С. 55–62;
10. Зубрицкая А.С. Особенности психологической помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2009. №3. С. 77–87;
11. Калабихина И.Е. Домашнее насилие в отношении женщин в современной России: влияние социально-демографических характеристик супругов на распространённость насилия // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2009. Т. 1. №1. С. 62–84;
12. Мамбетов Р. Некоторые аспекты криминологической характеристики домашнего (семейного) насилия против женщин // «Чёрные дыры» в Российском Законодательстве. 2007. №3. С. 297–298;
13. Мильшин А.О. Проблемы женщин, переживающих домашнее насилие // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. №3. С. 68–74;
14. Шувалов А.В. Антропологические аспекты домашнего насилия // Нарконет. 2016. №3/4. С. 19–21.
15. Sex and Gender Hierarchies / Ed. by Barbara D. Miller. Cambridge University Press, 1993 – 401p.
16. Feminist Anthropology: A Reader / Ed. by E. Lewin. Malden: Blackwell. 2006 – 460 p.
17. African political systems / Ed. by M. Fortes, E.E. Evans-Pritchard. London: Oxford univ. press, 1940. – 239p.
18. Fraser N. The Fortunes of Feminism. London: Verso Books, 2013. – 224p.
19. Parsons T., Bales R.F. Family, Socialization and Interaction Process. Glencoe, IL: Free Press. 1955. – 422 p.
20. Петров К.А. Проблема преодоления трайбализма в политических документах постколониальной Африки // Общественные практики: уроки истории и современные тренды: сборник тезисов докладов Всероссийской научной конференции студентов-стипендиатов Оксфордского Российского фонда (Екатеринбург, 20–22 апреля 2016 г.). Екатеринбург: УрФУ, 2016. С. 338–340.
21. Гимбатова М.Б. Отражение гендерных отношений в устном народном творчестве нижнетерских казаков // Вестник института ИАЭ. 2017. № 1. С. 108–119.
22. Мутиева О.С. Отражение социально-правового статуса женщины в духовной культуре и фольклоре народов Северного Кавказа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №2. С. 246–248.
23. Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Нальчик: Эльбрус, 1978 – 159с.
1. Fichte JG. *The foundation of natural right according to the principles of the doctrine of science*. Moscow: Kanon+ROOI “Reabilitatsiya”, 2014. (In Russ)
2. Schopenhauer A. *Aphorisms and maxims*. Saint Petersburg: LSU Publishing House, 1986. (In Russ)
3. Schopenhauer A. *The world as will and representation*. Moscow: AST, 2025. (In Russ)
4. Nietzsche F. *Thus spoke Zarathustra*. Works: in 2 vols. Moscow: Mysl, 1996, vol. 2. (In Russ)
5. Nietzsche F. *Beyond good and evil. Prelude to a philosophy of the future*. Works: in 2 vols. Moscow: Mysl, 1996, vol. 2. (In Russ)
6. Mill JS. *The subjection of women*. Moscow: Ripol Classic, 2023. (In Russ)
7. Ploss HH. *Woman in natural science and ethnology: An anthropological study*. Saint Petersburg: Publication of the South Russian Book Publishing House of F.A. Johanson, 1900. (In Russ)
8. Burova SN. Domestic violence against women and their life strategies. *Sociology*. 2010; 4: 99-116. (In Russ)
9. Vorontsova NN. System of work with women subjected to family violence. *Social Services*. 2010; (11): 55-62. (In Russ)
10. Zubritskaya AS. Features of psychological assistance to women victims of domestic violence. *Bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management*. 2009; (3): 77-87. (In Russ)
11. Kalabikhina IE. Domestic violence against women in modern Russia: the influence of socio-demographic characteristics of spouses on the prevalence of violence. *Scientific Research of the Faculty of Economics. Electronic Journal*. 2009; 1(1): 62-84. (In Russ)
12. Mambetov R. Some aspects of criminological characteristics of domestic (family) violence against women. *“Black Holes” in Russian Legislation*. 2007; 3: 297-298. (In Russ)
13. Milshin A.O. Problems of women experiencing domestic violence. *Bulletin of Association of Higher Educational Institutions of Tourism and Service*. 2010; 3: 68-74. (In Russ)
14. Shuvalov AV. Anthropological aspects of domestic violence. *Narkonet*. 2016; 3/4: 19-21. (In Russ)
15. *Sex and Gender Hierarchies*, ed. by Barbara D. Miller. Cambridge University Press, 1993.
16. *Feminist Anthropology: A Reader*, ed. by E. Lewin. Malden: Blackwell, 2006.
17. *African political systems*, ed. by M. Fortes, E.E. Evans-Pritchard. London: Oxford univ. press, 1940.
18. Fraser N. *The Fortunes of Feminism*. London: Verso Books, 2013.
19. Parsons T., Bales R.F. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, IL: Free Press, 1955.
20. Petrov KA. The problem of overcoming tribalism in political documents of post-colonial Africa. *Public practices: history lessons and modern trends: collection of abstracts of the All-Russian scientific conference of student scholars of the Oxford Russia Fund (Yekaterinburg, April 20-22, 2016)*. Yekaterinburg: UrFU, 2016: 338-340.
21. Gimbatova MB. Reflection of gender relations in oral folk art of Lower Terek Cossacks. *Bulletin of the Institute of HAE*. 2017; (1): 108-119. (In Russ)
22. Mutieva OS. Reflection of the socio-legal status of a woman in spiritual culture and folklore of the peoples of the North Caucasus. *Humanities, Social-Economic and Social Sciences*. 2014; 2: 246-248. (In Russ)
23. Bgzhnokov BKh. *Adyghe etiquette*. Nalchik: Elbrus, 1978. (In Russ)
24. Mafedzev SKh. *Intergenerational transmission of traditional culture of the Adyghe in the XIX – early XX century*. Nalchik: Elbrus, 1991. (In Russ)

24. Мафедзев С.Х. Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов в XIX – начале XX века. Нальчик: Эльбрус, 1991. – 253с.
25. Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик: Эль-Фа, 2002. – 364 с.
26. Кучмезова М.Ч. Соционормативная культура балкарцев: традиции и современность. Нальчик: Эль-Фа, 2003. – 214 с.
27. Текуева М.А. Мужчина и женщина в адыгской культуре: традиция и современность. – Нальчик: Эль-Фа, 2006. – 247с.
28. Бутаева М.А. Гендерные стереотипы и насилие против женщин // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 9. С. 179–186;
29. Сиражудинова С.В. «Я не могу сказать!»: к проблеме домашнего и сексуального насилия в республиках Северного Кавказа // Женщина в российском обществе. 2017. № 4 (85). С. 26–35.
30. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы: Традиционная система жизнеобеспечения. – М.: Наука, 1989. – 448с.
31. Баразбиев М.И. Брачные контакты представителей высших сословий тюркских народов Северного Кавказа с кабардинцами в XIX – начале XX вв. // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2012. Т. I. №1. С. 53–55.
32. Коновалов А.А., Битокова Т.В., Текуева М.А. Слухи как источник исследования женской повседневности в городском пространстве Кабардино-Балкарии // История, археология и этнография Кавказа. 2022. Т. 18. №1. С.216–233.
25. Mambetov GKh. *Traditional culture of Kabardians and Balkars*. Nalchik: El-Fa, 2002. (In Russ)
26. Kuchmezova MCh. *Socionormative culture of Balkars: traditions and modernity*. Nalchik: El-Fa, 2003. (In Russ)
27. Tekueva MA. *Man and woman in Adyghe culture: tradition and modernity*. Nalchik: El-Fa, 2006. (In Russ)
28. Butaeva MA. Gender stereotypes and violence against women. *Scientific Problems of Humanities Research*. 2010; 9: 179–186. (In Russ)
29. Sirazhudinova SV. “I can't tell!": to the problem of domestic and sexual violence in the republics of the North Caucasus. *Woman in Russian Society*. 2017; 4: 26-35. (In Russ)
30. Tekeev KM. *Karachays and Balkars: Traditional life-support system*. Moscow: Nauka, 1989. (In Russ)
31. Barazbiev MI. Marital contacts of representatives of the upper classes of Turkic peoples of the North Caucasus with Kabardians in the XIX – early XX centuries. *News of Kabardino-Balkarian State University*. 2012; 1(1): 53-55. (In Russ)
32. Konovalov AA., Bitokova TV., Tekueva MA. Rumors as a source for studying female daily life in the urban space of Kabardino-Balkaria. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2022; 18(1): 216-233. (In Russ)

Поступила в редакцию 27.02.2026 г.

Принята в печать 24.04.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 27.02.2026

Accepted 24.04.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223631-641>

Исследовательская статья

Штырков Сергей Анатольевич
К.и.н., директор антропологических программ
Ереванский центр международного образования, Ереван, Армения
shtyr@eu.spb.ru

Дзузов Иrbek Игоревич
К.с.н., заведующий кафедрой социологии
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
irbek-a@yandex.ru

ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ЖИВОТНЫХ В РИТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЕТИН: ТРАДИЦИОННОЕ ГОРСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ И ВЫЗОВЫ ПОЗДНЕ-МОДЕРНОГО МИРА

Аннотация. Цель статьи — описать и проанализировать функции жертвоприношения в традиционной культуре осетин, а также выявить новые тенденции, характеризующие данную практику в условиях современной городской жизни. Принесение в жертву животных является необходимым элементом ритуальной трапезы, сопровождающей многие обряды годового и жизненного циклов. Как в прошлом, так и в настоящее время жертвоприношение занимает важное место в практике почитания сельских святынь — *дзуарттæ*. В данном контексте оно выступает как центральный эпизод публичного годового ритуала, осуществляемого соседским сообществом или семейной группой, а также как распространённый способ исполнения личного обета, данного *дзуару*, который в осетинской традиции сочетает характеристики сакрального субъекта и объекта. Устойчивость данной практики обеспечивается как развитой устной традицией, включающей этиологические предания и рассказы о наказании за нарушение ритуальных запретов, так и современными медиа, популяризирующими народные традиции. Вместе с тем наблюдается трансформация логики ритуального действия. На смену практике выявления воли Бога или святого посредством жребия или гадания относительно желаемой жертвы приходит покупка случайного животного на специализированных рынках на окраинах города. Определение ответственного за организацию ритуала также всё чаще основывается не на жребии, а на принципе очередности, установленной между домохозяйствами в сельском сообществе или между домами в городском квартале. В условиях современного города жертвоприношение нередко приобретает характер демонстрации способности группы к кооперации и самостоятельному выполнению действий, которые всё чаще переводятся в сферу рыночных отношений. Исследование проведено в дисциплинарном поле социальной антропологии и основано на анализе уже опубликованных этнографических и фольклорных источников, а также материалов включенного наблюдения и полевых интервью, проведенных авторами статьи.

Ключевые слова: Северная Осетия; осетины; жертвоприношение; антропология религии; ритуал; паломничество; обет

Для цитирования: Штырков С.А., Дзузов И.И. Принесение в жертву животных в ритуальной культуре осетин: традиционное горское благочестие и вызовы поздне-модерного мира // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 631-641. doi.org/10.32653/CH223631-641

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223631-641>

Research paper

Sergey A. Shtyrkov
 Cand. Sci., Director of Anthropological Programs
 Yerevan Center for International Education, Yerevan, Armenia
shtyr@eu.spb.ru

Irbek I. Dzuzov
 Cand. Sci., Head of the Department of Sociology
 North Ossetian State University, Vladikavkaz, Russia
irbek-a@yandex.ru

ANIMAL SACRIFICE IN OSSETIAN RITUAL CULTURE: TRADITIONAL HIGHLAND PIETY AND THE CHALLENGES OF LATE MODERNITY

Abstract. This study investigates the structural functions and contemporary transformations of animal sacrifice within Ossetian traditional culture, analyzing its persistence and adaptation in modern urban settings. Animal sacrifice serves as a foundational component of the communal ritual feast that anchors both annual calendar celebrations and life-cycle rites. Central to this tradition is the veneration of sacred shrines – *dzuærtte*, where sacrificial offerings function simultaneously as the focal point of collective neighborhood or lineage-based rituals and as a primary mechanism for fulfilling personal vows made to a *dzuar* – a sacred entity that functions as both a patron deity and a physical sanctuary. The ongoing vitality of this practice is sustained by a robust oral tradition, including etiology legends and cautionary narratives regarding ritual transgressions, as well as by modern media platforms that promote folk heritage. Concurrently, the study highlights a profound shift in the underlying logic of ritual performance amidst urbanization. Traditional divination practices and lot-casting once used to discern divine will regarding animal selection are increasingly replaced by the commercial procurement of livestock at specialized suburban markets. Furthermore, the administrative responsibility for organizing rituals has shifted from traditional lot-drawing to structured household and urban neighborhood rotation systems. In contemporary urban environments, sacrificial rituals increasingly serve as public demonstrations of social cohesion, collective agency, and group identity, even as these practices become embedded within market relations. Situated within social anthropology, this research integrates published ethnographic and folkloric sources with primary qualitative data collected through participant observation and field interviews across North Ossetia.

Keywords: North Ossetia; Ossetians; animal sacrifice; anthropology of religion; ritual; pilgrimage; vows

For citation: Shtyrkov S.A., Dzuzov I.I. Animal sacrifice in Ossetian ritual culture: traditional highland piety and the challenges of late modernity. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 631-641. doi.org/10.32653/CH223631-641

Введение

Любой человек, знакомый с ритуальной жизнью осетин, знает какое важное место в ней занимает жертвоприношение. Даже если он не присутствовал на заклании животного лично, то непременно видел его голову, стоящую на столе во время ритуальной трапезы – праздничной (*куывд*) или поминальной (*хист*), которая является важным, если не центральным элементом любого обряда в Осетии.

К числу таких обрядов относятся прежде всего ритуалы «жизненного цикла»: свадьба, годовщина рождения мальчика, похороны, проводы юноши в армию и возвращение его оттуда. Кроме того, жертву приносят на особые календарные праздники. Также мясо жертвенного животного зачастую является важной составляющей частью трапезы, устраиваемой в ходе паломничества к осетинским почитаемым местам – *дзуарттæ*.

В этой статье мы хотели бы в общих чертах охарактеризовать некоторые аспекты этой практики и описать векторы тех изменений, которые происходят с ней в последние десятилетия.

Основываться мы будем на ряде источников. Это, прежде всего, этнографические данные, собранные нашими предшественниками. Подобные материалы можно найти во многих классических этнографических работах по традиционной культуре осетин, начиная с «Дневника» Леонтия Штедера [1, с. 41, 58–59]. Однако специально этой теме посвящены пока только две работы – Ирбега Маргиева [2] и Роберта Кулумбекова¹. Кроме этого, в число используемых нами источников входят записанные в поле рассказы о праздниках и паломничествах, в которых хорошо проявляются те основные смыслы, которые связывались и в определенной степени до сей поры связываются с принесением животных в жертву в осетинском обществе. Все эти данные дополнены нашими собственными наблюдениями, сделанными в последнее десятилетие во время полевых исследований в Северной Осетии.

И прежде, чем начать изложение материалов, нужно сделать одну важную оговорку касательно нашей этнографии и аналитики. Хотя данную проблематику обычно относят к сфере изучения религии, в сознании большинства современных осетин практики принесения в жертву животных остаются в области не собственно религии, а скорее осетинской этнической традиции, обычаев предков. Для определения этой области социальных компетенций и праксиса лучше подходит часто применяемый в осетинском дискурсивном обиходе термин *æгъдау* (буквально – [осетинский] порядок), то есть осетинский образ жизни.

Определенным и очень важным аспектом *æгъдау* является то, что мы называем «горским благочестием». Это своего рода этикет, с основами которого в том или ином виде знакомы почти все люди, живущие в Осетии, и который заставляет их с осторожностью и почтением относиться к своим и чужим святыням. Природу этого благочестия можно более ясно себе представить через рассмотрение семантики древнеримского концепта *religio*. Как отмечает Карлин А. Бартон, *religio* – как и *pudor*, римское «чувство стыда», с которым его часто тесно связывают, – функционировало как «гомеостатическая система психологических и эмоциональных ограничений и регулировок», определяющих отношение людей с сакральными локусами и предметами [3, р. 16]. Кажется, тот тип благочестия, который мы здесь пытаемся определить, близок по смыслу к этому древнему понятию. Близок он и к тому особому способу поведения осетин по отношению к чужеземным гостям, который не раз отмечали путешественники и этнографы, и в котором, по словам Вальдемара Пфафа, органично сочетались (и, добавим, сочетаются по сей день) особая предупредительность и осторожность [4, с. 198].

И чтобы начать разговор о том, какое место в этом горском благочестии занимает жертвоприношение, мы приведем одну историю из советского прошлого Осетии.

Жертвоприношение и горское благочестие

Чтобы было понятно, о чем пойдет речь далее, нам нужно кратко остановиться на том, что представляют собой упомянутые выше *дзуарттæ* (ед.ч. – *дзуар*). Этот термин и стоящее за ним явление

¹ Кулумбеков Р.П. Жертвенное животное – дар небесам и основа праздничного застолья // Газета «Республика». 2016, сентябрь. № 66-68.

требуют пояснения для понимания нескольких принципиальных моментов, связанных как с горским благочестием в целом, так и конкретно с практикой жертвоприношения. Слово «дзуар» обычно переводится как «святой» в субстантивном смысле этой лексемы, что может предполагать, что *дзуар* – это личность, подобная почитаемым святым в христианстве². Однако, в этом слове очень важна семантика особого почитаемого места или объекта. *Дзуаром* может быть небольшая, часто руинированная постройка, например, древняя церковь. Им может быть пещера, роща или отдельно стоящее дерево. Про всё это можно сказать «это (наш) *дзуар*». Этому *дзуару* может принадлежать какой-то участок земли, который либо не используют для хозяйственных нужд, или используют исключительно для получения продуктов, которые будут использоваться в коллективных практиках почитания этого объекта. Итак, любой *дзуар* – это пространственный локус. Но при этом этот локус может действовать как личность, например, обращаться к какому-то человеку с указанием или предостережением как во сне, так и наяву. Таким образом, *дзуар* – это место, имеющее характеристики субъекта и часто являющееся покровителем и строгим контролером за поведением какой-то социальной группы – в данном случае жителей горного селения.

Поведение на *дзуаре* подчинено строгим требованиям. Самое серьезное из них хорошо известно в Осетии по сей день – оттуда нельзя уносить ничего, что принесено не тобой. В ритуальном плане почитание этого святого-святости предполагает, что в определенный день представители селения (обычно несколько выбранных по жребию старших мужчин, но иногда и особый служитель *дзуара*) совершают небольшое паломничество – восхождение к этому месту (*дзуары* обычно располагаются на возвышенности), а остальные жители, по возвращении этих посланников, устраивают общий праздник внизу – или в особом месте для молитв или в самом селении. Помимо этой практики существует паломничество по обету, которое совершают представители какой-то семьи, когда там случается несчастье (например, кого-то постигает тяжелая болезнь) и семья рассчитывает получить помощь *дзуара*. Иногда обет дает (вернее сказать, давало) целое селение или группа, его представляющая. Это происходит, когда несчастье грозит всем его жителям, как это описывается во многих традиционных нарративах, в том числе и в той истории, которую мы приведем ниже. Она была опубликована во время так называемой хрущевской советской антирелигиозной кампании.

Тогда – в конце 1950-х начале 1960-х годов – в Северной Осетии, как и во всём Советском Союзе, власти активно боролись уже не только с институциональными религиями, как это было в 1920-е – 1930-е годы, но со всем, что они могли определить как «религиозные пережитки». Важной составляющей этой кампании была агрессивная критика того, что еще относительно недавно считалось «просто» народными верованиями, пусть, с точки зрения советских идеологических работников, и нелепыми, но, в целом, безопасными. В конце 1950-х гг. политика партии в этом отношении изменилась, и критике «устаревших и вредных пережитков» стали посвящать много статей в газетах и специальные книги. В одной из таких книг мы нашли историю, записанную автором публикации со слов одной «старой комсомолки».

В 1920 году мы прогнали из Унала сельского священника Дриса Кайтмазова, церковь бездействовала. В школе открыли клуб с читальней и сценой для постановок, но не было занавеса. Пошли в церковь и выбрали там из хлама кое-что и сшили занавес. В это время по селу распространялась эпидемия гриппа. Церковники пустили слух, что это – божья кара. Они пошли к знахарю некоей Хаир Дудиевой (с. Биз), и та именем дзуара (святого) повелела: «Комсомольцы ограбили церковь. Вы погибнете, если комсомольцы всенародно не расскаются в своих грехах. Пусть они купят белого бычка, обвешают его лентами и поведут по всем домам, а потом с тремя пирогами приведут к церкви и на коленях вымолят прощение». Суеверные люди ополчились на нас, требовали, чтобы выполнили

2 Проблемы возможности и даже допустимости перевода осетинских слов, обозначающих сакральных персонажей и явления, на другие языки мы не будем обсуждать в этой статье. При этом мы хорошо осознаем как эти сложности, так и необходимость дальнейшей разработки этой проблематики, что должно привести к нивелировке христианских коннотаций, заранее определяющих интерпретационные стандарты при переводе на русский (и не только на этот язык) таких слов и выражений, как «*зæдтæ аемæ дауджытæ*» (распространенный вариант перевода: «святые и ангелы»), «дзуар» («святой») и целого ряда других (См. напр. [5]). Добавим к этому, что похожая проблема часто возникает при толковании вернакулярной семантики «церковных» терминов в рамках, казалось бы, одной языковой системы, когда, например, в смысловое наполнение слова «святой» включается указание на локальную приуроченность его пребывания. В таком случае то слово, что мы привычно трактуем как подразумевающее личностную субъектность, которая останется такой же и в других местах, для людей, которые его употребляют в своем обычном обиходе, содержит значение агентности конкретного локуса или объекта. Эта проблема подробно рассматривалась на материале армянского вернакулярного речевого и ритуального обихода: [6, с. 326–327; 7, с. 372–377; 8, с. 121].

веле́ние дзуара, грозились даже расправой. Долго нам мешал в работе этот непродуманный шаг [9, с. 35].

Мы не можем сказать определенно, исполнили ли комсомольцы указания знахарки (осет. *дæсны*). Но, судя по последней фразе, они точно оказались под серьезным давлением общественного мнения, и им пришлось это сделать. Очевидно, что жителям села показалось логичным связать тот факт, что кто-то нарушил запрет на вынос из святыни находящихся там предметов, и последовавшую за этим эпидемию. *Дæсны*, которая выполняла роль консультанта в этой кризисной ситуации (это типичная функция этих ритуальных специалистов), сообщила о гнев сельского *дзуара* на находящееся под его присмотром село (это был знаменитый Тхосты дзуар). И хотя покинутая клириками церковь не имела, казалось бы, прямого отношения к самому *дзуару*, он потребовал возмещения за совершенное там святотатство. В качестве компенсации, которая должна была остановить несчастье, был определен белый бык (бычок) и три пирога, без которых не обходится ни один серьезный осетинский ритуал.

Истории про подобные случаи из не такого уж далеко прошлого в Осетии широко распространены. Их можно часто услышать, как в «естественной» фольклорной форме этиологического предания, так и в виде материалов, транслируемых республиканскими СМИ.

Одной из самых ярких таких историй является предание о возникновении *дзуара* на окраине Владикавказа, который называют «Хуыцауы дзуар» (буквально – дзуар Бога). Вариантов этой истории зафиксировано довольно много, но все они строятся вокруг сюжета про двойную жертву, которую принес житель одного из районов Владикавказа Пипо Гурциев в 1892 г. Тогда в этой части Владикавказа распространилась холера. В ее разгар Пипо увидел сон, в котором какой-то старик рассказал ему, как он может остановить эпидемию. Следующим утром Пипо должен был подойти к пасущемуся на окраине города стаду коров и подождать, пока к нему сам, без всякого понуждения выйдет белый бык. Затем нужно было последовать за идущим быком вплоть до того места, где тот ляжет на землю. На этом месте нужно было этого быка забить и устроить *куывд*. Тогда эпидемия прекратится, но сам Пипо умрет. Понимая, что, если он последует полученным указаниям, ему придется стать последней жертвой холеры, Пипо решил их выполнить. И все получилось так, как было предсказано. Пипо умер, пожертвовав собой ради земляков, эпидемия прекратилась, а место, где остановился и лег на землю бык, стало *дзуаром* [10, с. 169–170]. В последние годы это предание стало широко известным, и Пипо Гурциев приобрел черты национального героя-мученика за народ. В результате, на волне энтузиазма, во многом поднятой традиционалистскими этническими организациями, во Владикавказе был установлен памятник Пипо, где тот изображен молящимся на своем последнем *куывде* с ритуальной чашей в руках, а рядом с ним лежит тот самый жертвенный бык (кстати, именем Пипо сейчас названа одна из владикавказских улиц).

Еще одним широко известным благодаря республиканским СМИ сюжетом про эпидемию, остановленную жертвоприношением, является предание о возникновении *дзуара* в большом селении Гизель. Эта история не только часто рассказывается по телевизору, ежегодно в Гизели её воспроизводят в виде особого коммеморативного обряда. Вот как рассказывают об этом в новостном выпуске на главном телеканале Северной Осетии:

По некоторым сведениям, дзуар в Гизели появился два столетия назад. Какое-то время люди боролись с тяжелым заболеванием. Оно погубило много народа. К несчастью, погибло много детей. Тогда сельчане отправились за помощью к горным служителям дзуаров. Они спросили их: «Что делать? Наши дети гибнут, болезнь побеждает их – холера». Служители им объяснили: «Нужно посмотреть по окрестным селениям и к вам само выйдет жертвенное животное, белый бык. Ответьте в село и где он ляжет там его принесите в жертву и помолитесь дзуару». Но в селе ни у кого не оказалось белого быка. И снова люди спросили дзуарлагов из рода Гуцаевых, что же им делать. Те им ответили, что, мол, вы плохо посмотрели, в одном доме есть белое жертвенное животное. Когда жители снова прошли по округе, то в одном месте оказался белый бык. Быка стали водить по улицам и остановился он в этом месте. Принесли они белого быка в жертву покровителю мора. И на самом деле через короткое время дети села выздоровели. А на этом месте жители построили святилище. Галзилæн в Гизели отмечают в третье воскресенье августа³.

3 Большой праздник в очередной раз прошел в Гизели – Галзилæн. 19.08.2024. [дата обращения: 17.09.2024]. Доступ по ссылке: <https://iryston.tv/ir/styr-baeraegbon-radon-hatt-uyd-dzhyzaely-galzilaen-2/>

В этот день по улицам села водят специально откормленного для этого праздника быка, рога которого украшают пёстрыми лентами. После этой презентации публике жертвенного животного его отводят на *дзуар*, где закалывают и используют это мясо для коллективной ритуальной трапезы. Само жертвоприношение остается за рамками телерепортажа: оно не должно нарушать общего образа большого красочного праздника, который показывают так, что в центре ритуала оказываются веселящиеся дети. Их радость должна, по-видимому, напоминать зрителям об избавлении от эпидемии их земляков-сверстников, произошедшем много лет назад.

Как акт жертвоприношения отсутствует в визуальном представлении этого ритуала – вероятно, из-за его предполагаемой жестокости и архаичности, – так еще один важный нарративный элемент отсутствует в версиях предания, пересказанных в телевизионных передачах. Его исключение объясняется, по-видимому, тем, что определенные нарративные мотивы, по мнению журналистов, плохо подходят для описания веселого народного праздника. Дело в том, что рассказы для новостных репортажей не дают никакого представления о причине разразившейся эпидемии. Однако эта причина на самом деле известна многим участникам ритуала, как и всем интересующимся этим вопросом: согласно устоявшейся устной традиции, все селение было наказано вспышкой холеры за то, что один из ее жителей – очевидно, не осознавая опасности своих действий – выстрелил в странный светящийся объект, пролетавший мимо и оказавшийся ангелом (*zæd*). Этот поступок и запустил ту цепь событий, ключевым звеном которой стало жертвоприношение быка, остановившее наказание за непреднамеренный проступок одного из членов общины [10, с. 118–119, 240–241; 11, с. 12, прим. 3].

Похоже, что понятие коллективной ответственности, придающее «полной версии» этиологического предания внутреннюю связность и убедительность, воспринимается современными журналистами как не уместное в контексте разговора о добрых, проверенных временем народных традициях. Но в устном бытовании мотив преступления и кары остается.

Как можно видеть, жертвоприношение животных (причем белый бык здесь символизирует большую и чистую жертву) в Осетии устойчиво ассоциируется с практикой взаимодействия с местными *дзуарами*, ритуалами бедствия и (часто) коллективной ответственностью. Однако последний аспект этой констелляции не всегда легко распознать в современном мире, где все труднее понимать преступление одного человека в качестве легитимного (хотя бы в пространстве нарратива) повода для наказания многих.

Сегодня рассказы о принесении жертвы, описывающие недавно произошедшие случаи, вместе с соответствующими ритуальными практиками редко строятся на том, что человек, от имени которого приносится жертва, совершил какое-то преступление против сакрального мира и этот проступок должен быть искуплен. В таких нарративах Бог и святые вмешиваются в жизнь людей по собственной воле, например, спасая человека от смертельной опасности, а тот (или его родственники), в свою очередь, дают обет принести жертву и исполняют его в знак благодарности за сохраненную человеческую жизнь. Так один наш знакомый несколько лет назад устраивал жертвоприношение на одном из самых известных *дзуаров* Осетии – в роще Хетага – после того, как уцелел в страшной автокатастрофе, в момент которой он поклялся зарезать бычка, если ему удастся уцелеть. И это был далеко не уникальный случай – нам много раз доводилось слушать рассказы о принесении таких благодарственных жертв. Не нарушение запрета, а неудачное стечение обстоятельств или ничем (никем) не спровоцированная тяжелая болезнь заставляет людей задуматься о том, что жертва будет единственно правильным способом попросить высшие силы о помощи и / или отблагодарить их за нее.

В современном обществе меняется не только представление о том, какую функцию выполняет жертва в отношениях людей с сакральным миром. Трансформируются практики выбора жертвенного животного, а также, если речь идет о ритуалах, проводимых соседским сообществом, принципы определения тех людей, которые отвечают за организацию *куывда*.

Как мы уже говорили, идея того, что для жертвоприношения, особенно в ситуации кризиса, подойдет не любое животное, а какое-то определенное, до сих пор хорошо известна в Осетии. Поэтому это животное нужно правильно выбрать или даже найти. Рассматривая проблему выбора животного для жертвоприношения, важно учитывать роль ритуальных специалистов (гадателей, служителей *дзуаров*), которые вплоть до сравнительно недавнего времени играли значимую роль в жертвенной практике. Среди осетин были распространены представления о том, что болезни могут иметь сверхъестественные причины, и их диагностика осуществлялась с помощью особых мантических действий,

направленных на выявление сакрального агента, ответственного за недуг, а также на определение формы его умилоствления. В подобных практиках использовались различные способы гадания, позволявшие установить, кто наслал на человека болезнь и какую себе жертву он ждет от этой семьи.

В настоящее время такие мантические процедуры в этих ситуациях практически не применяются. Решения о месте и характере жертвоприношения люди принимают, исходя из своих представлений о силе того или иного *дзуара*, руководствуясь советами близких и ориентируясь на личные возможности совершить то или иное паломничество.

Кроме того, раньше была широко распространена практика бросания жребия для распределения ритуальных обязанностей внутри общины. Так определялось, какая семья предоставит жертвенных животных из своего стада, и кто будет отвечать за другие аспекты организации и проведения ритуала.

Этот принцип также постепенно выходит из бытования. Сейчас на смену этому способу определить волю небес приходят более «рациональные» принципы. На покупку жертвенного животного собираются одинаковые суммы со всех участвующих в празднике семей, а организаторами праздников или становятся вызвавшиеся сами энтузиасты, или эта функция переходит от одной семьи к другой по принципу подворной очередности.

Но этим процессы модернизации практик жертвоприношения не ограничиваются. Стремительная урбанизация привела этот обычай в городские кварталы городов Осетии, где доступная их жителям инфраструктура снабжения и потребления стала определять основные характеристики происходящего.

Жертвоприношение в современном городе

Сейчас большинство осетин живут в городах. У них нет своего скота и выращенного ими самими ячменя для ритуального пива, как зачастую и места, в котором они могли бы это пиво сварить. Отправляясь в паломничество или сядя за ритуальный стол, они все чаще покупают все основные *куывагтæ* – ритуальную пищу и напитки готовыми (а мясо в лучшем случае – на бойне). Это, конечно, разрушает традиционный механизм создания особой связи между молящимися и адресатом их молитв. Переживание их личной причастности к готовящемуся ритуальному акту через физический и духовный молитвенный труд по подготовке жертвы становится слабее и часто перестает восприниматься как что-то естественное и необходимое. Но многим остается понятным, что если пренебрегать этой стороной дела, то нужно быть готовым к тому, что пироги для *куывда* будут испечены не в твоей семье, а в коммерческой пекарне, где наверняка не соблюдаются традиционные запреты на праздные разговоры во время этого процесса. И нужно смириться с тем, что животное, мясо которого будет стоять перед старейшинами во время молитвы, никто, кроме анонимных животноводов, заготовителей скота и работников бойни никогда не видел живым. Может ли кто-то назвать эти пироги и мясо действительно своими? Кроме того, у любого, кто покупает мясо для ритуальной трапезы в магазине, есть основания подозревать, что животное, которое теперь стало этим мясом, было забито без молитвы, т.е. вообще не было посвящено Богу. Если нельзя гарантировать того, что вся эта еда соответствует критериям ритуальной чистоты⁴, не являются ли все молитвы за праздничным столом, произнесенные над ними, пустым сотрясанием воздуха? И можно ли говорить о святости застолья, если на стол поставлены продукты, которые были произведены ради получения коммерческой выгоды? Как сформулировал эту моральную проблему один из наших собеседников, молодой человек, особенно болезненно относящийся к вызовам коммодификации ритуала: «Это же молитва! А если их [пироги] кто-то сделал для продажи чтобы навариться, чтобы заработать на этом деньги, то как можно этими пирогами молиться!»

4 Этих критериев довольно много. Кроме того, что это не может быть мясо нечистых животных и птицы, есть целый комплекс по сию пору важных предписаний, которые должны обеспечить то, чтобы на ритуальном столе, подготовленном для радостного повода – то есть любого, который не является поминальным – были правильные продукты. Мы назовем лишь те, которые особенно беспокоили людей, с которыми нам довелось общаться лично. Человек, забивающий животное и затем разделяющий его, должен сохранять молчание. Кроме того, нельзя чтобы три ребра, стоящие перед молящимися старшими, были взяты с левой части забитого животного. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы части животного, изначально забитого к траурному столу, но почему-то не использованные там, оказались на *куывде*, не связанном с похоронами или поминками. Выполнение этих условий нельзя, конечно, обеспечить, если покупаешь мясо в супермаркете или даже в небольшой лавке, торгующей мясом с бойни, на которой работают незнакомые продавцам люди.

Обо всех этих сложностях постоянно напоминают осетинам лидеры традиционалистских организаций. Так глава Высшего совета осетин («Стыр Ныхас»), структуры настолько официальной, что она имеет у жителей Осетии репутацию «министерства осетинских традиций» при правительстве республики, в своем обращении в преддверии одного из главных праздников Джеоугуыба из года в год предостерегает всех о недопустимости использования для ритуала купленных в магазине продуктов и прямо связывает эту практику с вопросами ритуальной и, следовательно, моральной чистоты⁵.

В условиях современного большого города Владикавказа, когда купить все необходимое для праздничного стола в соседнем магазине не составляет большого труда, чуть ли не образцовым благочестивым поведением в подготовке ритуальной трапезы оказывается поехать на рынок или в село к знакомому фермеру, купить живого барана, чтобы зарезать его с молитвой у себя на дворе, или поставить на ритуальный стол пироги, которые испекла твоя мать, сестра или жена. Правда, для особых случаев этих затрат труда и времени оказывается всё равно недостаточно. Святость жертвы может обеспечить исключительно его статус *нывонда* – специально и заранее подготовленного для жертвы животного.

Представитель гораздо менее официальной, по сравнению со Стыр Ныхас, организации осетинских религиозных традиционалистов, которая организует жертвоприношение и *куывд* на одной из самых известных святынь республики Рекомы дзуар, так описывает процесс приготовления к празднику в этом почитаемом месте.

Жертвенное животное мы готовим так... Жертвенное животное не должно готовиться меньше года, и только после этого можно забивать у дзуара, а иначе где-то купил, сегодня купил и забил – так делать нельзя. Жертвенное животное (мы) вырастили в Даргавском ущелье в Ламардоне, белый бычок, уже три года мы там выращиваем белых бычков⁶.

Очевидно, что, если исходить из этой логики, чем больше вложено личных усилий в подготовку и проведение жертвоприношения, тем оно будет традиционнее и аутентичнее. В этом контексте, отстраненность людей, которые проводят ритуал, от процесса забоя скота оценивается как существенная проблема. Если ты сам не можешь забить жертвенное животное или хотя бы попросить сделать это человека, тебе лично знакомого, ты вынужден обратиться на бойню, чтобы тебе там продали животное, предназначенное в жертву для важного для тебя ритуала, и закололи его. В этом случае предполагается, что твое участие будет состоять хотя бы в том, чтобы как-то контролировать этот процесс.

Понятно, что в условиях жизни в современном городе выполнение многих действий, которые еще недавно находились в сфере ответственности семьи, все чаще передается профессионалам. Их услуги попросту покупаются. Таковы условия капиталистического рынка труда и потребления. Тем ценнее (и ритуально значимее) оказывается возможность сделать что-то важное своими силами – силами семьи, соседского сообщества или религиозной общины. Так жертвоприношение все больше актуализирует в публичном пространстве тему агентности той или иной социальной единицы. Оно демонстрирует ее способность к самоорганизации, к поддержанию социальной идентичности собственными силами и к противостоянию законам рынка, который стремится превратить любое нужное людям действие в коммерческую услугу, тем самым усиливая их зависимость от рыночной экономики.

Чтобы яснее описать то, какое место занимает представление о практике жертвоприношения в понимании общей социальной ситуации многих осетин, мы кратко опишем начало разговора на эту тему с одним почтенным пожилым мужчиной по имени Кьола, многие годы выполнявшем функцию резника в одном квартале многоэтажных домов во Владикавказе. Услышав наш вопрос о том, по каким поводам нужно резать бычка или барана, он первым делом рассказал о том, что он не позволил своему сыну устроить свадьбу в ресторане, как нынче принято во Владикавказе, и настоял на том, чтобы всё проходило у него в доме (вернее, во дворе). Кьола объяснил, что дом как место проведения таких мероприятий очень важен, поскольку там есть Бынаты Хицау, «Хозяин дома», дух-покровитель живущей в доме семьи, которому, кстати, принято в особый день приносить свою жертву (сегодня обычно черную курицу). То, что семья по настоянию Кьола отказалась от проведения праздника в ресторане, принципиально изменило социальный состав тех, кто должен был готовить праздник. В ресторане это были бы профессионалы сферы развлечений и ресторанного дела, дома же основную работу должны

5 Еналдыты Хъазбег, Иры Стыр Ныхасы сæрдары хæстæ æххæстæнæг. Уастырджийы куван къуыри æрцæуы 16.11.2022 [дата обращения: 17.12.2024]. Доступ по ссылке: <https://region15.ru/article/uastyrdzhijy-kuvaen-kuysi/>

6 Передача «Мидис» (СУТЬ). Праздник Реком. 2018. Интервью с дзуарлæгом. [дата обращения: 17.09.2019]. Доступ по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=H-AzTFwOSCQ>

выполнять родственники и соседи семьи жениха. Состав гостей тоже несколько поменялся. Сын Кьола рассчитывал пригласить на это торжество важных гостей из правительства, с которыми он был связан в силу своей работы. На владикавказской же улице главными гостями оказались те же родственники и соседи. А это для Кьола, кажется, было не менее важно, чем гарантировать расположение к его семье духа-покровителя дома.

Отвечая на наш повторный вопрос о том, по каким случаям нужно делать жертвоприношения, Кьола стал сетовать на то, что тяга осетин к цивилизации погубит их: «Наше общество уже погублено этой цивилизацией. Наши – цивилизованные. И осетинский народ этим гордится. А лично я – нет. Обычаи предков забываются. Это цивилизация их гасит». Из дальнейшего разговора стало понятно, как наш собеседник понимает этот процесс применительно к практике жертвоприношения. В нем он видит что-то, что принципиально противостоит цивилизации. И, надо сказать, он во многом воспроизводит логику тех исследователей, которые видели одной из составляющих процессов становление западной современной культуры выведение забоя скота из повседневного опыта большинства людей [12, с. 89–90]. Превращение животных в мясо и поедание этого мяса оказываются в этих условиях настолько разнесены в географическом и социальном пространстве, что позволяет говорить о «невидимости бойни» в мире, который претендует на «цивилизованность» [13, с. 121]. Применительно к ритуальному забою животных это приобретает форму разрушения принципа «моральной экономики веры» в то, что было произведено у тебя на глазах и потому является гарантированно чистым [14, с. 89]. За свою неготовность видеть кровь, почувствовать ее запах «цивилизованный человек» охотно расплачивается отсутствием уверенности в происхождении мяса, которое у него будет на столе, если он вообще готов задуматься над этими вопросами, не нарушая конвенции делать процесс производства мяса максимально невидимым для большинства его потребителей.

Кьола хорошо чувствует эти трансформации, сравнивая свою молодость, проведенную в селе, и реалии современного города. Современные мужчины, боящиеся крови, отказывающиеся смотреть на смерть животных, мясо которых они будут есть, и скрывающие эти вещи от своих детей, кажутся ему слишком современными, чтобы быть настоящими осетинами. С его ощущением ситуации сложно не согласиться: у нас на глазах не только забой скота, но и принесение животных в жертву становится действием все более и более «невидимым». Так в одном из кварталов пятиэтажек в пригороде Владикавказа на важный ноябрьский праздник Джеоргуыба (другое название – Уастырджийы бонтæ) еще недавно жертвенного бычка резали посреди двора. Сейчас для этого отвели закрытое пространство за гаражами – как нам объяснили, «чтобы дети не видели».

Но больше всего беспокоит Кьола другой аспект прихода «цивилизации» в жизнь осетин, а именно коммодификация осетинского ритуального уклада. В ходе нашего дальнейшего разговора он постоянно возвращался к теме того, что исполнение традиций не должно зависеть от рынка платных услуг, предоставляемых профессионалами. Слово «сами (сделали что-то)» было одним из главных в его описании нормальной, с его точки зрения, ритуальной жизни.

Вопрос, насколько легитимен ритуальный труд за деньги и является ли трудом в повседневном значении этого слова выполнение ритуальных функций, во многих контекстах сейчас вообще не возникает. Люди все чаще рассматривают в качестве чего-то важного, того, что не должны делать наемные работники, только часть или некоторые аспекты ритуального события. Так многие ритуальные застолья проводятся в ресторанах или специально построенных ритуальных залах. Если же трапеза организуется на улице или во дворе блока жилых домов, то практически все для трапезы доставляет и расставляет коммерческая фирма. Включая голову животного, которое предположительно было принесено в жертву и затем после обработки поставлена перед старшими (*хистæртæ*), ведущими молитву во время трапезы. Рекламу этих услуг можно часто встретить на огромных билбордах во Владикавказе. Предполагается, что легче заплатить за приготовление и сервировку трапезы специально обученным людям, нежели долго организовывать родственников и соседей, сталкиваясь как с их нежеланием помогать, так и с их очень активным участием, которое чревато обременительными и при этом не совсем ясными моральными обязательствами в будущем. Многие стремятся этого избежать, чтобы усилить автономию семьи ценой ослабления связей с соседями, не потеряв, правда, в масштабах, торжественности и «традиционности» проводимых обрядов.

В этом контексте осуществляются попытки коммодифицировать даже институт *хистæртæ*, роль которых выполняют старшие мужчины, обладающие не только знанием застольного этикета

и красноречием, но и авторитетом внутри той группы, которая проводит ритуал. С предложением приглашать «за небольшую плату» знатоков традиции возглавлять чужие застолья от имени Школы национальных традиций выступил директор одного из владикавказских техникумов и ресторатор, много сделавший для продвижения на рынке услуг коммерческих вариантов осетинских торжеств. В интервью телеканалу «Россия 1. Алания» (новостной сюжет «Хистар по приглашению» 21.11.2014) он так объяснил свои мотивы, особо подчеркнув отсутствие своей собственной материальной заинтересованности: [Мы должны] «делать максимально всё, чтобы культура и традиции были донесены до каждого абсолютно. [Это происходит] без каких-нибудь материальных и финансовых целей. И я благодарен старшим людям, которые предлагают всегда с удовольствием свои услуги. И для меня это очень важно, и важно, чтобы это доносилось до каждого дома и до каждого мероприятия». Эта инициатива вызвала настоящий скандал. С ее резкой критикой выступили многие и прежде всего представители «Стыр Ныхас», назвавшие ее «большим позором»⁷ и увидевшие в реализации этой идеи крушение основ всей осетинской социальной жизни. По нашим наблюдениям, это нововведение не прижилось, и способность самим найти себе человека, который возглавит ритуальное застолье, а не нанять его, является необходимым условием для того, чтобы группа чувствовала себя существующей и способной воспроизводиться через ритуал.

Возвращаясь к нашей основной теме, мы можем провести параллель с только что описанным эпизодом и сказать, что желание, а также, конечно, умение своими силами сделать жертвоприношение является для многих своего рода квинтэссенцией самостоятельности или, другими словами, своего рода ритуальной автономности семьи или соседской общины. И, кстати говоря, через два месяца мы были свидетелями того, как сын нашего собеседника и в каком-то смысле наставника Кьола (тот самый сын, которому Кьола не позволил сделать свадьбу в ресторане) демонстрирует прекрасные навыки в деле забоя и свежевания купленного в складчину к ноябрьскому празднику Джеоргуыба барана.

Заключение

Как мы видим, принесение в жертву животных является распространенной ритуальной практикой среди современных осетин и составляет важный элемент ритуальной трапезы – *куыйда*. При этом мы можем наблюдать, как еще совсем недавно работавшая ритуальная логика сменяется другой. Что касается выбора жертвенного животного, то на место принципа выяснения через жребий или гадание воли Бога или святого, какое животное они ждут, приходит покупка случайного животного на специальном рынке на краю города. Определить же того человека или семью, которые должны быть ответственными за организацию ритуала, все чаще помогает не жребий, а принцип очередности, установленный между домохозяйствами в селе или домами в городском квартале.

Кроме того, мы можем сравнить идеальную историю о жертвоприношении с тем, что мы наблюдаем на практике. Осетинская устная традиция связывает жертвоприношение скорее с ритуалами кризиса и идеей избавления от божественного наказания целой социальной группы. А актуальная практика показывает, что люди чаще всего совершают жертвоприношения для того, чтобы продемонстрировать способность своего сообщества к самоорганизации для совершения важных действий, которые в современном городе постепенно становятся предметом рыночных отношений. Другими словами, их все чаще и чаще за определенную плату совершают профессиональные работники сферы услуг. В этих условиях способность провести жертвоприношение самостоятельно, не покупая чьи-то услуги, становится убедительным символом автономности определенной социальной единицы – семьи, фамильной группы, сообщества выходцев из одного селения или ныне существующего сообщества соседей по улице или кварталу – в поздне-модерном мире тотальной коммодификации.

⁷ Кучиты Руслан. Хистар по найму // Сайт «Осетины». [дата обращения: 15.06.2016]. Доступ по ссылке: <https://osetians.com/rus/news.php?newsid=1119>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году / Сост. Г.И. Цибиров. Владикавказ: СОИГСИ ВНИЦ РАН, 2016. – 368 с.
2. Маргиев И.Т. Кусарт каныны агъдауттæ ирон адæммæ [Обычаи жертвоприношения у осетин] // Известия СОИГСИ. 2015. № 18 (57). С. 49-60.
3. Barton C.A., Boyarin D. *Imagine No Religion: How Modern Abstractions Hide Ancient Realities*. New York: Fordham University Press, 2016. – 328 p.
4. Пфаф В.Б. Народное право осетин // Сборник сведений о Кавказе. Тифлис, 1871. Т. 1. С. 177-221.
5. Таказов Ф.М. Теонимическая лексика осетинского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. № 16 (12). С. 4396-4401.
6. Antonyan Y. Religiosity and Religious Identity in Armenia: Some Current Models and Developments // *Acta Ethnographica Hungarica*. 2011. 56 (2). P. 315-332.
7. Antonyan Y. Worship of Shrines in Armenia: Between Soviet and Post-Soviet Modernities // *Journal of Religion in Europe*. 2021. 14 (3-4). P. 367-391.
8. Крюкова Н.В. Почитание сельских сурбов в Армении: трансформация традиции // Традиционная культура. 2021. Т. 22. № 1. С. 120-133.
9. Бесолова Г.Х. Против религиозного обмана // Новые праздники и обряды – в быт трудящихся. Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1965. С. 34-39.
10. Цгоев Х.Ф. Арвы дуар [Врата неба]. Словарь осетинской мифологии и уклада жизни. 2 изд., доп. и испр. Владикавказ: СОИГСИ ВНИЦ РАН, 2017. – 753 с.
11. Материалы комплексной фольклорно-этнографической и лингвистической экспедиции в Северной и Южной Осетии (2021-2022). Владикавказ: СОИГСИ ВНИЦ РАН, 2022. – 380 с.
12. Otter Ch. Civilizing slaughter: The development of the British public abattoir, 1850-1910 // *Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse*, ed. by P. Young Lee, Hanover: UP of New England, 2008. P. 89-106.
13. Reed A.Y. From Sacrifice to the Slaughterhouse: Ancient and Modern Approaches to Meat, Animals, and Civilization // *Method and Theory in the Study of Religion*. 2014. 26 (2). P. 111-158.
14. Franck A., J. Gardin, and O. Givre. Blood and the City: Animal Representations and Urban (Dis)orders during the 'Feast of the Sacrifice' in Istanbul and Khartoum // *Anthropology of the Middle East*. 2016. 11 (1). P. 85-111.

REFERENCES

1. Steder LL. *Journal of a journey from the border fortress of Mozdok to the interior regions of the Caucasus, undertaken in 1781*, comp. by G.I. Tsibirov. Vladikavkaz: SOIGSI VNC RAS, 2016. (In Russ)
2. Margiev IT. Sacrifice customs among the Ossetians. *Proceedings of SOIGSI*. 2015; 18 (57): 49-60. (In Russ)
3. Barton CA., Boyarin D. *Imagine No Religion: How Modern Abstractions Hide Ancient Realities*. New York: Fordham University Press, 2016.
4. Pfaf VB. Customary law of the Ossetians. *Collection of Information on the Caucasus*. Tiflis, 1871, Vol. 1: 177-221. (In Russ)
5. Takazov FM. Theonymic vocabulary of the Ossetian language. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2023; 16(12): 4396-4401. (In Russ)
6. Antonyan Y. Religiosity and religious identity in Armenia: some current models and developments. *Acta Ethnographica Hungarica*. 2011; 56(2): 315-332.
7. Antonyan Y. Worship of shrines in Armenia: between Soviet and post-Soviet modernities. *Journal of Religion in Europe*. 2021; 14(3-4): 367-391.
8. Kryukova NV. Veneration of village surbs in Armenia: transformation of tradition. *Traditional Culture*. 2021; 22(1): 120-133. (In Russ)
9. Besolova GK. Against religious deception. *New holidays and rituals into the daily life of workers*. Ordzhonikidze: North Ossetian Book Publishing House, 1965: 34-39. (In Russ)
10. Tsgoev KhF. *Gates of heaven. Dictionary of Ossetian mythology and way of life*. 2nd ed., rev. and exp. Vladikavkaz: SOIGSI VNC RAS, 2017. (In Russ)
11. *Materials of the comprehensive folklore, ethnographic and linguistic expedition in North and South Ossetia (2021-2022)*. Vladikavkaz: SOIGSI VNC RAS, 2022. (In Russ)
12. Otter Ch. Civilizing slaughter: the development of the British public abattoir, 1850-1910. *Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse*. Ed. by P. Young Lee. Hanover: UP of New England, 2008, pp. 89-106.
13. Reed AY. From sacrifice to the slaughterhouse: ancient and modern approaches to meat, animals, and civilization. *Method and Theory in the Study of Religion*. 2014; 26(2): 111-158.
14. Franck A., Gardin J., Givre O. Blood and the city: animal representations and urban (dis)orders during the 'Feast of the Sacrifice' in Istanbul and Khartoum. *Anthropology of the Middle East*. 2016; 11(1): 85-111.

Поступила в редакцию 02.07.2025 г.

Принята в печать 28.01.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Received 02.07.2025

Accepted 28.01.2026

Published 30.09.2026

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223642-650>

Исследовательская статья

Дмитриев Владимир Александрович
доктор исторических наук, научный сотрудник главной категории
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия
dmitriev_home@mail.ru

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ОБЩЕНАУЧНОМ И МУЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДАХ

Аннотация: Предлагается возможный путь к выработке содержания представления о комплексах этнографических предметов, создаваемых в музейных экспозициях. Для этого рассматриваются подходы к определению комплекса в археологии, этнографии и смежных науках, отдается предпочтение определению комплекса как системы элементов, функционирующей под воздействием доминантной компоненты. Конструирование музейно-экспозиционных комплексов объясняется как операция по преобразованию первичных этнографических комплексов во вторичные комплексы. Первичным комплексам придается значение этнографических комплексов культуры (ЭКК), вторичным этнографическим комплексам – значение результатов реконструкции и музеефикации (ЭКРиМ). Дается несколько примеров модели ЭКК на основе выделения элементов, составляющих комплекс признаков с указанием доминирующей в системе компоненты. Предлагаемые модели строятся на основе данных этнографии адыгов и относятся к различным проявлениям их этнической культуры. Проблема образования музейного варианта ЭКРиМ представляется как перманентное перекодирование элементов комплекса и самих комплексов, а также вторичное моделирование комплексов культуры в искусственной среде. В перекодировании комплексов культуры в музейно-экспозиционные комплексы решаются задачи, как сохранения комплексов культуры, так и создания их аналогов. На пути от фиксации реальных ЭКК в среде их существования до образования музейно-экспозиционных комплексов в среде публичной презентации происходит ряд преобразований, в результате которых неоднократно перекодируется первичная информация и накапливаются результаты музейной интерпретации этнографических фактов. Завершающая перекодировка происходит на основе синтеза комплексов ЭКРиМ и средств музейной коммуникации с посетителями.

Ключевые слова: Археологический комплекс; этнографический комплекс; первичный этнографический комплекс; вторичный этнографический комплекс; этнографический комплекс культуры; этнографический комплекс реконструкции и музеефикации; музейная экспозиция

Для цитирования: Дмитриев В.А. Этнографические комплексы в общенаучном и музеологическом подходах // История, археология и этнография Кавказа. 2026. Т. 22. № 3. С. 642-650. doi.org/10.32653/CH223642-650

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223642-650>

Research paper

Vladimir A. Dmitriev
Dr. Sci., Chief Researcher
Russian Ethnographic Museum, Saint Petersburg, Russia
dmitriev_home@mail.ru

ETHNOGRAPHIC OBJECT COMPLEXES IN GENERAL SCIENTIFIC AND MUSEOLOGICAL FRAMEWORKS

Abstract. This study proposes an expanded conceptual framework for understanding the structure and development of ethnographic object complexes within museum exhibitions. By examining theoretical approaches to defining a “complex” across archeology, ethnography, and related humanities, this research prioritizes a systemic definition: a complex as an integrated system of elements operating under the influence of a dominant component. The construction of museum and exhibition displays is conceptualized as a process that transforms primary ethnographic complexes into secondary ones. In this model, primary complexes represent real-world “ethnographic cultural complexes” (ECCs), whereas secondary complexes represent the products of “ethnographic cultural reconstruction and museification” (ECRMs). To demonstrate the applicability of this framework, the study provides several modeling examples drawn from Adyghe ethnographic material, illustrating how specific cultural features form systemic complexes organized around a dominant element. The formation of the museum-exhibition version (ECRM) is analyzed as a process of continuous semiotic recoding, alongside the secondary modeling of cultural phenomena within an artificial display environment. Throughout the trajectory from documenting real-world ECCs in their authentic context to displaying ECRMs for public presentation, primary cultural data undergoes multiple stages of recoding and interpretive synthesis. Ultimately, the final interpretive recoding emerges at the intersection of museified cultural complexes (ECRMs) and communicative strategies designed to engage museum visitors.

Keywords: archeological complex; ethnographic complex; primary ethnographic complex; secondary ethnographic complex; ethnographic cultural complex; ethnographic complex of reconstruction and museification; museum exposition

For citation: Dmitriev V.A. Ethnographic complexes in general scientific and museological approaches. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3. P. 642-650. doi.org/10.32653/CH223642-650

Проблема комплекса в этнографии, как в других науках, имеет формальный и содержательный аспекты. Исходя из формальной позиции, комплекс является общенаучным понятием, указывающим на присутствие системы элементов. Немедленно возникает вопрос, чем комплекс отличается от группы. Логика подсказывает, группа – есть набор элементов, объединенных общим признаком, в комплексе наличие общего признака не обязательно, группа не всегда представляет систему и может быть пассивна в проявлении своих свойств, комплект отличается организацией и служит для исполнения присущих ему функций. Такое различие далеко не обязательно проводится, что связано и с тем, как комплексы возникают, и кем и зачем они конструируются. Наличие в комплексе организации и функции при их изучении несомненно желательно с позиции рационального познания, но не обязательно явственно. Эти свойства достигаются в процессе конструирования комплексов, как, например, музейно-экспозиционных этнографических, и предполагаются в исследовании выявленных комплексов культуры этноса, т.е. этнографических.

Поскольку представление об этнографическом комплексе в некотором роде является задачей настоящей статьи, невозможно не обратиться к уже имеющимся смежным понятиям и формулировкам. Одной из них, имеющей приоритет по времени появления в объектном дискурсе, является *археологический комплекс* [1, с. 375].

Предложено такое определение археологического комплекса как «сочетание вещей, территориально сосредоточенных ... и функционально связанных; сочетание, в основе которого ... лежала определенная жизненная ситуация, событие или процесс...». Есть и уточнение: «Комплекс замкнутый – совокупность артефактов, связанных совместным нахождением и обстоятельствами, с непреложностью говорящими о совместном участии этих артефактов в событии, которое привело к их объединению». Также существует «открытый комплекс (безусловно, культурный слой) – комплекс, не обладающий свойствами закрытости», т.е. такой комплекс, который по обстоятельствам обнаружения его исследователем им является, но объективно сомнителен [1, с. 375]. Предполагаемое заключение о том, что не все комплексы, признаваемые исследователем системами, таковыми не являются, важно, но не помогает определению понятия. Важно, что предлагаемое тем же автором определение сужается до «Комплекс отличается внутренней корреляцией признаков и их вероятностной связью» [1, с. 142], что позволяет основное определение считать включающим признание недостаточности понимания комплекса только как системы и требующим подключения добавочных признаков.

Если в археологии есть археологические комплексы, то почему бы не признать наличие этнографических комплексов в этнографии? Этому, возможно, мешает только одно – уже существует понятие историко-этнографического комплекса.

В значительной части работ, посвященных проблематике сохранения этнокультурного наследия, термин *историко-этнографический комплекс* (ИЭК) закрепился за сложным ландшафтным памятником, включающим поселение, ему подобные структуры и другие этнографические памятники на местности [2; 3]. Синонимом термина может оказаться, например, музей под открытым небом, содержащий этнографические материалы, этнопарк, этнодеревня, музей-заповедник, архитектурно-этнографические памятники, природно-этнографические памятники. ИЭК содержит этнографические материалы, но нельзя не отметить контекст их вторичного использования, переформатированность комплекса по сравнению с его первичными структурами, специфичность их использования, определенную привлечением туристов, и, как заключение, принадлежность к альтернативной форме сохранения наследия по сравнению с музейными комплексами [4]. Наверно, правильнее такие ИЭК было бы называть *туристическими* – ТИЭК и видеть их суть в манифестации традиционных компонентов ИЭК. Еще близким к ТИЭК, но иначе формулируемым понятием является т.н. *культурный ландшафт* – используемый человеком биологический резерват, наполненный аутентичным культурно-историческим наследием, имеющий общественную ценность и обладающий гарантиями его сохранения, правда смещение центра внимания на природную основу комплекса не позволило авторам отметить включение этнографического материала [5, с. 147–159, 151].

Этнокультурный материал входит в содержание *археолого-этнографического комплекса* – АЭК, который можно считать фундаментальным конструктом науки и которому даются следующие оценки:

- комплекс, компактно расположенный в определенных ландшафтно-географических условиях,

– комплекс археологических памятников и этнографических объектов, служащий для изучения и реконструкции (этой группы и ее предков) культуры (материальной, духовной, соционормативной, природно-средовой, жизнеобеспечения),

– комплекс, оставленный одной группой населения и ее прямыми предками, которые хозяйственно осваивали территорию обитания,

– комплекс, выделенный на основании по преимуществу материалов археологических памятников означенного комплекса, и дополненных этнографическими и при необходимости историческими, географическими, биологическими и другими сведениями [6, с. 135].

Главное содержание конструкта АЭК состоит в размещении комплекса памятников и объектов в пространственно-временном континууме, ограниченном пространственно, но расширенном во временном аспекте за счет объединения объектов археологии и этнографии в единую традицию. Данная традиция может быть отражена и в форме ТИЭК и в виде музейных комплексов, однако, такие попытки укажут на различие между первичными (комплексы культуры) и вторичными (комплексы реконструкции и музеефикации культуры) *этнографическими комплексам* – ЭК.

Очевидно, что ЭК связаны с различными категориями пространства, хотя эта связь не всегда замечается. Для этнографических комплексов реконструкции и музеефикации ЭКРиМ конструируется и вторичное пространство, не трудно так понимать пространство музейного здания, но таковым будет и пространство ТИЭК, хотя в него будут включены и топоры первичных ЭК: площади хозяйственных угодий, поселений, кладбища, священные рощи и т.п.

Для *этнографических комплексов культуры* – ЭКК предполагаются пространственные связи с ландшафтными зонами, с этническими территориями, с ареалами культурных явлений и артефактов исторических событий, возможно часть таких ареалов следует представить в качестве топорсов культуры, если будут отмечены особые связи с участками местности. В особом ключе могут быть отмечены связи ЭКК с пространственными конструктами самой этнографической науки – с ареалами хозяйственно-культурных типов, историко-этнографических областей, традиционно-культурных зон, культурно-исторических кругов [7, с. 5–6]. Методику перенесения памяти о пространственных связях ЭКК в модели музеефикации этнографического материала вряд ли можно считать легкой задачей или, хотя бы сформулированной

Общее представление о комплексе как системе элементов – правильное, но недостаточное, поэтому важным был шаг, сделанный В.А. Козьминым на основе изучения оленеводческого хозяйства народов Сибири в развитии понимания этнографических комплексов как систем (механизмов) с присутствием доминирующего элемента, или правила, толкающего комплекс к функционированию или ко взаимодействию составляющих его частей [8, с. 5–6].

Представляется, что в качестве такой доминирующей компоненты может выступать и вещный набор, и комплекс навыков, и поведенческая установка (культурая, нравственная, соционормативная и пр.).

Ниже представлена схема присутствия элементов и компоненты ЭКК, представляющая части культуры этноса народов Северного Кавказа, где отмечены следующие типы комплексов:

– технологические (например, комплекс инструментария ювелира, комплекс обработки молочных продуктов и т.д.);

– жизнеобеспечивающие (например, комплекс костюма северокавказского типа и т.д.);

– соционормативные и обрядовые (например, комплекс обряда *чапи* и т.д.);

– фольклорные (например, комплекс Нартского эпоса и т.д.).

Далее предлагаются примеры схем.

1. Комплекс обработки молочных продуктов [9, с. 136–147].

Элементы комплекса	Набор для дойки
	Набор для сбивания масла
	Набор для приготовления сыра
	Комплекс кладовой
Правило или господствующая компонента	Навыковая компонента: знания технологии обработки продукта

	Магия предотвращения порчи продукта
	Гендерная компонента: коров в селении доят женщины, овец на горном пастбище – мужчины
	Компонента представлений: значение в культуре питания, роль в обрядовых действиях.

2. Комплекс северокавказского костюма: адыгский вариант [10].

Элементы комплекса	Мужчины	Женщины
	Бурка	Как элемент мужской одежды в обрядах
	Оружие: огнестрельное и холодное: особо кинжал	Замещенная форма кинжала: игла, ножницы
	Папах с окружающим колышком	Девическая шапка-шлем
	Черкеска и бешмет	Платье и кафтанчик/нагрудник
	Поясной набор	Поясной набор
	Штаны	Штаны
	Парная обувь: двойные кожаные носки	Парная обувь: носки с котурнами у женщин
Правило или господствующая компонента	Всаднический образ	
	Сжатость фигуры в торсе	
	Акцентирование линий груди и пояса	

3. Комплекс обряда *чапи* (*цӀопцӀакӀуэ*, *кӀапиц*, *цӀапицӀэ*), исполняемого у постели раненого воина, буйное игрище, способствующее его выздоровлению [11].

Элементы комплекса	Неподвижно лежащий мужчина, раненый или с переломом костей
	Яйцо, плавающее в чашке с водой – мифологема начала и восстановления жизненного процесса
	Молот и наковальня – кузнечный культ, обережная магия железа
	Шумные пляски ряженых под свирель – буйство природы
Правило или господствующая компонента	Антитеза покоя и буйства жизни

ЭКК как первичные этнографические комплексы имеют оценку системы артефактов и структуры группы предметов или явлений, вместе с тем их выделение – это инструмент научного исследования, а сами они являются единицами языка науки, подобной предложению в языкознании, синтаксической единицей описания культуры этноса. Без выделения комплексов описание культуры сокращается до каталога ее элементов, с оперированием комплексами формируется нарратив культуры. Выделение комплексов – это способ определить смыслы и функции групп предметов, явлений и артефактов. ЭКК, связанные с отдельными конкретными видами жизнедеятельности, являются предметом изучения в этнографии, входят в составные блоки в процессе построения общей картины культуры этноса, однородные блоки объединяются в темы «хозяйство», «одежда», «жилище», «верования», «хозяйственно-культурные типы», «земледелие», «обработка зерновых», «культ очага», «декоративно-прикладное искусство». Блоки и темы тоже составляют комплекс, для выделения их удобно назвать комплексными образованиями.

Несомненно, важно различать комплексы, составляемые для служебного пользования исследователя, и те, которые действительно представляют собой комплексы культуры. Но всегда ли возможно выделить доминантную компоненту в комплексах блоков и тем? Например, анализируя тему земледельческой культуры горцев Северного Кавказа, можно предположить, что такой компонентой будет признана агрокультура, подготовленная для устранения негативных факторов малоземелья.

Обращаясь к тематике отгонно-пастбищного овцеводства в том же регионе, эту компоненту можно увидеть в установке на смену ландшафтных зон вертикальной зональности. Доминантной компонентой разных сторон мужского поведения горцев является ношение кинжала, горских женщин – обработка шерсти, в ритуалах жизненного цикла осетин – следование тройственности предметов на столе – эти предположения можно оставить без внимания, а можно попытаться по этому принципу найти доминантные компоненты в других комплексах.¹

Вторичные этнографические комплексы, в том числе ЭКРиМ – концептуальные образования. Вторичными этнографическими комплексами могут быть признаны любые комплексы артефактов, измененные по сравнению с первичными комплексами. Эти изменения происходят в связи с появлением задач актуализации этнографической информации, использования историко-культурного наследия, развития диалога между разными сегментами современного общества, включая институты носителей научного и обыденного знания об этнографических фактах. Переформирование этнографического комплекса требует концепции его изменения. ЭКРиМ являются результатом работы специалистов, включенных в диалог культурного наследия и современного общества, и вторичными моделями ЭКК.

Суждение, что между первичными и вторичными этнографическими комплексами существует простая, а не вероятностная связь, является ошибочным предположением. Существуют следующие варианты перехода между первичным и вторичным комплексами: отказ от использования первичного комплекса, уподобление вторичного первичному, творческое переосмысление первичного комплекса при моделировании вторичного, замена первичного комплекса вторичным, т.е. вариации гетеротопии (создание пространств с уподобленными смыслами) в образовании ЭКРиМ. До сих пор принципы гетеротопии были отмечены в процессе образования общего музейного предмета на основе изменений исходных данных [12].

Не лишним будет отметить, что переписывание смыслов менее затрагивает отдельные экспонаты в музейной экспозиции и слишком откровенно присутствует в организации экспозиции, как, безусловно, искусственной модели этнокультурной общности, поэтому переписывание основных комплексов культуры в экспозиционные может оказаться наиболее соответствующим этому процессу. В создании музейных комплексов переписывание ЭКК является одной из стадий процесса их формирования, важной в том смысле, что здесь единственно соблюдается сохранение аналогий между первичным и вторичными комплексами (сохраняется комплекс костюма, оснащения охотника, инвентаря мастерской, наполнения святилища и т.д.), в аранжировке отдельных предметов в хранилище и на экспозиции, на экспозиции действия в музейной среде более будут волевыми.

Процессы выделения ЭКК и формирования комплексов в этнографическом музее едины в том, что они начинаются с подбора этнографических фактов действительности и превращении их в факты науки [13] и создания на базе последних источников, необходимых для академической и прикладной (музеоцентричной) этнографической науки. Особая специфика музейной (музеоцентричной) этнографии состоит в том, что в базовой части ее источников присутствует специфическая форма фактов действительности, особо вещных образцов культуры, перекодированных в факты науки.

Неизбежно некоторое уточнение терминов, которым придется воспользоваться ниже:

– этнографический факт – единичное явление культуры или совокупность вещей (в том числе отдельная вещь), событий, культурограмм, явлений и т.п., присущих культуре этноса в повседневной и обрядовой деятельности и следов всего этого в культурной и природной среде;

– этнографический источник – создаваемые исследователем мемораты (памятники) этнографических фактов;

– артефакт – в общем смысле термина – любой след человеческой деятельности, особо и более всего, вещь, выполненная в результате соблюдения норм культуры и выбранная в качестве мемората исследователем: вещь становится артефактом в процессе ее изъятия из среды бытования и уже в таком качестве вносится в музейное собрание.

Вещь – портативный, искусственно сделанный предмет самостоятельного функционального назначения [1, с. 348], наиболее важный для музейно-этнографического комплектования. Преобразование вещи в артефакт – это начало ее перекодирования, завершающегося в музейной экспозиции [14].

¹ Прием поиска доминантной компоненты может оказаться полезным, например, в художественном анализе композиции на предмете декоративно-прикладного искусства или дизайна предмета.

Понимание вещи как генеральной категории артефакта позволяет определить характер этнографической фотографии, как и любого изобразительного или нарративного мемората, так как фотография возникает при формировании источника, сама она не является ни фактом, ни артефактом.

Неизбежно с позиции музеоцентричного подхода корректируется определение АКК как первичного комплекса, его требуется представить как совокупность артефактов и выявленных системных связей (контекста их происхождения, бытования и т.д.), используемых для построения вторичных комплексов в музейной среде. Не исключено, что уже в поле начинается оценка аттрактивности артефакта, свойства, не присутствующего в предметах ЭКК, но важного для использования артефакта в музейной экспозиции.

Аттрактивность (выразительность) – не единственное свойство, которое в музейной среде навязывается артефакту. В процессе от собирательского выбора до экспонирования в музее вырабатываются и другие свойства знака. Создаются возможности представить артефакт:

- как знак самого себя;
- как знак культурного контекста, в котором вещь находилась до превращения в артефакт;
- как знак принадлежности до музеефикации к ЭКК;
- как знак этничности и этнографичности, комплексов, включающих артефакт;
- как знак принадлежности к музейной сфере и признания артефакта памятником культуры;
- как элемент музейно-этнографического комплекса.

Музей может использовать ЭКК для построения нужных аналогий, отсылаясь на соблюдение критериев истины в этнографическом знании, но музей следует собственному пути образования вторичных комплексов. Этот путь имеет следующие стадии: изучаемый комплекс – собирательская коллекция – не сложившийся фрагмент музейной коллекции в виде ответа на существующие задачи комплектования музея – сложившийся ее фрагмент в виде музейного учетно-уравнительского комплекса – музейно-экспозиционный комплекс, заново формируемый на основе учетно-хранительских комплексов – музейная экспозиция, собранная из музейно-экспозиционных комплексов – музей как общий набор артефактов, предъявляемых обществу. Сходное движение присутствует в образовании ТИЭК с поправкой на специфику комплекса.

Вторичный этнографический комплекс – самостоятельно-концептуальный этнографический комплекс, связанный с первичным принципом подобия. Музейно-экспозиционный комплекс – вариант ЭКРиМ, существует в полностью искусственном пространстве и в нем же собирается по выработанной музейным коллективом схеме. Структура комплекса объединяет следующие элементы в их иерархии:

- элемент комплекса – предмет, вещь, возможно, набор вещей, который можно признать за элемент (варианты инструмента одного назначения в инвентаре работника);
- набор элементов, объединенных темой и подобранный для включения в музейно-экспозиционный комплекс (например, обработка молочных продуктов Раздела «Скотоводство»);
- комплекс из источников информации, включающий воспроизведенный ЭКК, дополненный средствами его эксплицирования (раскрытия его смысла) – иллюстративными источниками, отсылающими к контексту целеполагания комплекса, вербально-письменными средствами, интерпретирующими смыслы комплекса;
- комплекс элементов оформления экспозиции, сформированный для восприятия назначения размещения комплекса в музейной экспозиции посетителем, включающий отмеченные выше структуры вместе с техническими средствами экспонирования и результатами работы дизайнера; средство превращения имманентного культурного комплекса в публичный.

Наличие в комплексе доминантной компоненты может быть определено по-разному, ее выделение возможно приемами композиции или средствами визуализации необходимых предметов и групп предметов. Вопрос о характере доминанты связан с задачей использования экспозиционного комплекса для построения образа, который должен перейти во впечатление у посетителя. Так как внешний слой в образе составляет результат художественного воздействия, в глубинном слое желательно добиться присутствия научных образов.

Итогом музеефикации артефактов и конверсии первичных этнографических комплексов во вторичные является музейная экспозиция. В Российском этнографическом музее целью экспозиции является представление этнокультурного своеобразия народов и регионов России и сопредельных стран. Признак культурного своеобразия закладывается в основу отбора артефактов для использования

их как экспонатов – этнографических фактов, наделенных сложной знаковой функциональностью фактов. Экспозиция является комплексом и системой комплексов, этнокультурное своеобразие – смысловое содержание экспозиции, которое должно отразиться в комплексах любого уровня. Однако оно не может быть однообразным. На всех уровнях появляются свои варианты общего смыслового содержания. Существует множество проблем проектирования экспозиционных комплексов, в том числе, как построить иерархию смыслового содержания комплексов и продемонстрировать достоверность перехода от первичных комплексов к вторичным.

Одним из примеров признания такой проблемы является проектная модель новой экспозиции, где предлагается иерархия идентификации ЭКК и ЭКРиМ:

- единичный предмет-экспонат, являющийся этнографическим фактом и знаком музейного текста;
- базовый музейный комплекс, составленный из предметов-экспонатов, как воспроизводимый ЭКК в различных разделах экспозиции – например, костюм, интерьер жилища, набор инструментов ювелира и т.д.;

- конструируемый тематический музейный комплекс в определенном собственном месте экспозиции, объединяющий базовые комплексы – например, пастушество, мужские гендерные типы Дагестана в «сцене на годекане», адыгский костюм как выразитель этнических и социальных установок, комплекс предметов религиозного культа одной конфессии и т.д.;

- объединение тематических комплексов – например, скотоводство, конфессии народов региона, транспорт как раздел Введения и др.;

- разделы экспозиции, состоящие из объединений тематических комплексов – например, «Введение», «Хозяйство и промыслы (горская экономика)», «Модернизация культуры народов региона», относящиеся в целом ко всей геотории Северного Кавказа и Дагестана, а также «Культура народов Дагестана» и «Культура народов Северного Кавказа», представляющие основные субрегиональные подразделения;

- в целом экспозиция «Народы Северного Кавказа и Дагестана», как комплекс, состоящий из входящих в нее разделов.

Следует отметить, что перспективы использования экспозиции как эксплуатируемого музейного комплекса ставит задачу формирования объединений тематических комплексов в опорные блоки экскурсионной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клейн Л.С. Археологическая типология. Л.: АН СССР, 1991. 447 с.
2. Нельзина О.Ю. Историко-культурный потенциал территорий и его использование при организации комплексов этнографической направленности // Актуальные вопросы культуры, искусства, образования. 2020. Вып. 2 (24). С. 57–62
3. Свиридова О.Ю. Расположение и некоторые особенности существующих и проектируемых этнографических музеев, парков этнографической реконструкции и этнических деревень на территории Российской Федерации // Журнал Института наследия. 2016. № 4 (7). С. 65–82.
4. Банников К.Л., Шкарбань С.Ш. Искусство и смыслы этноисторического туризма // Кунсткамера. 2024. № 1 (23). С. 119–131.
5. Кулешова М.Е. Систематика культурных ландшафтов // Культурный ландшафт как объект наследия. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 620 с.

REFERENCES

1. Klein LS. *Archaeological typology*. Leningrad: USSR Academy of Sciences, 1991. (In Russ)
2. Nelzina OYu. Historical and cultural potential of territories and its use in organizing ethnographic complexes. *Current Issues of Culture, Art, Education*. 2020; 24(2): 57–62. (In Russ)
3. Sviridova OYu. Location and some features of existing and projected ethnographic museums, ethnographic reconstruction parks and ethnic villages in the Russian Federation. *Journal of Heritage Institute*. 2016; 7(4): 65–82. (In Russ)
4. Bannikov KL., Shkarban SSh. Art and meanings of ethno-historical tourism. *Kunstkamera*. 2024; 23(1): 119–131. (In Russ)
5. Kuleshova ME. Systematics of cultural landscapes. *Cultural landscape as a heritage object*. St. Petersburg: Dmitry Bulanin, 2004.
6. Korusenko MA., Tikhonov SS., Tomilov NA. Ethnographic-archaeological complexes of the peoples of Siberia (thirty years of research). *Herald of Omsk University. Series "Historical Sciences"*. 2023; 10(4): 134–141. (In Russ)

6. Корусенко М.А., Тихонов С.С., Томилов Н.А. Этнографо-археологические комплексы народов Сибири (тридцать лет исследований) // Вестник Омского Университета. Серия «Исторические науки». 2023. Т. 10. № 4 (40). С. 134–141.
7. Савинов Д.Г. От редактора // Культурно-экологические области: взаимодействие традиций и культурогенез. СПб., 2007. С. 3–8.
8. Козьмин В.А. Оленеводческая культура народов Западной Сибири. СПб.: СПбГУ, 2003. 232 с.
9. Калоев Б.А. Скотоводство народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1993. 227 с.
10. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII – XX вв. М.: Наука, 1989. 288 с.
11. Налоев З.М. У истоков песенного искусства // Народные песни наигрыши адыгов. Т. 1. М.: Советский композитор, 1980. С. 7–26.
12. Руденко Н.И. Гетеротопия как переописание: музейные экспонаты, сети и практики // Социология власти. 2015. Том 27. № 1. С. 181–195.
13. Пименов В.В. Этнографический факт // Советская этнография. 1990. №3. С. 42–50.
14. Никишин Н.А. Музейные средства: знаки и символы // На пути к музею XXI в. М.: 1977. С. 23–32.
7. Savinov DG. From the editor. *Cultural and ecological areas: interaction of traditions and culturogenesis*. Saint Petersburg, 2007: 3–8. (In Russ)
8. Kozmin VA. *Reindeer herding culture of the peoples of Western Siberia*. Saint Petersburg: SPbSU, 2003. (In Russ)
9. Kaloev BA. *Cattle breeding of the peoples of the North Caucasus*. Moscow: Nauka, 1993. (In Russ)
10. Studenetskaya EN. *Clothing of the peoples of the North Caucasus in the 18th – 20th centuries*. Moscow: Nauka, 1989. (In Russ)
11. Naloev ZM. At the origins of song art. *Folk songs and tunes of the Adyghe*. Vol. 1. Moscow: Sovetsky Kompozitor, 1980: 7–26. (In Russ)
12. Rudenko NI. Heterotopia as redescription: museum exhibits, networks and practices. *Sociology of Power*. 2015; 27(1): 181–195. (In Russ)
13. Pimenov VV. Ethnographic fact. *Soviet Ethnography*. 1990; 3: 42–50. (In Russ)
14. Nikishin NA. Museum means: signs and symbols. *On the way to the 21st-century museum*. Moscow, 1977: 23–32. (In Russ)

Поступила в редакцию 06.02.2026 г.

Принята в печать 12.03.2026 г.

Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 06.02.2026

Accepted 12.03.2026

Published 30.09.2026

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223651-655>



Исследовательская статья

Аникеева Татьяна Александровна
к.филол.н., старший научный сотрудник,
зав. Центром исламских рукописей
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия;
tatiana.anikeeva@gmail.com

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

**Магомед Гамзаев. История хаджа российских мусульман.
М.: Тарих, 2024. – 448 с., илл. ISBN 9785605035404**

Аннотация: Книга М.А. Гамзаева «История хаджа российских мусульман» (М., 2024) – научно-популярное издание, которое представляет собой масштабное исследование истории паломничества мусульман России от эпохи Золотой Орды и Российской империи до советского и постсоветского периодов. Автор рассматривает эволюцию обрядовой практики, маршруты и организацию хаджа, в качестве источников им использованы как свидетельства средневековых путешественников, так и архивные материалы российских и зарубежных собраний, а также документы Османского архива. В монографии М.А. Гамзаева рассматриваются вопросы хаджа в современной Российской Федерации, приведена статистика паломничества, дается очерк деятельности Совета по хаджу и Хадж-миссии России в 2000–2020-е гг. Эта книга вносит заметный вклад в изучение истории ислама в России и может служить как исследовательским материалом для специалистов, так и доступным трудом для широкого круга читателей.

Ключевые слова: мусульмане России, архивы, маршруты хаджа, путевые заметки паломников, российские хадж-миссии, ислам в СССР

Для цитирования: Аникеева Т.А. Рецензия на книгу Магомед Гамзаев. История хаджа российских мусульман. М.: Тарих, 2024. – 448 с., илл. ISBN 9785605035404 // История, археология и этнография Кавказа. 2026. 22. № 3. С. 651-655. doi.org/10.32653/CH223651-655

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH223651-655>



Research paper

Tatyana A. Anikeeva

Cand. Sci. (Philology), Senior Researcher, Head of the Center for Islamic Manuscripts

Institute of Oriental Studies of the RAS, Moscow, Russia

tatiana.anikeeva@gmail.com

BOOK REVIEW

Magomed Gamzaev. History of the Hajj of Russian Muslims. Moscow: Tarikh, 2024. – 448 p., ill. ISBN 9785605035404

Abstract. M.A. Gamzaev's book *History of the Hajj of Russian Muslims* (Moscow, 2024) is a popular science publication presenting a large-scale study on the history of pilgrimage among Russia's Muslims, spanning from the Golden Horde and the Russian Empire to the Soviet and post-Soviet eras. The author examines the evolution of ritual practice as well as the routes and organization of the Hajj, utilizing accounts by medieval travelers, archival materials from Russian and foreign collections, and documents from the Ottoman Archives. Gamzaev's monograph addresses the issues of the Hajj in the modern Russian Federation, provides pilgrimage statistics, and outlines the activities of the Hajj Council and the Russian Hajj Mission in the 2000s–2020s. This book makes a notable contribution to the study of the history of Islam in Russia and serves both as research material for specialists and as an accessible work for a general readership.

Keywords: Muslims of Russia; archives; Hajj routes; pilgrims' travel notes; Russian Hajj missions; Islam in the USSR

For citation: Anikeeva T.A. Book review Magomed Gamzaev. *History of the Hajj of Russian Muslims*. Moscow: Tarikh, 2024. – 448 p., ill. ISBN 9785605035404. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2026. Vol. 22. № 3 P. 651-655. doi.org/10.32653/CH223651-655

Монография М.А. Гамзаева «История хаджа российских мусульман», выпущенная в 2024 г. в Москве издательством «Тарих», посвящена исследованию истории совершения хаджа мусульманами России, охватывая в хронологическом отношении период от Российской империи до новейшей истории России.

Автор книги, Магомед Алиевич Гамзаев, – известный дагестанский поэт, прозаик, профессиональный журналист. Значительную часть его творчества занимают научно-популярные издания, посвященные истории ислама в Дагестане и Кавказской войне. Им было выявлено множество документов из различных частных коллекций, имеющих отношение к семье имама Шамиля, которые (в основном благодаря его стараниям) в дальнейшем были изданы. Несмотря на то, что М.А. Гамзаев не является профессиональным историком, проекты, которые он осуществил за последние десять лет, опираются на внушительный объем исторических источников. М.А. Гамзаев много лет руководил Хадж-миссией России, и неслучайно проект, благодаря которому вышла в свет эта монография, был осуществлен при содействии хадж-компании “Magwa”, активно занимающейся организацией паломничества мусульман. Главная цель данного проекта – популяризация научных знаний о многовековой истории мусульманского паломничества, а также о современном состоянии этого движения в России; на это указывает также и состав редакционного совета, в который вошли в основном религиозные деятели (шейх Ахмад Афанди Абдулаев, муфтий Республики Дагестан; Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Республики Татарстан и др.).

Книга состоит из предисловия, автором которого является Ильяс Магомед-Саламович Умаханов (первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уполномоченный по делам хаджа при Комиссии по делам религиозных объединений при Правительстве РФ), четырех глав и приложения, где представлены некоторые источники (см. далее).

Первая глава монографии носит обобщающий характер и представляет собой детальный очерк истории обрядов хаджа, включая порядок их совершения, описание мест ритуалов, сложившихся исторически основных маршрутов, по которым двигались караваны хаджа, свидетельства средневековых путешественников (Ибн Баттуты, Ибн Джубайра, Насера Хосрави и др.); в этой части книги затронут и бедуинский вопрос, и традиция составления свидетельств о совершении хаджа.

Вторая глава книги называется «Хадж в Российской империи» — соответственно, эта часть посвящена паломничеству в Мекку с территории Российской империи (автор также включает Средние века, эпоху Золотой Орды – см. приводимые сведения о хадже крымских ханов, беков Астраханского юрта и дагестанских алимов), хаджу в XVII–XIX вв., организации маршрутов паломничества. Также в ней приведены путевые заметки XVIII в., отдельные кейсы, *хадж-наме* татарских ученых, сведения о зияратах, консульские донесения. В целом, несмотря на стройную логику расположения глав, структура подразделов внутри первой и второй главы не столь последовательна. Также именно в этой части автор книги обращается к «изучению хаджа в Российской империи», чему посвящен отдельный подраздел второй главы, однако в основном речь идет об исключительно утилитарной стороне этого вопроса: мерах по организации санкционированных маршрутов паломничества, выделению средств в долг для нуждающихся паломников со стороны консульств и т.д.

Третья и четвертая главы книги посвящены, соответственно, хаджу в Советском Союзе и в Российской Федерации. Представляется, что эта часть исследования наиболее интересна для читателя, так как все еще относительно малоизучена российскими историками, востоковедами и исламоведами, несмотря на довольно объемный корпус выявленных в наше время источников.

Хадж в современной России, с 1990-х гг. вплоть до нашего времени (в особенности период, охватывающий пандемию COVID-19 и постковидные годы), о котором идет речь в четвертой главе монографии, – пока крайне редко становился объектом научного изучения (см., например: [1]) и даже описания. Иными словами, работа М.А. Гамзаева является одним из первых и пока практически единственным исследованием хаджа в Российской Федерации в последние два десятилетия. Приводимые автором сведения о количестве паломников из РФ, мерах государственной поддержки паломничества, работе координационного органа — Совета по хаджу как механизма для оперативного решения вопросов, связанных с совершением хаджа российскими мусульманами, деятельности Хадж-миссии и ее оперативного штаба в Мекке, работе специализированных туроператоров и многом другом довольно подробны и хронологически разбиты по годам начиная с 2003 (и ранее) вплоть до 2022 г. Можно сказать, что этот раздел книги сам по себе (учитывая тот факт, что ее автор

долгое время руководил Хадж-миссией России) является отдельным релевантным источником по новейшей истории хаджа в РФ.

В целом исследование М.А. Гамзаева опирается на весьма широкий круг различных источников, в том числе и труднодоступных, тем самым вводя их в научный оборот, — это и архивы (АВПРИ, Архив внешней политики РФ, ГАРФ, РГАДА и многие другие архивы России и зарубежья; особо стоит отметить привлечение большого количества документов из Османского архива Управления государственных архивов при Администрации Президента Турецкой Республики), и материалы частных рукописных коллекций Дагестана. В этом смысле работа М.А. Гамзаева следует современным тенденциям историографии ислама в России, активно использующей архивные материалы. В Приложении приведены списки паломников из Российской Империи и подданных Бухарского эмирата с указанием их места жительства, умерших в хадже и карантинных госпиталях в 1893, 1896, 1899-1913 гг. К сожалению, однако, в этих (и ряде других, приводимых, например, в третьей главе) списках не отмечены их архивные источники, хотя, несомненно, за их составлением стоит большая работа.

Важно отметить, что книга богато иллюстрирована большим количеством цветных и черно-белых старых фотоснимков (включая фото рукописных документов, писем и т.д.), схем и карт — однако источники этих иллюстраций также практически никогда не приводятся в подписях.

Книга Магомеда Алиевича Гамзаева объединяет черты сугубо научного исследования, предназначенного для специалистов (историков и религиоведов в первую очередь), и научно-популярного жанра, ориентированного на широкую аудиторию. Благодаря этому каждый ее читатель, вероятно, найдет именно то, что ему нужно (см., например, подробные сведения об обрядах хаджа в первой главе). Отход от строгой научности, вероятно, позволяет объяснить отсутствие в монографии указателей имен собственных, названий произведений и географических названий (хотя они существенно помогли бы всем читателям книги, учитывая ее довольно большой объем), подробного библиографического обзора и осмысления опыта предшествующих, хотя и относительно немногочисленных, исследований по этой тематике¹ (хотя некоторые из них и упомянуты в списке литературы и на них присутствуют ссылки в тексте монографии), примененных в них подходов и методологии изучения истории хаджа. Таким образом, исследование находится как бы вне широкого научного контекста.

Кроме того, следует сказать, что в работе все же присутствуют некоторые недочеты, связанные с унификацией имен собственных арабского происхождения («Азиз Ас Сауд», но «Абу Бакр ас-Сиддык», «Абдель Азиз Ибн Сауд» / «Абдель Азиз ибн Сауд», «ат-Турки» / «аль-Турки»); принимая во внимание научно-популярный, даже просветительский характер труда, их можно будет избежать при возможном дальнейшем переиздании книги.

Монографию М.А. Гамзаева нельзя назвать строго академическим исследованием, но она вносит существенный вклад в изучение истории хаджа российских мусульман. Эта книга сама по себе может выступать как источник по новейшей истории ислама в России и в то же время является трудом, востребованным как у историков, востоковедов, исламоведов, так и среди широкой читательской аудитории, всех, интересующихся историей мусульманского паломничества и в целом историей ислама в России.

Летом 2026 г. вышла новая книга Магомеда Гамзаева — «Тысячелетняя история хаджа дагестанцев» (Гамзаев М. Тысячелетняя история хаджа дагестанцев (XI-XXI вв.). М.: Тарих, 2026. 584 с., илл.); в июне 2026 г. в историческом парке Махачкалы «Россия — Моя история» прошла масштабная презентация этого издания. Безусловно, эта книга еще будет объектом многих рецензий и предметом заинтересованного читательского интереса, однако о ней необходимо сказать несколько слов.

Это исследование существенно объемнее (более 36 авторских листов), чем книга, о которой идет речь выше. Внимание автора сосредоточено уже исключительно на хадже дагестанцев на протяжении многих веков (автор возводит историю паломничества дагестанцев к концу XI в. — времени, когда Абу Бакр ад-Дарбанди, по его собственным словам, посетил Аравию и Мекку). Эта монография существенно углубляет и расширяет именно тот аспект истории российского хаджа, который связан с дагестанскими паломниками. Внушительную источниковую базу составляет множество документов — писем, отчетов, путевых записок, свидетельств паломников, архивных документов. Первая глава труда представляет

1 Большая часть исследований, конечно, рассматривает только хадж мусульман Российской империи ([2] и др.).

собой краткий очерк истории ислама в Дагестане, последующие главы (II-VII) рассматривают историю паломничества дагестанцев в хронологическом аспекте с самого раннего времени до современности; особенно выделяется при этом V глава, в которой помещены переводы писем дагестанских алимов-паломников. В Приложении (сс. 463-569), как и в предыдущей книге, представлены поименные списки паломников – здесь это дагестанцы, совершившие хадж в 1902-1907 и 1990 гг. (на основе документов АВПРИ и ЦГА). К сожалению, в этом издании, как в рецензируемой книге, отсутствуют географический и именной указатели. В то же время это издание не является строго академическим, но носит научно-популярный, отчасти и образовательный характер, и ориентировано прежде всего на широкий круг читателей, интересующихся историей ислама в Дагестане (красочное оформление, крупное форматирование, обилие иллюстраций – фото документов и рукописей, портреты, исторические фото местностей в Аравии и т.д.).

В обеих книгах Магомеда Гамзаева Дагестан предстает неотъемлемой частью истории мусульманского Востока – прежде всего через рассмотренную автором на основе внушительного объема источников историю хаджа, его маршрутов, и свидетельств и биографий дагестанских паломников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хабибуллина З.Р. Российский опыт организации паломничества мусульман // Россия и Восток: культурные связи в прошлом и настоящем: материалы Международной научной конференции (IX Колосницынские чтения), 16-17 апреля 2014 года. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2014. С. 288-293.
2. Кейн А. Российский хадж. Империя и паломничество в Мекку / Пер. с английского Р. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

REFERENCES

1. Khabibullina ZR. Russian experience in organizing Muslim pilgrimage. *Russia and the East: cultural ties in the past and present: proceedings of the International Scientific Conference (IX Kolosnitsyn Readings), April 16–17, 2014*. Yekaterinburg: Liberal Arts University, 2014: 288-293. (In Russ)
2. Kane E. *Russian Hajj: Empire and Pilgrimage to Mecca*. Trans. from English by R. Ibatullin. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2021. (In Russ)

Поступила в редакцию 26.02.2026 г.
Принята в печать 01.04.2026 г.
Опубликована 30.09.2026 г.

Recieved 26.02.2026
Accepted 01.04.2026
Published 30.09.2026

Научное издание

Литературный редактор
Л.Ш. Капанова

Переводы на английский язык
М.Р. Сефербеков

Верстка
С.Ш. Раджабова

Подписано в печать 30.09.2026. Формат 60х84 $\frac{1}{8}$
Гарнитура Georgia